

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д Е С Я Т А Я

О К Т Я Б Р Ь

М О С К В А

4 • 9 • 2 • 7

Москва Главлит № 97 134.

25 000 экз.

Типография „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“, Страстная площ, Б. Путинковский пер., 5.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Ал. ТОЛСТОЙ.—Хождение по мукам, <i>роман</i> , продолж.	5
2. Илья СЕЛЬВИНСКИЙ.—Бриг „Богородица морей“ <i>поэма</i>	26
3. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ.—В грозу, <i>повесть</i> , окончание	32
4. Мих. ГОЛОДНЫЙ.—Романтическая ночь, <i>стихотворение</i>	64
5. Ник. УШАКОВ.—Мой соловей, <i>стихотворение</i>	65
6. А. АРОСЕВ.—Две республики, <i>повесть</i>	66
7. П. РАДИМОВ.—Два стихотворения	101
8. С. МСТИСЛАВСКИЙ.—На крови, <i>главы из романа</i> „1905 год“.	102
9. В. НАСЕДКИН.—Стихотворение	135
10. Мариэтта ШАГИНЯН.—Вахо, <i>рассказ</i>	136
11. Д. БРОДСКИЙ.—Осенняя поэма	146

12. П. Е. ЩЕГОЛЕВ.—Пушкин и мужики	149
13. Вяч. ПОЛОНСКИЙ.—Критические заметки. Шахматы без короля (о Пильняке)	170

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

14. Г. ЛЕЛЕВИЧ.—„Улялаевщина“	194
15. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР.—Лирика ума (М. Светлов)	198
16. Е. ЛУНДБЕРГ.—Леонард Франк как представитель реализма.	201
17. С. ДАЛИН.—По деревням и городам китайским (окон- чание).	205

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- Д. ГОРБОВ.—Петр Орешин „Людишки“ 220
С. ПАКЕНТРЕЙГЕР.—Сергей Семенов „Наталия Тарпова“ . . 221
А. ШАФИР.—Я. Коробов „Петушиное слово“ 222
Г. ЯКУБОВСКИЙ.—Вит. Федорович. „Спор с господином“ . 223
Мих. РУДЕРМАН.—Александр Жаров „Рост“ 223
С. АЛЫМОВ.—Артур Голичер „Мятежный Китай“ 224
-

Хождение по мукам

Р о м а н

А. Л. ТОЛСТОЙ

(Продолжение ¹)

Ураганным огнем батарей со стороны Черноморского вокзала и от пристаней на Кубани были встречены бешено наступающие колонны добровольцев. Но неровная местность, сады, канавы, изгороди и русла ручьев дали возможность без больших потерь подойти к городу.

Здесь завязался бой. Близ, так называемой, фермы,—одноэтажного белого домика, стоявшего у тополевой, еще голой, рощи на высоком берегу Кубани,—красные оказали первое упорное сопротивление, были выбиты, но снова густыми толпами бросились на пулеметы, овладели фермой, и через час вторично были выбиты кубанскими пластунами полковника Улагая.

На дворе фермы, в домике сейчас же расположился Корнилов со штабом. Отсюда, как на ладони, виднелись прямые улицы, Екатеринодара, дома, палисадники, кладбище, Черноморский вокзал, и впереди всей панорамы — длинные, неправильные ряды окопов. Был яркий весенний ветренный день. Повсюду взлетали дымки выстрелов, и сияющий простор тяжело, надрывая душу, грохотал от непрерываемого рева пушек. Ни красные, ни белые не щадили жизней в этот день.

В белом домике на ферме главнокомандующему Корнилову отвели угловую комнату, поставили полевые телефоны, стол и кресло. Он сейчас же вошел туда, сел за стол, разложил карту и мрачно погружился в размышления над ходами затеянной игры. Два его адъютанта, подпоручик Долинский и хан Хаджиев, стояли—один у двери, другой у телефонов.

Калмыцкое, обтянуто-морщинистое лицо главнокомандующего с полуседыми волосами ежиком было мрачно, как никогда. Сухая маленькая рука с золотым перстнем безжизненно лежала на карте.

¹) См. „Новый Мир“, кн. 7, 8 и 9 с. г.

Он один, вопреки советам Алексеева, Деникина и остальных генералов, решился на этот штурм, и теперь к исходу первого дня самоуверенность его дрогнула. Но он не сознался бы в этом и самому себе.

Допущены были две ошибки: первая—это то, что треть войск с генералом Марковым была оставлена на переправе для охраны обоза,—поэтому первый удар по Екатеринодару оказался не достаточно сосредоточенным и не принес того, что ожидали: красные выдержали, уцепились за окопы и засели, видимо, прочно. Вторая ошибка заключалась в том, что к Екатеринодару была применена тактика карательной экспедиции, та же, что и раньше в пути к станицам: город обкладывался со всех сторон (на правом фланге—движением пехоты и пластунов вдоль реки к кожевенным заводам, на левом—глубоким обходом конницей Эрделя) с тем, чтобы запереть все входы и выходы и расправиться с защитниками города и с населением, как с «бандитами» и «взбунтовавшимися камами»,—расстрелом, виселицей и шомполами. (Такая тактика, берущая начало от экспедиций 1905 года, характерна была и впоследствии для Добровольческой армии). И сейчас (как и позже) она приводила к тому, что сопротивление вырастало вдвое: решались—лучше умереть в бою, чем на виселицах. «Корнилов всех собрался погубить!» — кричали по городу. Женщины, девушки, дети, старый и малый бежали под пулями в окопы с кувшинами молока, с варениками и пирогами: «Кушайте, матросики, кушайте, солдатики, товарищи родные, стойте за нас...». И продолжали носить защитникам пищу и жестянки с патронами, хотя повсюду, особенно к вечеру, скакали верхокопные, крича: «Долой с улиц! По домам! Туши огни!..».

Так первый день принес преимущество красным. Белые в этот же день потеряли троих лучших командиров, около тысячи офицеров и рядовых и расстреляли без осязательной цели свыше трети огневого снаряжения.

А из Новороссийска, прорываясь сквозь огневые завесы, прибывали и прибывали растрепанные поезда с матросами, снарядами и пушками. Бойцы из вагонов бежали прямо в окопы. Из-за скученности и отсутствия командования потери были огромны. (К концу четвертого дня убитыми и ранеными в Екатеринодаре насчитывали пятнадцать тысяч человек.)

В этом бою сшиблись на жизнь и смерть: старая и новая Русь, — генеральская, барская, высокомерная, разъяренная из-за отнятых привилегий, оскорбленная в великодержавной гордости, и — мужицкая Русь, разночинная, рабочая, упрямая, еще темная и полуслепая, но уже почуявшая со всей новорожденной свирепостью, что—«мы сами себе князья».

Добровольцам нужно было как можно скорее уходить от этого места, бежать в горы, в леса, в гавани, быть может — садиться на корабли, плыть — куда глаза глядят от разбуженной и закипевшей стихии... Но Корнилов, не выходя из угловой комнаты на ферме, про-

должал сидеть над картой. Его воля была непоколебима. Его мысли уже подходили к черте самоубийства... Армия, которой он единолично командовал, умирала по его приказу, таяла, как брошенные в печь оловянные солдатики. Такова была воля этого бесстрашного, упрямого и очень глупого человека.

На церковной паперти (в станице Елизаветинской) на солнцепеке сидело десятка два раненых офицеров. С востока, то усиливаясь, то западая, доносился орудийный гром. А здесь в безоблачном небе над колокольной, пробитой снарядом, резали воздух стрижи. Пыльная площадь перед церковью была пуста. Хаты с выбитыми окнами — покинуты. У плетня, где на сирени лопнули почки, лежал лицом вниз полураздетый труп, покрытый мухами.

На паперти говорили вполголоса:

— Была у меня невеста, красивая, чудная девушка, так и помню ее в розовом с оборками,—где она теперь—не знаю.

— Да, любовь... Как-то даже дико... А тянет, тянет к прежней жизни... Чистые женщины, ты хорошо одет, спокойно сидишь в ресторане... Сигару бы я сейчас выкурил...

— А пованивает этот большевичек. Засыпать бы его...

— Мухи сожрут.

— Тише... Постойте, господа... Опять ураганный огонь...

— Поверьте мне, это—конец... Наши уже в городе.

Молчание. Все повернулись, глядят на восток, где серо-желтой тучей висит дым и пыль над Екатеринодаром. Гром затихает, и опять слышен нежный свист стрижей над колокольной. Ковыляя, подходит рыжий, худой как скелет, офицер, садится, говорит:

— Валька сейчас умер... Как кричал: «Мама, мама, слышишь ты меня?...».

Сверху паперти проговорил резкий голос:

— Любовь! Барышня с оборками... Еррррунда. Обозные разговоры. У меня жена покрасивее твоей невесты с оборками... (Зло фыркнул носом.) Да и врешь ты все, никакой у тебя невесты не было... А я сразу взял и отрезал.. Послал жену к ... С душными юбками... Наган в кармане да шашка, вот—семья и все прочее...

Рощин, ходивший с винтовкой в карауле у церкви, остановился и внимательно взглянул на говорившего. У того было мальчишеское, со вздернутым носом, светловолосое лицо, две резких морщины у рта и старые, тяжелые, мутно-голубого цвета, глаза непрославшегося убийцы. Рощин оперся на винтовку (все еще болела нога), и непрошенные мысли овладели им. Воспоминание о брошенной Кате острой жалостью прошло в памяти. Он прижал лоб к холодному железу штыка. «Полно, полно, это—слабость, это все не нужно...» Он встряхнулся и зашагал по пыльной земле. «Не время жалости, не время любви...»

У кирпичной стены, разрушенной снарядом, стоял, глядя в бинокль, рослый мускулистый человек. Щегольская кожаная куртка, кожаные штаны и мягкие казацкие сапоги его были забрызганы засохшей грязью. Кругом него в кирпичную стену цокали пули.

Ниже, в ста шагах от него, расположилась батарея и зеленые снарядные ящики. Лошадей только что отвели к забору, и они стояли понуро, навалив дымящийся навоз. Прислуга, сидя на хоботах орудий, смеялась, курила, — поглядывали в сторону командира с биноклем. Почти все были матросы, кроме троих оборванных бородачей артиллеристов.

Дым и пыль заслоняли горизонт, — линии окопов, складки земли, сады, — то, что разглядывал командир, неясно появлялось и исчезало из поля зрения. Из-за дома, где он стоял, вывернулся рябой, медно-красный, в одном тельнике матрос, проскользнул по-кошачьи вдоль стены и сел у ног командира, обхватил колени голыми, татуированными, сильными руками, чуть прищурил рыжие, как у ястреба, глаза.

— У самого берега, товарищ Жлоба, два дерева, глядишь?

— Ну?

— За ними — домишко, вон стеночка белеется, глядишь?

— Ну?

— То — ферма.

— Знаю.

— А правее — гляди — роща. А вон дорога.

— Вижу.

— Я со вчерашнего дня слежу за тем местом. С четырех часов там верхоконные пробежали, народ начал ползать. Вечером две коляски проехали. Там, туды его в душу, и сидит этот дьявол, больше нигде.

— Катись вниз, — повелительно резко сказал Жлоба и позвал командира батареи. На пригорок влез бородастый человек в овчинном тулупе. Жлоба передал ему свой бинокль, и он долго всматривался, сопел:

— Хутор Слюсарева, ферма, — сказал он простуженным голосом, — дистанция четыре версты с четвертью. Можно и по Слюсареву ахнуть, — отчего же?

Он вернул бинокль, неуклюже сполз вниз и, надув горло, рявкнул:

— Батарея, готовьсь!.. Гранаты... Дистанция... Первая очередь...

Огонь...

Вслед за этим словом ахнули громовыми глотками орудия, отскочив назад на компрессорах, выпыхнули пламя, и тяжелые гранаты ушли, бормоча о смерти, к высокому берегу Кубани, к двум голым тополям, где в белом домике перед картой сидел угрюмый Корнилов.

На второй день штурма был вызван из обоза генерал Марков с офицерским полком. В этой колонне шел Роцин, рядовым. Семь верст до Екатеринодара, еще гуще чем вчера покрытого пылью канонады,

пробежали за час времени. Впереди шагал в сдвинутой на затылок папахе, в расстегнутой ватной куртке Марков. Обращаясь к едва поспевающему за ним штабному полковнику Званцеву—ругался и сволочился по адресу высшего командования:

— Раздергали по частям бригаду, в обозе меня, трах-тарарах, заставили сидеть... Пустили бы меня со всей бригадой,—я бы давно в Екатеринодаре был...

Он перескочил через канаву, поднял нагайку и, обернувшись к растянутой по зеленому полю колонне, закричал:

— По отделениям... Заходи пра-ва...

Запыхавшиеся офицеры с потными, серьезными лицами, стали перебегать, колонна повертывалась, как на оси, и растянулась в виду города четырьмя зыбкими лентами по полю. Роцин оказался недалеко от Маркова. Несколько минут стояли. Пробовали затворы. Поправляли, осматривали патронные сумки. Марков опять скомандовал резким, фатоватым голосом, растягивая гласные,—тогда отделилось сторожевое охранение и рысцей ушло далеко вперед. За ним двинулся весь полк.

Слева, навстречу, по раз'езженной дороге плелись унылые телеги,—везли раненых. Иные шли пешком, уронив головы. Много раненых сидело на гребнях канав, на опрокинутых телегах. И казалось—телегам и раненым нет числа,—вся армия.

Обгоняя полк на вороной лошади, проехал рослый и тучный человек с усами, в фуражке с красным околышем и в отлично сшитом френче со жгутами—погонами конюшенного ведомства. Он весело закричал что-то генералу Маркову, но тот, взглянув, отвернулся, не ответил. Это был Родзянко, отпросившийся из обоза — взглянуть глазком на штурм.

Полк опять остановился. Издалека донеслась команда,—многие закурили. Все молчали, смотрели туда, где среди канав и бугров скрылось сторожевое охранение. Генерал Марков, помахивая нагайкой, ушел по направлению высокой тополевой рощи. Там, из глубины едва зазеленевших деревьев, через небольшие промежутки времени поднимались лохматые столбы дыма и пыли, высоко взлетали ветви и комья земли.

Стояли долго. Был уже пятый час. Из-за рощи показался всадник,—он скакал, пригнувшись к шее коня. Роцин глядел, как взмыленная лошаденка его завертелась у канавы, боясь перепрыгнуть, затем, взмахнув хвостом, прыгнула, всадник потерял фуражку. Подскакивая к полку, он закричал.

— Приказ... генерала Маркова... наступать... артиллерийские казармы... генерал впереди... там...

Он кинул рукой туда, где на бугорке маячило несколько фигур, на одной из них белелась папаха. Раздалась команда: «Цепь, — вперед...». Роцину стиснуло горло, заволокло слезами глаза, и глаза высохли,—была секунда страха и восторга, тело стало бесплотным,

было желание—бежать, кричать, стрелять, колоть, и чтобы сердце в минуту восторга остановилось, пронзено было пулей:—сердце—в жертву...

Отделилась первая цепь, и в ней, с левого фланга, держа в обеих руках винтовку, пошел Роцин. Вот и холмик, где, расставив ноги, лицом к наступающему полку, стоял Марков.

— Друзья, друзья, вперед,—повторял он, и всегда прищуренные глаза его казались сейчас расширенными, безумными.

Затем Роцин увидел торчащие сухие стебли травы. Повсюду, где они торчали, валялись, как мешки,—тычком и на боку,—неподвижные люди в солдатских рубашках, в матросских куртках, в офицерских шинелях. Он увидел впереди невысокую изгородь из плитняка и колючие кусты без листьев. Спинай к изгороди сидел длиннолицый человек в стеганом солдатском жилете и, как птица, раззевал и закрывал рот.

Роцин перескочил через изгородь и увидел широкую дорогу. По ней быстро приближались фонтанчики пыли. Это большевики мели пулеметами по наступающим. Он остановился, попятился, захватило дыхание, оглянулся. Те из наступающих, кто перескочил через изгородь,—ложились. Роцин лег, прижался щекой к колючей земле. С усилием заставил себя поднять голову. Цепь лежала. Впереди на поле, шагах в пятидесяти, тянулся бугор канавы. Роцин вскочил и, низко нагибаясь, перебежал эти пятьдесят шагов. Сердце неистово колотилось. Он упал в канаву, в липкую грязь. За ним, по одиночке, побежала вся цепь. Один, другой, не добежав,—ткнулись. Лежа в канаве, тяжело дышали. Над головами по гребню мело пулями.

Но вот впереди что-то переменялось, откуда-то засвистали снаряды в сторону казарм. Огонь пулеметов ослаб. Цепь с усилием поднялась и двинулась вперед. Роцин видел свою длинную, красновато-черную тень, скользющую по неровному полю. Она кривилась, то укорачивалась, то убегала бог знает куда. Подумал: «Как странно,—все еще жив и даже—тень от меня».

Снова усилился огонь со стороны казарм, но поредевшая цепь уже залегла в ста шагах от них в глубокой водомоине. Там по серому глинистому дну расхаживал Марков со страшными глазами.

— Господа, господа, — повторял он, — небольшая передышка.. Покурите, чорт возьми.. И—последний удар.. Чепуха, всего сто шагов..

Рядом с Роциным низенький, лысый офицер, глядя на пылящий от пуль верхний край оврага, повторял неистовым голосом одно и то же матерное ругательство. Несколько человек лежало, закрыв лицо руками. Один, присев и держась за лоб, рвал кровью. Многие, как гиены в клетках, ходили взад и вперед по дну оврага. Раздалась команда: «Вперед, вперед!..». Никто, как-будто, не услышал ее. Роцин судорожным движением затянул ременный кушак, ухватился за куст, полез наверх. Сорвался, скрипнул зубами, полез опять. И наверху оврага увидел присевшего на корточках Маркова. Он кричал:

— В атаку! Вперед!

Рощин увидел, что он бежит шагах в десяти позади Маркова.. Несколько человек обогнало их. Рощин увидел кирпичную стену казарм, залитую заходящим солнцем. Пылали в окнах осколки стекол. Какие-то фигурки бежали от казарм по полю к далеким домикам с палисадниками...

Кучка штатских и солдат стояла около сломанной гимнастики на песчаном дворе артиллерийских казарм. Лица у всех были бледны, обтянуты, сосредоточены, глаза опущены, руки висели безжизненно.

Напротив них стояла кучка поменьше, — офицеров, — опираясь на винтовки. Они с тяжелой ненавистью глядели на пленных. Те и другие молчали, ожидая. Но вот, на дворе показался, быстро, в прискобчку, идущий ротмистр, фон Мекке, тот самый, — Рощин узнал его, — с глазами неспросавшегося убийцы.

— Всех, — крикнул он весело, — приказано — всех... Господа, десять человек — вперед...

Прежде, чем десять офицеров, щелкая затворами, выступили вперед, — среди пленных произошло движение. Один, грудастый и рослый, потащил через голову суконную рубашку. Другой — штатский, чахоточный и беззубый, с прямыми черными усами, закричал рыдающе:

— Пейте, паразиты, рабочую кровь!

Двое крепко обнялись. Чей-то хриплый голос нескладно затянул: «Вставай, проклятьем...». Десять офицеров вжались плечами в ложа винтовок. В это время Рощин почувствовал пристальный взгляд. Поднял голову. (Он сидел на ящике, переобувался.) На него глядели глаза (лица не увидал), с предсмертным укором, с высокой важностью. «Знакомые, серые глаза, боже мой, где я видел их?..»

— Пли!

Не в раз, торопливо ударили выстрелы. Раздались стоны, крики. Рощин низко нагнулся, обматывая грязной портянкой царапнутую пулей ногу...

Второй день, как и первый, не принес победы добровольцам. Правда, на правом фланге были заняты артиллерийские казармы, но в центре не продвинулись ни на шаг, и дравшийся там Корниловский полк потерял убитым командира, подполковника Неженцева, любимца Корнилова. На левом фланге конница Эрдели отступала. Красные проявляли небывалое до сих пор упорство. В Екатеринодаре в каждом почти доме лежали раненые. Много женщин и детей было убито вблизи окопов и на улицах. Из станиц подходили партии иногородних и казачьей молодежи, требовали оружия и садились в окопы. Будь на месте Сорокина, Автономова, Золотарева боевое умелое командование, общим наступлением красных войск Добровольческая армия, растрепанная, с перемешавшимися частями, неминуемо была бы опрокинута и уничтожена.

На третий день, кое-как и кое-кем пополненные, полки добровольцев снова были брошены в атаку и снова отхлынули к исходным линиям. Многие, бросив винтовки, пошли в тыл, в обоз. Генералы пали духом. На позиции приехал Алексеев, покачал седой головой, уехал. Но никто не смел пойти и сказать главнокомандующему, что игра уже проиграна и что если чудом каким-нибудь и ворваться в Екатеринодар, — все равно теперь никакими силами не удержать города. Корнилов, после того, как поцеловал в мертвый лоб любимца своего Неженцева, привезенного на телеге на ферму под его окно, — больше не раскрывал рта и ни с кем не говорил. Только раз, когда у самого дома разорвалась граната и одна из пуль сквозь окно впиалась в потолок, он мрачно указал на эту пулю сухим пальцем и сказал для чего-то адъютанту Хаджиеву: «Сохраните ее, хан». В ночь на четвертые сутки по всем полевым телефонам последовало распоряжение главнокомандующего: «Продолжать штурм».

Но на четвертый день всем стало ясно, что темп атаки сильно ослабел. Генерал Кутепов, сменивший убитого Неженцева, не мог поднять Корниловского (лучшего в армии) полка, лежавшего в огородах. Части дрались вяло. Конница Эрдели продолжала отступать. Марков, сорвавшийся от крика и ругани голос, засыпал на ходу, его офицеры не могли высунуть носа дальше казарм.

В середине дня в комнате Корнилова собрался военный совет из генералов Алексеева, Романовского, Маркова, Богаевского, Филимонова и Деникина. Корнилов, уйдя маленькой, серебряной головой в плечи, слушал доклад Романовского: «Снарядов нет, патронов нет. Добровольцы казаки расходятся по станицам. Все полки растрепаны. Состояние подавленное. Многие не раненые из боевой линии уходят в обоз». И так далее...

Генералы слушали, опустив глаза. Марков, приткнувшись на чье-то плечо, спал. В полумраке (так как окно было завешано) лицо Корнилова было похоже на высохшую мумию. Он сказал глуховатым голосом:

— Итак, господа, положение, действительно, тяжелое. Я не вижу другого выхода, как взятие Екатеринодара. Я решил завтра на рассвете атаковать город по всему фронту. В резерве остается полк Казановича. Я его сам поведу в атаку.

Он внезапно засопел. Генералы сидели, опустив головы. Плотный, с полуседой бородкой, похожий на хорошего служаку - чиновника, генерал Деникин, страдавший бронхитом, воскликнул невольно: «О, господа, господа!» и закашлялся, пошел к двери. В спину ему Корнилов сверкнул черными глазами. Он выслушал возражения, встал и отпустил совет. Решительный штурм был назначен на 1 апреля.

Через полчаса в комнату вернулся Деникин, все еще свистя грудью. Сел и сказал с мягкой душевностью:

— Ваше высокопревосходительство; позвольте, как человек человеку, задать вам вопрос?

— Я слушаю вас, Антон Иванович.

— Лавр Георгиевич, почему вы так непреклонны?

Корнилов ответил сейчас же, как будто давно уже приготовил этот ответ:

— Другого выхода нет. Если не возьмем Екатеринодара, я пушу себе пулю в лоб. (Пальцем, с отгрызенным до корня ногтем, он указал себе на висок.)

— Вы этого не сделаете! — Деникин поднял полные, очень белые руки, прижал их к груди. — Перед богом, перед родиной... Кто поведет армию, Лавр Георгиевич?..

— Вы, выше превосходительство...

И нетерпеливым, измученным жестом Корнилов показал, что кончается и этот разговор.

Жаркое утро 31 марта было безоблачно. От зазеленевшей земли поднимались волны испарений. Лениво в крутых берегах текли синие воды Кубани, нарушаемые лишь плеском рыбы. Было тихо. Лишь изредка хлопал выстрел, да бухала вдалеке пушка, посвистывая проносилась граната. Люди отдыхали, чтобы назавтра по воле одного человека начать новый кровавый бой.

Подпоручик Долинский курил на крыльце дома. Подумал: «Помыть бы рубашку, кальсоны, носки... Хорошо бы искупаться в такое утро». Даже птица какая-то, залетная, весело посвистывала в роще. Долинский поднял голову.—Фюить,—ширкнула граната прямо в зеленую рощу. С железным скрежетом разорвалась. Птичка больше не пела. Долинский бросил окурком в глупую курицу, непонятно как не попавшую в суп, вздохнул, вернулся в дом, сел у двери, но сейчас же вскочил и вошел в полутемную комнату. Корнилов стоял у стола, подтягивая брюки.

— Что — чай еще не готов? — спросил он тихо.

— Через минуту будет готов, ваше высокопревосходительство, я распорядился.

Корнилов сел к столу, положил на него локти, поднес сухонькую ладонь ко лбу, потер морщины:

— Что-то я вам хотел сказать, подпоручик... Вот, не вспомню, просто беда...

Долинский, стоявший напротив, нагнулся над столом. Все это было так не похоже на главнокомандующего, — тихий голос, растерянность, — что его взял страх.

Корнилов повторил:

— Просто беда... Вспомню, конечно, вы не уходите... Сейчас глядел в окно, — утро превосходное... Да, вот что...

Он замолчал и поднял голову, прислушиваясь. Издали долетел двойной, особенно громкий, орудийный удар. Сейчас же понесся надрывающий вой гранаты, — казалось — прямо в занавешенное окно. Долинский попятился. Страшно треснуло над головой. Рвануло воз-

дух. Сверкнуло пламя. По комнате метнулось снизу вверх растопыренное тело главнокомандующего...

Долинского выбросило в окно. Он сидел на траве, весь белый от известки с трясущимися губами. К нему побежали...

У тела Корнилова, лежавшего на носилках и до половины прикрытого буркой, возился на корточках доктор. Поодаль стояли кучкой штабные и ближе их к носилкам — Деникин, в неловко надетой фуражке, с тополевой палочкой, недавно срезанной и оструганной им в роще.

Минуту назад Корнилов еще дышал. На теле его не было видимых повреждений, только небольшая царапина на виске. Доктор был невзрачный человек, рябоватый, заросший бородой, но в эту минуту он понимал, что все взгляды обращены на него, и, хотя ему было ясно, что все уже кончено, — он продолжал со значительным видом осматривать и выслушивать тело. Не торопясь, встал, поправил очки и покачал головой, как бы говоря: «К сожалению, здесь медицина бессильна».

К нему подошел Деникин, проговорил придушенно:

— Скажите же что-нибудь утешительное.

— Безнадежен! — Доктор развел руками. — Конец.

Деникин судорожно выхватил платок, прижал к глазам и затрясся. Плотное тело его все осело, палочка упала. Кучка штабных придвинулась к нему, глядя уже не на труп, а на него. Опустившись на колени, он перекрестил желто-восковое лицо Корнилова и поцеловал его в лоб. Двое офицеров подняли его. Третий проговорил взволнованно:

— Господа, кто же примет командование?

— Да я, конечно, я приму, — высоким, рыдающим голосом воскликнул Деникин, — об этом было раньше распоряжение Лавра Георгиевича, об этом он еще вчера мне говорил...

В эту же ночь все части Добровольческой армии неслышно покинули позиции, и пехота, кавалерия, обозы, лазареты и подводы с политическими деятелями ушли на север, в направлении хуторов Гначбау, увозя с собой два трупа — Корнилова и Неженцева.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Алексей спрыгнул с подножки вагона, взял брата, как ребенка, на руки, поставил его на перрон. Матрена стояла у вокзальной двери, у колокола. Семен не сразу узнал ее, — она была в черном городском пальто, черные блестящие волосы ее покрывал, завязанный очипком, по новой советской моде, белый опрятный платок. Молодое, круглое, красивое лицо ее было испугано, губы плотно сжаты.

Когда Семен, поддерживаемый братом, подошел, еле передвигая ноги, карие глаза Матрены замигали, лицо задрожало...

— Батюшка мой, — сказала она тихо, — дурной какой стал.

Семен с болью вздохнул, положил руку на плечо жене, коснулся губами ее чистой, прохладной щеки. Алексей взял у нее кнут. Постояли молча. Алексей сказал:

— Вот тебе и муж предоставлен. Убивали да не убили. Ничего, косить вместе будем. Ну, поедемте, дорогие родственники.

Матрена нежно и сильно обняла Семена за спину, довела до телеги, где поверх домотканного коврика лежали опрятные подушки. Усадила, села рядом, вытянув ноги в новых городского фасона башмаках. Алексей, поправляя шлею, сказал весело:

— В феврале один кавалер от эшелона отбился, загулял. Я его двое суток самогоном накачивал. Ну, и пятьсот целковых дал еще керенками, вот тебе и конь. — Он ласково похлопал сильного рыжего мерина по заду. Вскочил на передок телеги, поправил барашковую шапку, тронул вожжами. Выехали на полевую дорогу в едва зазеленвшие поля, над которыми в солнечном свете, трепеща крыльями, жарко пел первый жаворонок. На небритое, землистое лицо Семена взошла улыбка. Матрена, прижимая его к себе, взором спросила, и он ответил:

— Да, — вы тут пользуетесь...

Приятно было Семену войти в просторную, чисто выбеленную, хату. И зеленые ставни на маленьких окошках в четыре стекла, и новое тесовое крыльцо, и вот, — шагнул через знакомую низкую дверь, — теплая, чисто вымазанная мелом, печь, крепкий стол, покрытый вышитой скатертью, на полке — какая-то, совсем не деревенская, посуда из никкеля и фарфора, налево — спальня Матрены с металлической широкой кроватью, покрытой кружевным одеялом с грудой взбитых подушек, направо — комната Алексея (где прежде жил покойный отец), на стене — уздечки, седло, наборная сбруя, шашка, винтовка, фотографии, и во всех трех комнатах — заботливо расставленные цветы в горшках, фикусы и кактусы, — весь этот достаток и чистота удивили Семена. Полтора года он не был дома, и — гляди — фикусы, и кровать, как у принцессы, и городское платье на Матрене.

— Помещиками живете, — сказал он, садясь на лавку и с трудом разматывая шарф. Матрена положила городское пальто в сундук, подвязала передник, перебросила скатерть изнанкой кверху и живо накрыла на стол. Сунула в печь ухват и, присев под тяжестью, так что голые до локтей руки ее порозовели, вытащила на шесток ведерный чугунок с борщом, таким наваристым, что оба брата закрутили носами. На столе уже стояли и сало, и копченая гусятина, и вяленая рыба. Матрена сверкнула глазами на Алексея, он мигнул, она принесла глиняный жбанчик с самогоном.

Тогда братья сели за стол. Алексей поднес брату первому стаканчик. Матрена поклонилась. И когда Семен выпил огненного первача,

едва отдулся, — оба и Матрена и Алексей вытерли глаза. Значит, сильно были рады, что Семен жив и сидит за столом с ними.

— Живем, браток, не то, чтобы в диковинку, а — ничего, хозяйственно, трудами рук, — сказал Алексей, когда окончили хлебать борщ, Матрена убрала тарелки с костями и села близко к мужу. — Помнишь на княжеской даче клин около рощи, девять с половиной десятин, земля — золотое дно? Много я пошумел в обществе, шесть ведер самогону загнал хрестьянам, — отрезали. Нынче мы с Матреной его распахали. Да летось не плохой был урожай на полосе около речки. Вот мы за год и поправились. Все, что видишь: кровать, зеркало, кофейники, ложки-плошки, разные там тряпки - барахло, — все этой зимой добыли. Матрена твоя очень люта до хозяйства. Ни один базарный день не пропускает. Я еще по старинке — на денежки продаю, а она — нет. Сейчас кабана, куренков заколет, муки там, картошки — на воз, подоткнет подол и — в город... И бывало — на базар и не выезжает, а прямо идет к разным бывшим господам на квартиру, глазами шарит: «Вот за эту, говорит, кровать — два пуда муки да шесть фунтов сала... А за эту, говорит, покрывалу — картошки...». Прямо смех, как с базара едем, — чистые цыгане, на возу хурда бурда.

Матрена, пожимая мужнину руку, говорила:

— Двоюродную мою сестру, Авдотью, помнишь? Старше меня на годочек, — за Алексея ее сватаем.

Алексей смеялся, держа поплескивающий стаканчик:

— Бабы эти прежде меня решили... А и верно, браток, надоело вдовствовать. Напьешься и — к сводне, такая грязь, потом не отплюешься...

— Я бойка в хозяйстве, — говорила Матрена, — а сестра и того бойчее, да красивая, светловолосая, прямо — открытка.

— Ладно! — Алексей стукнул по столу. — Семен приехал, гуляем свадьбу.

Он принес отцовскую обугленную трубочку с висящими на ней медными побрякушками, набил доморощенным табаком, и закрутился дым по хате. У Семена от речей и от самогона кругом пошла голова. Сидел, слушал, дивился.

В сумерки Матрена повела его в баньку, заботливо вымыла, попарила, хлестала веником, закутала в тулупчик, и опять сидели за столом, ужинали, прикончили глиняный жбанчик до последней капли. Семен, хотя еще был слаб, но лег спать с женой и заснул, обвитый за шею ее горячей рукою. А на утро — открыл глаза, — в хате было прибрано, тепло. Матрена, посверкивая глазами, белозубой улыбкой, месила тесто. Алексей скоро должен был приехать с поля завтракать. Весенний свет лился в чистые окошечки, блестели листья, фикусов. Семен сел на кровати, расправился: — как будто вдвое прибыло здоровья за вчерашний день, за эту ночь, проспанную с Матреной. Оделся, помылся, спросил, где у брата бритва? — в его комнате у окошка перед осколком зеркала побрил. Вышел на улицу, стал у ворот и покло-

нился сидевшему у соседей в палисаднике древнему старику Ивану Ивановичу Щусеву, помнившему четырех императоров. Старик снял шапку, важно нагнул голову, и опять сидел, как статуя за кустом сирени.

Знакомая улица села в этот час была пуста. Между хатами виднелись далеко уходящие полосы зеленей. На курганах, на горизонте, кое-где стояли распряженные телеги. Семен поглядел налево, — над меловым обрывом лениво вертели крыльями две мельницы. Пониже, на склоне, среди садов и соломенных крыш, белела колокольня. В роще, подернутой зеленой дымкой, горели от солнца окна бывшего княжеского дома. И роща и красивый фасад дома отражались в заливном озере. Там у воды лежали коровы, бегали дети. Кричали грачи.

Семен стоял и поглядывал исподлобья, засунув руки в просторные карманы братниной свитки. Глядел, и находила печаль ему на сердце, и понемногу сквозь прозрачные волны жара, струящиеся над селом, над садами и вспаханной землей, видел он уже не этот мир и тишину. Подъехал Алексей на телеге, еще издали весело окликнул. Отворяя ворота, внимательно, быстро взглянул на Семена. Распряг мерина и стал мыть руки на дворе под висячим рукомойником.

— Ничего, браток, обтерпишься, — сказал он ласково, — я тоже, с германского фронта вернулся, ну — не глядел бы ни на что, кровь в глазах, тоска... Ах, будь она, эта война, проклята... Идем завтракать.

Семен промолчал. Но и Матрена заметила, что муж не весел. После завтрака Алексей опять уехал в поле. Матрена, босая, подоткнувшись, ушла возить навоз на второй лошади. Семен лег на братнину постель. Ворочался, не мог уснуть. Тоска, смертная печаль томили сердце. Стиснув зубы, думал: «Не поймут, и говорить нечего с ними». Но вечером, когда вышли втроем посидеть у ворот на бревнышке, Семен не выдержал, сказал:

— Ты, Алексей, винтовку бы вычистил.

— А ну ее к шуту... Разве — осенью стрепетов бить. Воевать, браток, теперь сто лет не будем.

— Рано обрадовались. Рано фикусы завели.

— Постой, ты не серчай раньше-то времени. — Алексей раскурил трубочку, сплюнул между ног. — Давай говорить по-мужицки, мы не на митинге. Я ведь это все знаю, что на митингах говорят, — сам кричал. Только ты, Семен, умеи слушать, что тебе нужно, а того, чего тебе не нужно — ты это пропускай. Скажем, — землю трудящимся. Это совершенно верно. Теперь, — комитеты бедноты. А кто эта беднота? Трудящиеся? У нас в селе мы, скажем, этих комитетчиков взнуздали. А в Сосновке комитет бедноты что хочет, то и делает, такие реквизиции, такое безобразие, — хоть беги. Именье графа Бобринского все ушло под совхоз, хрестьянам земли ни вершка не нарезали. А кто в комитете? Двое местных бобылей безлошадные, остальные — шут их знает кто, пришлые какие-то, каторжники... На митингах-то очень

складно получается, а до деревни докатится, и такая вдруг вылезет рожа стрыженная вместо этой бедноты...

— Эх, да не про то я... — Семен отвернулся.

— Вот, то-то, что не про то, а я про то самое. Ты про мировую революцию, а я — про навоз. Так, что ли? В семнадцатом году на фронте и я кричал про буржуазию. А хлопнуло, — дай бог ему здорovia, кто меня хлопнул тогда, — пулей в ногу, сразу эвакуировался домой. Вижу, — сколько ни наешь, а на другой день опять есть хочется. Трудись...

Семен постучал ногтями по бревну:

— Земля под вами горит, а вы спать легли.

— Может быть, у вас во флоте, — сказал Алексей твердо, — или в городах революция и не кончилась. А у нас она кончилась, как только землю поделили. Теперь вот, что будет: уберемся мы с посевом и примемся мы за комитетчиков. К Петрову дню ни одного комитета бедноты не оставим. Живыми в землю закопаем. Советской власти мы не боимся. Мы ни дьявола не боимся, это ты запомни...

— Будет тебе, Алексей Иванович, гляди — он весь дрожит, — проговорила Матрена тихо, — разве можно с больного спрашивать?..

— Не больной я... Чужой я здесь! — крикнул Семен, встал и отошел к плетню.

На том разговор и кончился.

В полосе уже погасшей зари летали две мыши, два чортика. Кое-где горел свет в окошках, — кончали ужинать. Издалека доносилась песня, — девичьи голоса. Вот, песня оборвалась, и по широкой, погруженной в сумрак, улице понесся дробный стук копыт. Скакавший приостановился, что-то крикнул, опять пустил коня. Алексей вынул изо рта трубку, прислушиваясь. Поднялся с бревен.

— Несчастье, что ли, а? — сказала Матрена дрогнувшим голосом.

Наконец, показался верхоконный, — парень без шапки, на рослой лошади, болтая босыми ногами...

— Немцы идут, — крикнул он на ходу, — в Сосновке уж четырех человек убили!..

После заключения мира, к середине марта по новому стилю, германские войска по всей линии от Риги до Черного моря начали наступление, — военную прогулку в глубь Западной России.

Это было несомненное предательство. Но разве мог моральный момент, — чистая абстракция, — остановить полмиллионную армию, когда перед ней расстился богатейший край, Украина, изобилующая хлебом, мясом, сахаром, шерстью, кожей и прочее и прочее?..

Это была интервенция. Но, понятно, не могли же немецкие военные власти допустить, чтобы в краю, куда они вводили войска, хозяйничало правительство, намеревающееся всеми силами и средствами зажечь в Германии революцию. Немцам нужно было получить много

и взять легко и дешево. Это можно было сделать — восстановив на Украине старый дореволюционный строй, — в города посадить губернаторов, на фабрики — старых фабрикантов, в имения и на сахарные заводы — помещиков, в столицу — нечто вроде короля, — гетмана всей Украины. Такой аппарат стал бы работать не за страх, а за совесть, по век признательный за реставрацию.

Это было, разумеется, пробное завоевание части России. Но разве имперское правительство могло отказаться расширить свою территорию, приобрести огромный рынок сбыта? Для чего же оно, в таком случае, и начинало мировую войну! К тому же, обильный сырьем тыл дал бы возможность с новыми силами продолжать войну на западном фронте.

Немцы наступали на Украину по всем правилам, — черепашими, неспешно идущими колоннами, пыльного цвета, в железных шлемах. Слабые заслоны красных войск и гарнизоны городов сметались с лица земли тяжелой германской артиллерией. Еще живо было в памяти русских обаяние непобедимости этих железных колонн, этих солдат-машин, знающих одно: повиновение приказу.

Шли войска, автомобильные обозы, огромные артиллерийские парки с орудиями, выкрашенными изломанными линиями в пестрые цвета, гремели танки и броневые автомобили, везли понтоны, целые мосты для переправ. Жужжали в синем небе вереницы аэропланов.

Это было нашествие великой индустрии на почти безоружный народ, в котором кипели все человеческие страсти, бешено бродили возвышенные идеи и низменные желания. Оборванные, шумные красные войска, вооруженные одними винтовками, ручными гранатами да пушками, стреляющими в вольный свет, как в копейку, — уходили на север и на восток, дико и недоуменно озираясь. Неужели борьба еще только начинается? Неужели это только первый акт трагедии?

А в Киеве уже сидел на, без малого, королевском троне свитский генерал Скоропадский, одетый в любезную народу свитку с гозырями... Подбоченясь, держал гетманскую булаву. «Хай живе, щира Украина! Отныне и навеки — мир, порядок и благолепие. Рабочие — к станкам, землеробы — к плугу! Чур, чур! — сгинь красное навождение!»

И, впрямь, сгнуло красное навождение. Через неделю, после того, как по улице села Владимирского (бывшей вотчине князей Белопольских) проскакал страшный вестник, — ранним утром на меловом обрыве у мельниц показался конный разезд, — двадцать всадников на крупных вороных конях, — крупные, не русского вида, в коротких зелено-серых мундирах и уланских шапках со шнурами. Посмотрели вниз на село, спешились.

В селе был еще народ, — многие сегодня не выехали в поле. И вот, побежали от ворот к воротам мальчишки, перекликнулись бабы через плетни, и скоро на церковной площади собралась толпа. Глядели

наверх, где около мельниц, — ясно было видно, — уланы ставили два пулемета.

А вскоре, затем, с другой стороны по селу загромыхали кованые колеса, зашелкал бич, и на площадь широкой рысью влетела пара карачковых, в мыле, запряженная в военную тележку. На козлах правил белоглазый, с длинной челюстью, нескладный солдат в бескозырке и в узком мундире. Сзади него, — руки в бока, — сидел германский офицер, строгого и чудного вида барин, со стеклышком в глазу и в новенькой, как игрушечной, фуражке. По левую сторону его жался старый знакомец, княжеский управляющий, сбежавший прошлой осенью из имения в одних подштанниках.

Сейчас он сидел, насупясь, в хорошем пальто, в теплом картузе, — круглолицый, бритый, в золотых очках, — Григорий Карлович Миль. Ох, и зачесались задницы кое у кого из мужиков, когда увидели Григория Карловича. Крутой был мужчина.

— Шапки долой! — внезапно крикнул по-русски чудный офицер. Некоторые, кто стоял поближе, потянулись, нехотя стащили шапки. На площади притихло. Офицер, сидя все так же, — подбоченясь, — поблескивая стеклышком, начал говорить, отчеканивая слова, иные с трудом, но правильно произносятся:

— Землепашцы села Владимирского, вы увидели там на горке два новых германских пулемета, они отлично действуют... Вы, конечно, благоразумные землепашцы. Я бы не хотел причинять вам вреда. Должен сказать, что германские войска нашего императора Вильгельма пришли сюда не для того, чтобы с вами сражаться, и не для того, чтобы вас завоевать. Мы пришли к вам для того, чтобы восстановить среди вас жизнь честных людей. Мы, германцы, не любим, когда воруют чужую собственность, за это мы наказуем очень беспощадно. Большевики вас учили другому, не правда ли? За это мы прогнали большевиков, они никогда больше не вернуться. Советую вам хорошенько подумать о своих дурных поступках, а также о том, чтобы незамедлительно вернуть владельцу этого имения то, что вы у него украли...

В толпе даже крякнул кто-то после этих слов. Григорий Карлович все время сидел, опустив козырек на глаза, — внимательно всматривался в мужиков. Один раз на полном лице его мелькнула усмешка торжества, — видимо, он узнал кого-то, кого искал глазами. Офицер окончил речь. Мужики молчали.

— Я исполнил мой долг. Теперь скажите вы, господин Миль, — по-немецки обратился к нему офицер.

Григорий Карлович в очень почтительных выражениях отклонил это предложение:

— Господин лейтенант, мне с ними говорить не о чем. Они и так все поняли.

— Хорошо, — сказал офицер, которому было наплевать. — Август, пшел!

Солдат в бескозырке хлопнул бичем, и военная тележка покатила сквозь раздавшуюся толпу к княжескому дому, где еще три дня тому назад находился волисполком. Мужики глядели вслед.

— Подбоченился, немец, — проговорил в толпе чей-то голос.

— А Григорий Карлович, ребята, помалквает.

— Подожди, он еще разговорится.

— Вот, беда-то, господи, — да за что же это?..

— А теперь скоро жди исправника.

— В Сосновке уж прибыл. Созвал сход и давай мужиков ругать, — вы, мол, такие - сякие, грабители, бандиты, забыли девятьсот пятый год? Часа три чистил и все по матери. Всю политику об'яснил.

— А чего же теперь будет?

— А пороть будут.

— Пстой, а как же запашка? Чья она теперь?

— Запашку исполу. Убраться дадут, половина — князю.

— Эх, чорт, уйду я...

— Куда пойдешь, дура?..

Поговорили мужики, разошлись. А к вечеру понесли в княжеский дом диваны, кресла, кровати, занавески, золоченые рамы с зеркалами и картинами. Несли, потели. Оставалось одно только — шутить с горя друг над другом.

У Красильниковых ужинали, не зажигая огня. Алексей каждый раз клал ложку, оглядывался на окно, вздыхал. Матрена ходила тихо, как мышь, от печи до стола. Семен сидел сутуло, вьющиеся темные волосы падали ему на лоб. Убирая ли куски, ставя ли миску с новой едой, Матрена нет-нет да и касалась его то рукой, то грудью. Но он не поднимал головы, молчал упрямо.

Вдруг, Алексей шатнулся к окну, ударил в него ногтями, выглянул. Теперь в вечерней тишине был ясно слышен издали дикий долгий крик. Матрена сейчас же села на лавку, стиснула руки на коленях.

— Ваську Дементьева порют, — тихо проговорил Алексей, — давеча его стражники провели на княжеский двор.

— Это уже третьего, — прошептала Матрена.

— На Ваську управляющий хуже всех зол.

Замолчали, слушали. Крик человека все тем же отчаянием и ужасом висел над вечерним селом. Семен порывисто встал. Коротким движением подтянул ремень на штанах и пошел к брату в комнату. Матрена так же молча кинулась за ним. Он снимал со стены винтовку. Матрена обхватила его за шею, повисла, закинув голову, стиснув белые зубы — замерла. Семен хотел оттолкнуть ее и не мог. Винтовка упала на глиняный пол. Тогда он повалился на кровать лицом в подушку. Матрена присела около, торопливо гладила мужа по кудрявым волосам.

Не надеясь на силы стражников и нового гетманского войска — гайдамаков, управляющий, Григорий Карлович, ходатайствовал о посылке в село Владимирское гарнизона. Немцы охотно соглашались в таких случаях, и во Владимирское вошли два взвода с пулеметом. Солдат расквартировали по хатам. Говорили, будто Григорий Карлович сам отмечал дворы под построй. Во всяком случае, все те из крестьян, кто принимал участие в прошлогоднем разгроме княжеской усадьбы и все члены волисполкома из беспартийных (человек десять молодежи—коммунистов—скрылись из села еще до появления немцев) получили на кормежку по солдату, иные по солдату с конем.

Так, и к Алексею Красильникову постучался в ворота brave германский солдат, в полной амуниции, при винтовке и в шлеме. Весело и непонятно лопоча, показал Алексею ордер, похлопал по плечу:

— Карашо, друг...

Солдату отвели Алексееву комнату, убрали только сбрую и оружие. Солдат сейчас же устроился, — постелил хорошее одеяло, на стену повесил фотографию Вильгельма, велел подмести пол почище, — покуда Матрена мела, он собрал грязное бельешко и попросил выстирать, — «шмуциг, фуй, — говорил он, — битте, стиркать». Потом, очень всем довольный, брякнулся в сапогах на постель и закурил сигару.

Солдат был толстый с жесткими усами, вздернутыми кверху. Одежда на нем была хорошая, ладная. И есть был здоров, как боров. Жрал все, что ни приносила ему в комнату Матрена, особенно понравилось ему соленое свиное сало. Матрене жалко было до смерти кормить этим салом немца, но Алексей сказал: «Брось, пусть его трескает да спит, только бы носу никуда не совал».

Когда нечего было делать, солдат напевал про себя грубым голосом военные марши, или писал письма на родину на открытках с видами Киева. Не озорничал, не грубил, только ходил очень громко, — топал сапогами, как хозяин.

У Красильниковых было теперь, будто — покойник в доме: сажались за стол, вставали молча, Алексей — не весел, на лбу морщины, Матрена осунулась, вздыхала, украдкой вытирала глаза фартуком. Больше всего боялась она за Семена, как бы он не сорвался сгоряча. Но он за эти дни, когда с небывалой легкостью исчезло все то, за что еще месяц назад проливали кровь, — пропало, как сон, — растерялся, затих, затаился.

Было от чего растеряться: в волостной избе и на воротах по дворам каждый день расклеивались универсалы гетмана о возврате земли и скота помещикам, о реквизициях и поборах, о принудительной продаже хлеба, о беспощадных карах за попытки к бунтам, за укрывательство коммунистов и так далее...

Мужики читали универсалы, помалкивали. Потом стали доходить зловещие слухи о том, что в таком-то селе скупщики под охраной немецкой кавалерии вывезли даже немолоченный хлеб, расплатились

какими-то нерусскими бумажками, которых и бабы брать не хотят, в таком-то селе угнали половину скота, а в таком-то не оставили, будто бы, и воробью клюнуть. По ночам в укромных местах мужики стали собираться небольшими кучками, слушали рассказы, кряхтели. Что тут было поделать? Чем помочь? Такая навалилась сила, что только дух пускай, а не пикни.

Семен стал хаживать на эти собрания,—на зады, к ручью, под иву. В пиджаке в накидку сидел на земле, курил, слушал. Иной раз хотелось вскочить с земли, кинуть пиджак, развернуть плечи: «Товарищи!..». Напрасно,—только напугаешь их, затрясут мужики мотнями, разбегутся. Однажды в сумерки на выгоне он встретил какого-то человека, — тот стоял, скалился. Семен прошел — было мимо, человек окликнул:

— Братишка!

Семен вздрогнул,—неужели—свой? Спросил, искоса оглядывая того:

— А что надо?

— Ты Ликсеев брат?

— Ну, скажем.

— Своих не признаешь... Команду на «Стремительном» помнишь?

— Кожин! Ты?—Семен крепко сунул руку ему в руку.

Стояли, глядели друг на друга.

Кожин, быстро оглянувшись, сказал:

— Обрезы-то пилите?

— Нет, у нас пока еще тихо.

— А бойкие ребята есть?

— Кто их знает, пока не видать,—ждем, что дальше будет.

— Что же вы, ребята, делаете?—заговорил Кожин, и глаза его все время бегали, вглядывались в сумеречные очертания, — чего вы смотрите? Так вас, как гусей, общиплют, а вы и головки подставили. А знаете вы,—у нас уж село Успеновку всю сожгли артиллерийским огнем. Бабы, ребятишки разбежались кто куда, мужики — в лес... Из Новоспасского народ бежит, из Федоровки, из Гуляй-Поля, из Комаря, из обоих Яниселей,—все к нам...

— Да к кому — к вам?

— Дыбовский лес знаешь? Там собираются... Ну, ладно... Я еще сюда приду, а ты вот что шепни ребятам,—чтобы от вашей Владимировки сорок обрезов, да винтовок добрых с патронами штук десять, да гранат ручных—сколько соберете,—и это вы прячьте в стог, в поле... Понял? В Сосновке уж под стога прячут, ребята только меня дожидаются... В Гундяевке тридцать мужиков на конях ждут,—уходить...

— Да куда? К кому?

— Ну, к атаману... Зовут—Щусь. Сейчас мы по всей Екатеринославщине отряды собираем... На прошлой неделе разбили гайда-

маков, сожгли экономию... Вот, братишко, была потеха,—спирт этот, сахар даром крестьянам кидали... Так помни,—через неделю приду...

Он подмигнул Семену, перескочил через плетень и побежал, пригнувшись, к ручью, в камыши.

Слухи об атаманах, о налетах доходили до Владимировки, но не верилось. И вот—появился живой свидетель. Семен в тот же вечер рассказал о нем брату. Алексей выслушал серьезно.

— Атамана-то как звать?

— Щусь, говорят.

— Не слышал. Про Махно, Нестора Ивановича, бродят слухи, будто бы—шайка у него человек в двадцать пять головорезов,—налетают на экономии. Но разве это сила? А Нестора Ивановича знавали наши мужики еще в девятьсот пятом году, в Гуляй-Поле он был учителем. Ну, страшный революционер, и уж тогда начал шалить. С гуляйнопольскими ребятами поехали они в Бердянск, ограбили казначейство. Сослали его в каторгу в Акатуйск, били, говорят, там смертным боем, держали на цепи. А в семнадцатом году,—пожалуйста,—приезжает опять в Гуляй-Поле. Но родные и те его не узнали: зверем стал. А про Щуся не слышал,—все может быть: теперь мужик на все способен. Что ж,—Щусь, так Щусь, дело святое... Только вот что, Семен,—мужикам ты покуда ничего не говори. Когда нужно будет, скажу сам.

Семен усмехнулся, пожал плечом:

— Ну, ждите, покуда не обципят догола.

В тот вечер Кожин виделся, должно быть, не с одним Семеном. По селу зашептали про обрезы, гранаты, про атаманские отряды. Кое-где по дворам, ночью,—если прислушаться,—начали ширкать напильники. Но, пока что, все было тихо. Немцы даже навели порядок,—издали приказ—с субботы на воскресенье мести улицу. Ничего, и улицу подмести.

Затем пришла и беда. В ранний час, когда еще не выгоняли поить скотину, по выметенной улице пошли стражники и десятники с бляхами,—застучали в окошки:

— Выходи!

Мужики стали выскакивать за ворота, босиком, застегиваясь, и тут же получали казенную бумагу: с такого-то двора—столько-то хлеба, шерсти, сала и яиц представить германскому интендантству по такой-то цене в марках. На площади у церкви уже стоял военный обоз. По дворам, у ворот, ухмылялись постояльцы-немцы, в шлемах, с винтовками у ноги.

Зачесались мужики. Кто божиться стал. Кто шапку кинул об землю:

— Да нет у нас хлеба! Хоть режь, вот,—нет ничего!..

И тут по улице на дрожжах проехал управляющий. Не столько солдат или стражников испугались мужики, сколько его золотых очков, потому что Григорий Карлович все знал, все видел.

Остановил жеребца. К дрожкам подошел исправник. Поговорили. Исправник гаркнул стражникам, те вошли в первый двор и сразу под навозом нашли зерно. У Григория Карловича только очки блеснули, когда он услышал, как закричал мужик-хозяин.

В это время Алексей ходил у себя по двору,—до того растерялся, что жалко было смотреть. Матрена, опустив на глаза платок, плакала на крыльце.

— На что мне деньги, марки-то эти, на что?—спрашивал Алексей, поднимал чурку или сломанное колесо, бросал в крапиву к плетню. Увидал петуха, затопал на него:—сволочь, знать бы, давно его в горшок!—Хватался за замок на амбарушке:—жрать-то мы что будем? Марки эти, что ли? Значит—по миру хотят нас? Окончательно разорить? Опять в окончательную кабалу к князю?

Семен, сидя около Матрены, сказал:

— Хуже еще будет... Коров, мерина отберут.

— Ну, уж нет! Тут я, брат,—топором!

— Давно бы так... Поздно догадался.

— Ай, милые,—пробыла Матрена,—да я им горло зубами перегрызу.

В ворота громыхнули прикладом. Вошел жилец, толстый немец,—спокойно, весело, как к себе домой. За ним—шесть стражников и штатский, с гетманской, в виде трезубца, кокардой на чиновничьей фуражке, со шнуrowанной книгой в руках.

— Тут—много,—сказал ему немец, кивнув на амбарушку,—сал, клерб.

Алексей бешено взглянул на него, отошел и со всей силы,—прибавив к тому трехэтажное словцо,—швырнул большой заржавленный ключ под ноги гетманскому чиновнику.

— Но, но, мерзавец!—крикнул тот,—розог не нюхал, сукин сын!

Семен локтем откинул Матрену, кинулся с крыльца, но в грудь ему сейчас же уперлось широкое лезвие штыка:

— Хальт!—крикнул немец жестко и повелительно.—Руский, на место!..

(Продолжение следует.)

Бриг „Богородица морей“

ИЛЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

1

Морское утро. Масленное море.
Дородная медузная волна,
Легонько бризом разволнована,
Отзванивала дребезги на взморье—

И смальцы пены, и извивы кдрюшк,
И пучеглазье... Но лоснится в море
Сквозная телом, жирна и вольна,
Холодная, как женщина, волна.

И снова выстрел. И облизы соли,
В туманах выбарахтывалось солнце,
От сна у чаек непрочищен крик;

Морское утро. Ветер быстрый, шустрый
И весь шершавый от наросших устриц,
Слегка повизгивал брюхатый бриг.

2

Слегка повизгивал брюхатый бриг
На мокром и мозолистом канате,
Где эдакой пузатый тузик катит.

Его команда: шкипер Кляус Криг,
Норвельде, Гюг, да Нильсен, да Геннатти,
Да кок, да юнга, да собака. Хватит.

Бриг звался «Богородица морей»
И шел из Анатолии на Брюгге.
Сам шкипер задыхался и морел
(Он жестами изображает ругань).

Его не слушали, а только Гюга,
Который боцман всей этой муре,
Кто янтарем переобшарен в море
И помнил уйму всяческих историй.

3

Он помнил много всяческих историй,
Раздутый будто потопленный труп;
И когда волны усмехались, вздоря,
Оскалом пены меж зеленых губ,

Он, тоже ухмыляя, гладил хворост
Зеленой бороды и слушал хлюп,
Голландкой треплясь, измеряя скорость,
Из трубки с кэпстеном ревя на сбор: «Есть!».

А Нильсен. Тот с ножом не растается,
Носил на горле бороду, как боцман
(Да только жиже); вечно тон и шик.

Он был фуфыр и завирался зверски;
Не то, что дедушка: в кожаной «вэстке»
Геннатти снова плыл на материк.

4

Он сотни раз ходил на материк,
Сбивая рымы и таща на нос цепь,
Еще как отбывал на броненосце.

Вон, где секли. Четырехтрубный «Росций»...
Команда—зубы, вся из матерых
И гордо, на ехидные вопросцы,
Он обнажал, пуская в мать их
Двухвосткою освищенные кости.

Ну, дальше—юнга для того, кто порет,
Да повар, точно камбала, косой,
Да песик нацией пудель. Все.

На Брюгге бриг. Штурвалье колесо,
Буссоль, бушприт по румбу на дозоре—
И оплывали в океане зори.

5

И оплывали в океане зори,
Распыханные вздувами. Вокруг
Зеленое беременное море
Метало с шумом белую икру.

И небо каркало, от галок рябо,
И боком шел распахнутый корабль.

За ним, пузыря радужную слизь
Босого пуза, лысая акула
Оттаивала, меркла и тонула
И пежины глазастые неслись.

И вдруг, зазевом распахнувши пасть,
В когтистых крыльях вылетев из моря,
С секунду жадно вслушается в снасть,
Где ветер задыхался в переборе.

6

А ветер задыхался в переборе,
Луна плясала; тошный горизонт
За ней карабкался, да не резон:
Он падал вниз, как в Амстердаме шторы.

Нет, надо зарифлять—уж будет шторм,
На то похоже. Мачты силпый стон
Обидчиво-простуженный. В измор ей
От заревища задувало море.

Мясистое, багровое, как язык,
Под алым воспаленным нёбом неба
Оно слюной облизывало бриг,
Как будто бы чудовищная небыль
В кровавый зев поймала этот крах,
Что плыл на мускулистых парусах.

7

Он плыл на мускулистых парусах
В три этажа от марселя на бомсель
И делал 22 узла, в усах,
Кака сом, от пены, ожирявшей пах.

И начали маячить незнакомцы;
Коммерческие, будто бы, суда,
Но без имен и флагов государств,
Да и без груза, точно их не в том цель,

Они плыли над облаками бухт,
Они от ватерлинии до палуб
Лучились в нежно-голубом опале...

Где ж вахтенные? Сурла. Ловят мух.
Ведь бриг и так почти что из развалин,
Заклепан, засмолен и пересален.

8

Заклепан, засмолен и весь обсален,
Он рассосался язвою по дну
И, закартавя в бульбах, стал тонуть.

Матросы растерялись. Кто на салинг,
Кто в трюм, кто борги в лязге затянул,
Запутывая юферсы и тали.

Но был один. Норвельде. Под воды вой
С луной лизнулся топора закал,—
И хрясь рука, обрубленная криво!..

Он плотно ткнул ее в рассос обшивы,
И вынес ветер узел языка:
—«Оставить только брамсели и кливер,
А марс на риф!». Бриг падал в стуке фляг,
Охлопывая свой голландский флаг.

9

Охлопывая свой голландский флаг,
Судно удило якорями волны,
И так остро раскраивался мрак
Багровою серебряю нервных молний,
Карикатурирующих лица угольник,
Что спрутом электрическим маяк,
Обшаривавший лапами раздолье,
Чернел как уголь, обломив края.

Раскрыв свои ракушки плавники,
Навращиваясь бешеной спиралью,
Одна акула всюду, где ни кинь.

Да рано еще: норд в 10-м балле.
Хотя постой-ка—перетерся—кинт—
Когда же ветры снасти обкусали...

10

Когда же ветры снасти обкусали
И, заливаясь, гнали в берега—
Чорта ль тут штормовые паруса ли,
Нарезывающие ураган.

Но черной кровью хлещет капитан
И матросни опуганной кромса лиц
Под этот страшный одногорбый палец
Запеленала мачты в топенант.

Ух, была ж ночь. Ну, прямо апокалипс—
И вещи, вдруг ожившие: голландк
Пусторукавный пляс по койкам. Бланк
Всей корабельной книгой в якоря лип,
И джига гаек, и жестяный бак,
И бриг несло между лохматых далей.

11

И бриг несло. Между лохматых далей.
И вдруг из моря, встреплясь и оскалась,
Пузырноглазый вымахнул бурун.

Он закачался, пообдумал (мышь
Успела шлепотом мигнуть под румб)—
И шлепнул груз своих медузных мышц.

Оплеванные пеною бугры,
Напльвом перекатывая студень,
Отхлопывали клепки на посуде,
Катали бочки, фляги и багры,
Прудили мыло адмиральских бак,
И трюмы протоплазмой напускали.
Корабль кокнул свой пузатый ялик
И шел ко дну. Уж захлебнулся бак.

12

Он стал тонуть. Уж захлебнулся бак.
Спустили плот, анкорчик и табак.

Два загребных табанили в воде,
А на борту невзятый ими дед
Кричал:—«Смотри там, конопать пазы».
А месяц был как плавальный пузырь.

Норвельде помнил карту. Нет, едва ли
Тут где-нибудь поблизости земля.
И он нырнул... Ну, что ж, прощай, земляк!
Акулье брюхо—склеп не хуже Галлий.

Матросы ж карты вовсе не знавали,
А кто и знал, тот, дудки, не дурак,
Мало ли что, вдруг чудо, в роде так,
Что богородица из водовалья.

13

Но богородицей из водовалья
Иль попросту их зунды выдували,
Но только—верьте иль не верьте—мель:
Гнездо и камень, плюшевая ель.

Вот здорово. Уж не молиться ль ей,
Как идолу какому-нибудь? Галек
И ракушек и всякой прочей швали
По бережку нет-нет на 30 лье.

И матросà и юнга, кок и пудель,
Лая от жизни, айда в кабачок—
Там джинджер и с капустою бычок,
Там граммофон желудит «Янки-Дудль»...

А бриг лежал. В пробоях—небо. Наг.
Его снесло на вытихших волнах.

14

Его снесло на слизистых волнах,
Гвоздьявый бриг. Он палубой зарылся;
Зеленой бородой проросся кильсон
И в ребрах нити золотого льна.

Но он был застрахован, и во льдах
Теперь зимует—шхуна «Лэди Вильсон»
В курильнях Иеддо дебоширит Нильсен,
Пропивши бодмерей хозяйских яхт.

А там, в Голландьи, север голубой
И домики, как чепчики бегинок.
Надев сабо, с накрытою корзиной
Плетется фру Норвельде на прибой
И долго смотрит, серая от горя,
Морское утро, масляное море.

15

Ма г и с т р а л ь

Морское утро. Масляное море.
Слегка повизгивал брюхатый бриг;
Он помнил много выцветших историй,
Он сотни раз ходил на материк.

И оплывали в океане зори
И ветер задыхался в переборе.

Он плыл на мускулистых парусах,
Заклепан, просмолен и пересален,
Охлопывая свой голландский флаг.

Когда же ветры снасти ободрали—
И бриг несло между лохматых далей,
Он стал тонуть. Уж захлебнулся бак,

Но глупым случаем из водовалья
Его снесло на вытихших волнах.

В г р о з у

Повесть

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

(Окончание¹)

9

Врач городской больницы Шварцман,—человек пожилой, седобородый, склонный к полноте,—которого Ольга Михайловна умолила подняться с ней на гору, имел мягкий голос человека, которого нехстати беспокоили, но который воспитан, вежлив и извиняет. Говорил он неторопливо. Черные глаза, с тусклым блеском, долго глядели в лихорадочно блестящие белые глаза девочки. Ставни отворили, и от света она часто мигала.

— Как ее зовут?.. Кажется, Маруся?.. Ты меня узнаешь, Маруся? Мушка молчала.

— Маруся!.. Ну, ответь же!.. Ты, ведь, знаешь, это — доктор...— зашепила Ольга Михайловна.

Мушка досадливо и брезгливо, но утвердительно мигнула ресницами.

Шварцман взял ее руку, вынул часы, потом озабоченно качнул головой.

— Сто двадцать? — спросил Максим Николаич.

— Нет, все сто сорок! — Живот болит, Маруся?

— Нет, — сказала вдруг Маруся.

— Горло?

— Нет.

— Что же болит? Голова?

— Да.

— А ноги болят?

— Да.

— Как болят? Сводит их?

— Да,—совсем слабо ответила Мушка.

¹) См. «Новый Мир» № 9 с. г.

Но Ольге Михайловне страшным показалось это «сводит», как при холере.

— Маруся, — вмешалась она: — ты же, ведь, говорила мне, что ломит, а не сводит... Скажи: ломит ноги?

Мушка молчала. И сколько ни спрашивали ее потом, она глядела своим новым взрослым и снисходительным взглядом и молчала.

— Большие подозрения на холеру, — сказал спокойно Шварцман, выходя на террасу.

Ольга Михайловна всплеснула руками, но Максим Николаич решительно не согласился:

— При сорока одном холера? Не может быть!

— Температура от ангины, конечно, но вот неисправный желудок, рвота...

— Разве было? — спросил Максим Николаич, холодея.

— Было!.. Да, было утром, когда вы встречали своего гостя!.. И когда вы говорили тут о всякой чепухе!.. — Лицо Ольги Михайловны стало страшным. — Она пила воду вчера из какого-то колодца с Шурой!.. Она мне сказала!

— А что же вы не сказали мне?

— Когда же мне было вам сказать?

— Тут есть холерный барак, — напомнил Шварцман. — Может быть, направим ее туда?

— Как? — испугалась Ольга Михайловна. — Боже избави! Что вы!.. Там-то уж, наверно, заразится!

— Тогда дайте клочок бумаги для рецепта... У вас, секретаря суда, наверно, найдется клочок.

Над рецептом он думал вслух, спрашивая, что прописать.

— Можно спирта для растирания, только это дорого: четырнадцать миллионов бутылка... Каломель... Так выписать спирт или нет?

— Непременно! Непременно!

Ольге Михайловне показалось, что она выкрикнула это, но ее было едва слышно, и сама она была вся без кровинки, как Мушка.

— Сейчас денег нет в доме... но аптекарь нам поверит, я думаю... Мы, конечно, уплатим, — сказал Максим Николаич.

Облизывая толстые губы, Шварцман писал, а Максим Николаич говорил тоскливо:

— Может быть, ночью коллапс будет... Вооружите нас чем можно... Камфарою, что ли...

— Камфару? — бесстрастно отозвался Шварцман. — Стоит три миллиона... Посмотрел потом на него, на Ольгу Михайловну, не вспомнят ли еще каких нужных лекарств.

И Ольга Михайловна вспомнила:

— Вина!

— Хорошо... Портвейну, — согласился Шварцман и написал на подсунутом ему новом клочке.

— А ванны? — вспомнил Максим Николаич.

— Да, сделайте,—мягко согласился Шварцман.

— Но, ведь, у нас нет ванны, Ольга Михайловна!

— Можно в корыте...

— И бутылки к ногам,—припомнил Шварцман...—И, может быть, жаропонижающее еще—аспирину?

И прописал аспирин.

Обведя круглыми изумленными глазами и доктора, и Максима Николаича, сказала Ольга Михайловна:

— Утром совсем здоровая была... Играла с Толкушкой... Хотела сама доить Женьку... Чапку кормила... Вы, ведь, видели, Максим Николаич?

— Да, утром еще... Чапку... да - да...

И отвернулся Максим Николаич.

Шварцмана он проводил до ворот.

Он хотел говорить с ним о новом, и таком огромном,—о болезни Мушки, а он все говорил о старом и далеком—о болезни России; о какой-то нелепой Гаагской конференции, о какой-то перемене в составе народных комиссаров и о подобном, все из газет.

Только прощаясь, он удосужился сказать, что завтра будет свободен в восемь утра и, в случае, если надо будет, может зайти.

Когда Ольга Михайловна вслед за Шварцманом ушла в аптеку, Максим Николаич тихо прошел в комнату больной, сел у ее изголовья, дотронулся до ее огненной головы рукой.

— Ах, Мушка, Мушка!

Это ему представлялось ясно: напали на маленькую Мушку миллиарды — подлинные миллиарды! — мельчайших, невидимых глазом, множились мгновенно, вонзались всюду в тело, грызли яростно, и убить их нельзя, ничем нельзя... Никак нельзя помочь бедной Мушке бороться с ними!.. А что она изо всех сил боролась, это видно было.

Она металась. Она поминутно поворачивалась, падая то на спину, то на бок, то на живот. Она поминутно пила, сама цепко хватая со стула стакан с водой... Может быть, ей казалось, как это кажется в ночных кошмарах, что за нею гонятся страшные, и она бежала быстро - быстро, как люди бегают только на экране кино-театра или во сне.

Но она бредила:

— Крадут! Крадут!.. Сторож сидит, а они крадут!..

— Что крадут?—спросил Максим Николаич!

— Вино,—ответила она тише.

И, видя, что она понимает, он спросил:

— Мушка, тебе больно?

— Болит!

— Где болит?

— Вот!

Она только показала куда-то на грудь, шевельнув рукою, но в это время перевернулась снова как-то мгновенно, невесомо, бескостно..

— Ах, Мушка, Мушка!.. Зачем же ты пила сырую воду? Если бы ты не знала, но, ведь, ты же знала, что нельзя!.. Эх!..

Она притихла, но вдруг снова взметнулась за стаканом,—стакан был пуст.

— Воды!

— Воды тебе?.. Сейчас... Я сейчас!..

Про компрессы он вспомнил. Намочил полотенце, приложил,—но отдернул руку: страшно стало, как же она выносит это!

А она, жадно напившись и переметнувшись снова, заговорила отчетливо:

— Крадут! Крадут!.. Ведь, там же сидит он, а они... как же они крадут?

— Кто сидит?

— Он... Сторож...

Трудно стало дышать Максиму Николаичу.

— Сторож-то сидит,—сказал он с усилием.—Вот он, сидит твой сторож, а они крадут тебя... мельчайшие!.. Ах, Мушка, Мушка!..

Уже стало темнеть, когда пришла Ольга Михайловна.

— Ну, что? Как?—с большой тревогой, едва отворив дверь.

— Бредила... Теперь забылась.. Пила воду... Я клал компрессы...

— Ну, слава богу!

Когда выкладывала на стол пузырьки и пакетики, руки у нее дрожали, пузырьки не хотели стоять и валились.

— Спирта я не взяла... и вина тоже... Можно взять у Дудки,— он в подвале работает... им вином платят и спиртом... Недалеко от Дарьи живет... А мы молоком ему уплатим... Задолжала в аптеку семь миллионов.

Она ушла тут же, а он начал рассматривать пузырьки и пакеты, но камфары,—того, что он припомнил, — не было.

Он вышел на террасу прямо против заката; закат был огненный. Ряд кипарисов внизу, на даче Ашкинази, врезался в него снизу, как черные зубы. Две вороны, ныряя, летели куда-то спеша и каркали как-то очень странно...

От Дудки Ольга Михайловна пришла возбужденная удачей: она достала полбутылки портвейна и пузырек спирта. Она спросила бодро и деловито:

— А где же Женька?

Он ответил:

— Поищу пойду.

И пошел как был, без шляпы, спотыкаясь о корни и камни, разглядывая изгибы балок кругом, покрикивая изредка, как Мушка:

— Женя, Женя, Женя!.. На, на, на!

Скоро послышался отзывный рев: Женька уже подымалась по невысокому, некрутому откосу, но нужно было еще об'есть три куста

желтого донника, куст мышиного горошку, очень пышный и очень пышную ветку грабового куста... И когда она сделала все это, она успокоенно ткнула в локоть Максима Николаича мягкой мордой, метнула дружелюбно хвостом так, чтобы попасть ему легонько в живот, и пошла к дому, грузная, перереываясь с отставшей Толкушкой.

— Сделаем так,—сказал Максим Николаич, когда затворили уж двери на ночь и зажгли лампочку. — Будем беречь силы... Вы все равно не заснете, так что я лягу, а вы посидите... А когда захотите спать, позовите меня.

Лег, но долго не мог заснуть... Все прислушивался к тому, что там, в комнате Мушки. Раз долетело сквозь отворенные двери, что Ольга Михайловна о чем-то говорит с Мушкой. Это успокоило немного. Пригрезился покойный отец, судебный следователь, в форменной фуражке и волчьей шубе: уезжал на следствие в уезд, и у крыльца стояла ямская тройка, вся в бубенцах и медных бляхах. Устраиваясь в сани поудобнее, отец улыбался ему и говорил:—Хочешь подвезу?— Ямщик в армяке, поверх нагольного тулупа и в капелюхах, а когда повернул к нему лицо, оказалось, что это—хитроокий Бородаев... Удивленный, он лезет к отцу в сани и шепчет:—Не езди с ним! Слезь!.. Он тебя завезет!

Проснулся от страшного крика:

— Максим Николаич!.. Максим Николаич!.. Скорее! Скорее!..
Максим Николаич!

Подбросило криком, как взрывом.

В одном белье бросился он в комнату Мушки... Там Ольга Михайловна, все продолжая кричать:— Скорее! Скорее! Скорее! — держала тонкое белое тело Мушки, а тело это слабо извивалось от судороги, похожей на конвульсии умирающих.

— Спирт! Спирт! Спирт!—кричала Ольга Михайловна.

Глаза ее и Мушки были одинаково страшные.

— Где же спирт? Сейчас!.. Не волнуйтесь! Где?

— В столовой! В углу! В столовой!.. Скорей! Скорей!

В полутемной столовой, весь дрожа от волнения, Максим Николаич опрокинул флакон со спиртом,—осталось на донышке.

— Вот! Вот он спирт!—совал он флакон Ольге Михайловне, а она кричала:

— Трите! Не могу же я! Трите руки, ноги! Трите!

— Положите ее!

— Я боюсь! Она убьется о стену! Трите! Ради бога! Скорей! Трите же! Ради бога!

Максим Николаич вылил немного спирта на ладонь, тер вялую Мушкину ногу, думал горячечно:— «Зачем? Зачем это? Не надо!»... А Ольга Михайловна кричала:

— Скорее! Скорее! Скорей!

Положили Мушку. Терла сама Ольга Михайловна. Тело лежало уже покорно и неподвижно, а она все терла, пока не кончился спирт.

Потом:

— Бутылок горячих! Бутылок! — вспомнила она. — Самовар! Ставьте самовар!

Максим Николаич выскочил на террасу. Шел слабый свет от звезд. Одна большая звезда, как бы она на земле ни называлась, все равно, протянула по всему морю от берега до горизонта сияющий столб... И все время, пока Максим Николаич наливал в самовар воду и колол щепки,—смертельно болело сердце, дрожали руки, и уж зажженная и ярко и страшно пылавшая в дымной ночи лучина долго не хотела попасть в самовар.

— Поставили?—показалась Ольга Михайловна.—Ах, как темно! За доктором надо!..

— Он сказал: не раньше восьми.

— За другим... За Мочаловым...

— Человек семейный... Будить ночью... Такое время теперь,—еще за грабителя сочтет...

— Понимаете,—до двенадцати спала... Каломель проглотила в девять,—ничего... Вдруг, ровно почти в двенадцать проснулась, стонет... Я к ней с лампой, а у ней по всему лицу пятна! По всему лицу бегают темные пятна!.. Глаза скосились!.. Я: что ты, Марусечка?.. Беру ее на руки, и вдруг.. суд...судороги. А-а-а...

— Ну, что же плакать! Конечно, судороги, если холера... Успокойтесь же, что вы!.. Это—«наша холера», конечно, не азиатская... наша, домашняя,—cholera postra... От такой не умирают.

— Ах, хотя бы скорей светало!.. Да подбавьте вы щепок: потухнет так!

И до самого света все доливался маленький самовар, кололись щепки, наливались бутылки.

10

На дачу доктора Мочалова Максим Николаич пришел в четыре часа. Рассвело уже, хотя солнце еще не встало. Блеяла коза внутри дома. На перилах крыльца стояли синие кастрюли, и корявая тряпка висела на гвоздике. Максим Николаич стучал тихо. Подождал с минуту,—еще постучал погромче. Неловко было беспокоить так рано, и все казалось, что незачем.

Отперла жена Мочалова, стриженная под машинку, извинилась, что не одета, сказала, что муж сейчас.

Вышла посмотреть, только - что поднявшись с постельки, маленькая, совсем голенькая, синеглазая девочка лет двух, и улыбалась, глядя на него и держа пальчик во рту.

— Ах, купидончик какой!—сказал грустно Максим Николаич.

А мать из глубины комнат кричала:

— Нюня, ты куда это вышла?—и добавляла, приоткрыв дверь:— Она у нас очень общительная!

— Теперь это большой недостаток—общительность: то тиф, то холера...—отозвался угрюмо Максим Николаич:—Не могу я тебя, купидончик, и по головке погладить: неизвестно, что у нашей девочки.

И Мочалов сказал на это, входя:

— Да что вы это?.. Неужели так серьезно?

Не узнал его Максим Николаич. Не так давно видел,—был это рыжебородый, московско-купеческого склада коренастый человек,—теперь что-то бритое,—не то актер, не то англичанин... И голова выбрита, точно вдруг облысел.

— Да вы ли это?—усомнился почти Максим Николаич.

— Нельзя иначе,—объяснил Мочалов.—Казенный костюм надел, надо, чтобы и обличье было казенное... Я теперь на службе, по борьбе с холерой.

И потербил себя за рукав блузы из казенного хаки.

Умываясь тут же на крыльце, спросил:

— Девочка? Температурит? Давно?

Когда услышал, что сорок один, сразу решил, что возвратный тиф.

— Ressurens... Ходит, ходит.

И успокоил:

— Ничего... Смертные случаи редки.

— А не холера?

— Какая же холера при сорока одном?—даже усмехнулся Мочалов.

— Значит, холера совершенно исключается?

— Реши-тельно!—своим словом подтвердил Мочалов и рассказал тут же свежую новость:—Слыхали?—Константинополь взят греками!

— В газетах я не встречал.

— Еще бы будет!.. Взяли самым форменным... Три дня назад... Вчера судно оттуда прибыло в Ялту.

И вытираясь полотенцем, и надевая панаму, и спускаясь с крыльца, Мочалов отрывисто и радостно говорил, как — по совершенно достоверным слухам—был взят Константинополь, а Максим Николаич думал о своем: «Не холера, а возвратный... Это вернее... Но тогда зачем же мы бутылки и растиранья?.. Бутылки и растиранья,—это при холере, а при возвратном тифе должно быть что-нибудь другое... Мы с Ольгой Михайловной не знаем, а вот этот, насквозь бритый, знает и нам расскажет»...

И, заранее благодарный ему, он соглашался, что греки—молодцы, и что это чудесно, что взят Константинополь.

— Хотя мне давно уж казалось, что он, в сущности, и не турецкий, а porto franco... так что я не совсем понимаю, у кого же именно он взят.

Но Мочалов рассказывал уже другую свежую новость: с Америкой будто бы покончено,—Америка порвала с Россией всякие сношения и больше кормить не будет; все цейхгаузы ее свертываются и вывозятся; столовые закрываются.

— Переходите, говорят, товарищи, на свои харчи: довольно с вас!

Не успел еще Максим Николаич спросить, откуда эта вторая новость, как Мочалов сообщал уже третью:

— А знаете, — вчера утром, — вот в это время, проходил мимо берега контр-миноносец или легкий крейсер, четырехтрубный... Ясно видели на борту «№ 287».

— Чей же это?

— Неизвестно!.. Флага не рассмотрели.

И таинственно смотрел на него Мочалов зелеными глазами.

— Зачем же приходило?

— Опять же неизвестно.

Но смотрел на него весело.

— Что-то много у вас новостей,—качнул в сторону головой Максим Николаич, и добавил нерешительно и понизив голос:

— А не менингит ли у Маруси, а?

— Откуда же?—удивился Мочалов.—Ведь, эпидемии менингита нет.

Когда подошли к дачке Ольги Михайловны, солнце уже показалось из-за моря. Было оно насыщено, красное и страшное почему-то.

Только теперь, придя с Мочаловым, заметил Максим Николаич, как сдала в лице за одну ночь такая привычная Мушкина мама: она и не она. И растерянность появилась какая-то робкая, детская, и в глаза этому новому доктору она заглядывала просительно, как ученица, как нищая, и, нарочно оберегавшая Мушку от света, при первых словах Мочалова:—Что ж так темно?—сама бросилась отворять ставни.

Мочалов взял тонкую белую Мушкину руку, выпятил губы и смотрел пристально ей в лицо. Она глядела на него безучастно... Глаза ее показались еще прозрачней.

— Маруся!—сказала Ольга Михайловна.—Ты узнаешь, кто это, а?.. Скажи, дорогая!

— Маруся! Ты, ведь, знаешь, кто я?—спросил негромко Мочалов.—Я, правда, недавно обрился... Не можешь говорить, сделай знак какой-нибудь.

— Мигни глазами,—подказала Ольга Михайловна.

Мушка досадливо мигнула.

— Дда-а!—многозначительно посмотрел на Максима Николаича Мочалов.—Вы говорили, что горло болит... Как бы посмотреть?

Но рта разжать не могли. Посмотрел и пощупал шею и сказал вопросительно:

— Скарлатина?

— А разве может быть во второй раз скарлатина?—спросила Ольга Михайловна.—У нее уж была скарлатина, когда я еще в Москве на курсах... Ей пять лет тогда было... Правда, случай легкий, но определили, как скарлатину.

— Ах, была уж!.. Тогда... мм... не знаю... Затрудняюсь определить.

— Вчера бьм доктор Шварцман, определил, как холеру,—вмешался Максим Николаич.

— Ну, какая же холера!—махнул в его сторону рукой Мочалов.—Какая-то комбинация... Диагноза на себя не беру... Надо послать за Шварцманом... Он ее видел вчера, а я уж что же... Я уж к шапкам пришел.

— Вы думаете так плохо?

Максим Николаич дотронулся до его локтя, и они вышли из комнаты на террасу.

— Пульс очень слаб,—тихо сказал Мочалов. — Очень тяжелый случай.

— Вы думаете, все-таки, заразилась?

— Инфекция! Несомненно!.. Здоровенная!.. У меня был подобный больной на-днях, мальчик лет тоже двенадцати,—крепкий такой малыш... И вот,—те же самые признаки... Горло и слабый пульс... Определил я как скарлатину, но просто уж так: вижу, что не жилец...

— Умер?

— На другой же день.

— Так вы думаете... и... и... Мушка наша... тоже?—едва проговорил, просто вытолкнул из себя эти слова, чувствуя, что начинает дрожать.

— Безнадежна,—сказал Мочалов, закуривая папиросу.—Вам это говорю... матери бы не решился...

Максим Николаич долго смотрел, пораженный, на огонь его папиросы, на крупные руки, на сизые щеки с лапками около помятых глаз,—сказал он это страшное слово, или ему почудилось?

Мочалов непроницаемо курил, затягиваясь и скашивая глаза к носу.

— Да неужели же умрет Мушка? — с усилием переспросил Максим Николаич, точно во сне.

— По-моему безнадежна!—тем же словом, но как будто не то же самое, как будто «умрет», но как будто и не умрет, не «совсем умрет», не «окончательно умрет»,—сказал Мочалов и добавил:—Надо послать за Шварцманом.

— Кого же послать? Послать некого... Я сейчас сам.

Он взял-было шляпу, чтобы итти, как к самой террасе неслышно подошла босыми ногами Шура; увидев Мочалова, она робко остановилась.

— Ты к Мушке, Шура?—спросил Максим Николаич. — Мушка очень больна.

Шура испуганно и безмолвно сложила перед собою руки. Вышла Ольга Михайловна и сказала укоризненно:

— Ты ее из колодца водой напоила!

— Ведь из этого колодца и мы пьем, и многие пьют,—почти прошептала Шура.

— Вот потому-то, что многие... Шура, сходи ты за доктором Шварцманом... Очень плохо Марусе!

— Сейчас!—и бросилась бегом Шура.

Спустя минуту, сказал Мочалов:

— Можно бы пока камфару попробовать... Есть камфара?

— Вот!.. Вот именно!.. Я вчера, ведь, говорил Шварцману!.. Ольга Михайловна!—заспешил Максим Николаич. — Вы вчера не принесли камфару!

— А разве была прописана камфара?

Она помертвела от испуга: еще нужно было что-то сделать для Мушки—ясно, что самое важное—и она не сделала.

И в ридикюле, шаря там дрожащими пальцами она долго искала клочок с прописанной камфарой, но клочка этого не было... И на столе не было.

— Значит, Шварцман забыл прописать!.. Бегите за Шурой! Максим Николаич! Ради бога!.. Пусть она возьмет в аптеке!

— Пока дайте ей портвейну!.. Я сейчас!—бросился с террасы за Шурой Максим Николаич; но Мочалов остановил:

— Раз есть вино,—камфары не надо... Дайте ей портвейну: все равно.

Услышав уже «безнадежна», Максим Николаич понял и это «все равно» и с режущей болью в сердце слушал, как из комнаты Мушки доносился голос Ольги Михайловны:

— Выпей, разожми зубки!.. Дорогая Марусечка, выпей!.. Ты узнаешь свою маму?.. Выпей—это вино!.. Дорогая моя доченька, выпей! Марусечка, выпей!..

Настойчиво мычала Женька, очень удивленная тем, что ее не выводят пастись и не доят, хотя сами уже встали, ходят и говорят. Широкогрудая, она ревела, как лев, все нетерпеливее и изумленнее, и Максим Николаич схватил доенку и пошел к ней.

Было заведено так, чтобы каждый из них троих мог при случае выдоить Женьку,—мог и Максим Николаич, однако доил он теперь ненужно долго. Перестало уж капать молоко из доек, а он все медлил выходить из коровника, где было прежнее бездумное, простое, туда, где теперь новое, имеющее страшное имя: безнадежна.

И, сидя за доенкой, он слышал, как Ольга Михайловна подробно рассказывала Мочалову про Мушку,—как она пила ледяную воду из глубокого колодца, и как потом купалась в море, недалеко от устья речки.

— По этой речке мало ли что плывет в море?.. Может быть, ныряла, хлебнула нечаянно воды с микробами...

А Мочалов отзывался равнодушно:

— Конечно, все может быть.

И, убрав, наконец, молоко, Максим Николаич выгнал Женюку пасть и, неизвестно почему, вдруг все, что он увидел со своей горки: и море внизу в блестящих и переливах, и легкие лиловые горы, и приземистый дубнячок около,—все показалось так ошеломляюще прекрасным, что тут же подумал он:

«Как же Мушка?.. Вот уже не видит ничего этого Мушка! И не увидит больше... Неужели же не увидит?.. Что же это такое? Зачем?..

И разве можно было на это даже самому себе ответить: «Так себе... Низачем... Просто так... Без причины, без цели... Безо всякого смысла»...

11

И вновь Шварцман.

Он появился из-за горки в полосатой рубашке, забранной в серые брюки, грузно идя за семенившей Шурой, и Максим Николаич встретил его.

— Ну, что?— спросил, отдуваясь, Шварцман, кстати снимая каскетку и вытирая пот с лысого лба платком. — Как наша больная?

— Наша больная?.. Плохо наша больная!.. Камфару надо было!— поглядел на него исподлобья Максим Николаич.

— Эх! Что же не передали с девочкой?

Шварцман прицокнул языком, сделал горькое бабье лицо и ударил себя по ляжке.

— Да Мочалов решил, что... «Уж все равно, говорит, — безнадежна!»...

— Ка-ак так?

Шварцман даже остановился, видимо, думая, итти ему дальше, или уже не стоит, и медленно пошел к даче.

Опять у постели Мушки стали теперь уже четверо: двое своих, двое чужих, и из четырех одна — самая близкая, ближе не бывает на земле. Но больная глядела на всех одинаковым неразличающим взглядом.

— Маруся! — говорила Ольга Михайловна. — Ты слышишь?

— Маруся!—повторял Шварцман. — Ты меня узнаешь?

— Мушка!.. Что же это ты, Мушка? — горестно спрашивал Максим Николаич и махал, отворачиваясь, рукой.

Слушали сердце. Искали пульс... Потом вышли на террасу.

Чтобы убедить в том, что у ее девочки не холера, Ольга Михайловна подробно рассказывала, как она давала слабительные, и как они все не действовали, и только каломель... и то очень поздно, часов около двенадцати ночи.

— Ну, делайте, что вам сказали... Вам, ведь, сказали что-нибудь, что нужно делать?

— Ин'екции? Да. Вот я принесла одну ампулу камфары и шприц.

— Ольга Михайловна! — крикнул обрадованный Максим Николаич. — Есть! Есть камфара!.. Сейчас сделают ин'екцию!

Он заметил, как странно оживилась Ольга Михайловна, увидев женщину, союзницу, — женщину, знающую, что такое свой ребенок, — женщину, которая не скажет жестоко: «безнадежна» и не уйдет молчаливо!.. Вот уже есть у нее чудотворная камфара и шприц!

И сиделка сказала ей точно и положительно:

— Нужно сделать одну ин'екцию, а через полчаса вторую. У меня одна только ампула, но девочка успеет принести за это время из аптеки... Если и запоздает немного, ничего: будем почаще давать вино... Сделаем пока горячую ванну... Разве не бывает случаев, что врачи скажут: «безнадежно», а больные поправляются им на зло?

Впрыснули камфару в левую руку Мушки, и сиделка сказала твердо:

— Ну, вот, — отлично! Теперь — ванну.

Нашли большое жестяное корыто для мойки белья и большой ведерный самовар, позеленевший, валявшийся в сарае с заклепанным краном.

Черноволосая, с очень нервным, пружинным, долгоносим лицом, необычайно древнего склада, как на египетских, на ассирийских барельефах, сиделка сама колола лучину и яростно раздувала огонь в самоварной трубе.

— Скорее! Ради бога, скорее! — просила Ольга Михайловна.

А между тем, с гор поднялись тучи и заслонили солнце.

Тучи были суровые, низкие.

Блеснула первая молния, и гром зарокотал мощно, но пока издали.

— Скорее! Скорей!..

Почему-то почти неодолимой тяжести показалось Максиму Николаичу первое ведро теплой воды, которое он нес в корыто.

Потом ее сняли с койки, маленькую холодеющую Мушку: подмышки держала Ольга Михайловна, за ноги — Максим Николаич. Она извивалась всем тонким телом и глядела с явною болью... И когда положили ее, накрыв простыней, и сиделка принесла новое ведро теплой воды, и кружками начали поливать эти голые руки и поднятые в коленях ноги, какой ужас появился в Мушкиных глазах!

Она открывала рот, показывая два круглых передних резца, крышечкой набегавшие один на другой, но это был тот же ужас, и шире становились белые глаза, и шевелились губы, чтобы сказать что-то...

Жестяные кружки раз за разом звякали о ведро, прѳворно набирая воду, и вода, почти горячая, лилась на руки и ноги Мушки, когда она крикнула вдруг:

— Мама! Не надо!

— Дорогая моя, надо!.. Марусечка, потерпи, надо!

Ольга Михайловна переглянулась с сиделкой, и Максим Николаич понял, что значил этот взгляд, почти радостный: она не говорила с самой ночи, а теперь—вы слышали? вы, ведь, слышали?—вот уж она говорит! Говорит!

Однако какие страшные усилия собрала бедная Мушка, чтобы сказать три маленьких слова!.. Вот она совершенно закрыла глаза... откинула голову...

— Ну, довольно!.. И воды больше нет: весь самовар, — сказала сиделка.

Хлюпая по лужам на полу, взяли-было Мушку, как прежде: подмышки Ольга Михайловна, за ноги Максим Николаич, и вдруг страшные судороги, и подскочившая сиделка едва удержала скользкое тело, готовое вырваться из рук...

И вновь на кровати, поспешно обтертая сухим полотенцем, Мушка потянулась вдруг вся,—страшно исказилось лицо, как у бесноватой, трубкой вытянулись вперед губы,—а через момент тело легло ровно и спокойно, даже вновь открылись глаза, только правый, как прежде—с сожалением и кругло, а левый—прищуро и почти презрительно.

— Что это? Паралич?—испуганно прошептал Максим Николаич.

Сиделка молчала, соображая, как ответить, но Ольга Михайловна не растерялась:

— Вина! Где вино?.. И бутылки!.. Ради бога, еще самовар! Скорее! Скорее!

Мрачно сделалось в комнате от тучи... Но вдруг молния впрыгнула всем в глаза, так что зажмурились, и следом за нею такой страшный удар грома, что будто вздрогнул и закачался дом... И вбежавшая в этот момент с мешком на плечах Шура сказала:

— Боже мой!—и перекрестилась.

— Камфара?—спросила ее сиделка.

— Все есть! — тихо ответила Шура. — Я так бежала!.. Сейчас ливень будет...

Но сиделка радостно крикнула Ольге Михайловне, выгружая мешок:

— Есть камфара!.. И кофеи!..

Были еще две больших бутылки для вливания, и о них спросила Ольга Михайловна:

— А это что?

— Это?.. А-а!.. Это не важно теперь... Это, должно быть, для дезинфекции.

И она проворно отбила горлышко ампулы, набрала шприц.

Накрывшись с головой тем же самым мешком, в каком принесла лекарства, Шура побежала искать Женьку и Толку, Максим Николаич колот лучину, вновь разводя самовар, когда первые крупные капли

дождя застучали по крыше, как град. Опять совсем близко где-то упала яркая молния и тарахнул гром.

Максим Николаич очень ясно представил, как Мушка, голая, мечется, как всегда она металась в начале дождя: прочищала лопатой канавки, чтобы не залило погреб, поправляла водосточные трубы и желоба... Какая радость был для нее дождь летом!..

И вдруг он услышал такой же, как ночью, отчаянный крик Ольги Михайловны:

— Максим Николаич!.. Максим Николаич!.. Максим Николаич!.. Скорее!..

Он кинулся в комнаты, и первое, что увидел, было древнее египетское лицо сиделки, все из одних скорбных линий, и руки, как ненужные теперь, свободно опущенные вниз.

— Максим Николаич!.. Отходит!.. Отходит!..

Ольга Михайловна сидела около кровати и чайной ложечкой закрывала, пыталась закрыть, белые на желтом личике Мушкины глаза. Лицо у нее было такое же, как у Мушки, мертвое,—только глядело.

Максим Николаич покачнулся-было,—так дернулось сердце,—но тут же стал у изголовья, положил левую руку на холодный уже Мушкин лобик, перекрестился, сказал тихо:

— Что же делать?.. Искали все, какая болезнь, а это вовсе и не болезнь,—это смерть пришла...

Начался ливень.

Под напором потоков воды, ринувшихся с неба, гулко гудела железная крыша, так что говорить было трудно, и никто не расслышал того, что сказал Максим Николаич:

— Вот:— так любила Мушка дождь, и он пришел к ней перед смертью... проститься...

И не слышно было, как зазвенела отброшенная на пол чайная ложечка.

Ольга Михайловна, страшная в своем отчаянии, обняла как-то сразу все голое тело Мушки, припав лицом к груди против сердца, и вдруг вскрикнула:

— Она теплая!.. Почему же она теплая?

— Да, еще теплая, — сказал Максим Николаич, пощупав грудь.

Сиделка за спиной Ольги Михайловны скорбно кривилась, отрицательно качая большеносым лицом, но, схватив Мушкину руку, Ольга Михайловна повернулась к ней:

— Пульс есть!

И потом уверенно:

— Есть пульс! Я слышу!.. Максим Николаич! Берите за правую руку, я за левую!.. Отводите назад! Теперь к груди! Искусственное дыхание, — знаете?.. Дальше назад! В одно время со мною!.. Теперь к груди!.. Еще камфары! Пожалуйста!.. Я вас прошу!

Брови сиделки вспорхнули недоуменно. Она высоко, к самому уху подняла левое плечо, сделала губами и глазами, но все-таки отбила горлышко еще одной ампулы и набрала шприц.

И потом долго так было.

Лило сверху и гудела крыша. Сырость дождя и запах грозы врывались в открытое окно, а здесь, в комнате, металась сиделка в белом халате, поминутно делая инъекции, неумолимо отводили и сводили руки Мушки Максим Николаич и Ольга Михайловна...

Но вот заметили зловещее какое-то лиловое пятно, ползущее снизу от шеи на левую щеку Мушки.

— Что это?

— Синюха, — сказала сиделка.

— Тереть надо! Максим Николаич, трите! — вскрикнула Ольга Михайловна. — Не руками, шершавым чем-нибудь!.. Одеялом!.. Сестра, голубчик, трите вы со мною, — он пойдет разводить самовар!.. Еще ванну!

Вставая, Максим Николаич переглянулся с сиделкой. Та снова наклонила голову к правому плечу и сделала губами и глазами древний жест недоумения.

По террасе несся уже поток.

Дача стояла в выемке под бугром, так, чтобы защититься от сильных тут зимою ветров, и теперь справа от нее, с дороги, забивши уже проточные каналы камнями и шиферной глиной, поток повернул на террасу, и около ножек самовара струилась желтая, пенистая вода.

Не нужно уж было разводить самовара для Мушки, умерла уже Мушка, — это видел Максим Николаич, — и щепки, мокрые кружились по полу террасы и уносились водой.

Но доносился из комнат голос Ольги Михайловны:

— Скорее самовар! Скорее, пожалуйста!.. Бутылки к ногам!

Максим Николаич ударял топором по сухой еще крышке старого стола, стоящего тут же на террасе, отбил доску, взобрался на тот же стол, наколол из доски лучины...

Едва поставил самовар, вышла Ольга Михайловна.

— Она жива!.. Пульс появился!.. И синюхи уж больше нет... Надо за доктором!

— Что вы? Куда в такой ливень?

— Я вас прошу!.. Она умрет иначе! Умрет!..

— Что же доктор может?

— Он что -нибудь сделает... он знает...

— Господь с вами!.. Разве они у нас не были?

— Ну, не хотите сами, найдите Шуру, — пошлите!.. За Мочаловым... Он близко.

— Да не пойдет Мочалов! Зачем он пойдет?

— Пусть скажет, что надо делать!.. Ну, пойдите, я вас прошу!.. Напишите ему, что жива, — пульс есть... Ради бога!

Максим Николаич взял свою разлетайку и вошел прямо в свежий грозовый ливень, точно в море вошел в одежде, и через пять - шесть шагов почувствовал, что промок насквозь. Ноги вязли в размокшей глине, — их присасывало, и большого труда стоило их переставлять... Точно и земля, как и небо, хотела доказать ему, что напрасно он шел... Но он и сам знал это...

Он догадывался, где теперь могла быть Женька и с нею Шура: в саду на одной из соседних брошенных дач. Уже давно там были сняты двери и окна в доме, разворованы вещи в сарае, вырублены деревья в саду на топку, но росла еще никому не нужная трава, и туда утром выгнал Женьку Максим Николаич.

Шура сидела на подоконнике и мурлыкала что-то, болтая ногами, а Женька зашла от дождя в пустой сарай и мирно жевала жвачку, — так их застал кое - как добравшийся Максим Николаич.

Шура обернулась и соскочила с окна. Она вся стала вопрос без слов. И он ей ответил:

— Кончилась наша Мушка!..

Тихо, чуть слышно, сказала Шура:

— Господи! — и сложила перед собой руки.

Но не поверила вдруг, — страшно стало в это верить; спросила:

— Неправда это?

— Ольге Михайловне кажется, что неправда... Ей кажется, что она жива... и что нужно доктора...

— Я схожу! — оживилась вдруг Шура.

— Куда же в такой ливень?.. Да и напрасно!.. Да и не нужен теперь Мочалов, тем более, что... Ну, зачем? К чему?..

— Я пойду! — решительно повторила Шура.

Максим Николаич вынул записную книжку, написал на листочке: «Признаки жизни еще есть. Посоветуйте, что делать дальше».

Шура спрятала листочек и храбро вошла в ливень, а он погнал Женьку домой.

Это была первая гроза и первый ливень за весну и лето. Молнии и гром были так часты, что забылось уж, когда начались они, и не думалось уж, что когда-нибудь кончатся. Но каждый шаг в стене сплошного дождя и в промокшей на четверть, точно для печника приготовленной глине был тяжел, а Женька не понимала, зачем ее гонят теперь куда-то, и несколько раз возвращалась снова в сарай, и долго бился с нею Максим Николаич, пока поняла она, что хоть и гроза и ливень, а идти почему-то надо... Может быть, вспомнила она, как купалась в море?.. То-и-дело встряхивалась она, фыркала, мотала курносой головой, а хвост выкручивала кольцом. Маленький Толку тарачил глаза и крупно дрожал.

У ворот Максим Николаич столкнулся с высокой женщиной, покрытой от дождя мешком, и не сразу узнал, что это — Ольга Михайловна, и испугался, что она здесь, — так далеко от тела Мушки.

— Вы?.. Что это?.. Куда?..

— За доктором... Она жива еще... пульс есть...

— Да, ведь, я сказал уже Шуре, — она пошла!.. Идите домой, пожалуйста!.. Пусть бы уж я один мок, нет, надо еще и вам было!

— Вы правда ее послали?

— Она сама вызвалась итти, — сама!.. Идите скорее домой, не стойте!

— Пульс есть... И сиделка говорит, что есть...

И она еще что-то говорила о пульсе, камфаре, ванне, а Максиму Николаичу стало вдвое труднее итти, и он не выдержал и сказал:

— Панихиду какую—а?—правит земля по нашей Мушке!

Войдя в комнаты, еще весь мокрый, так что бойкими струйками бежала с него вода на пол, он спросил сиделку:

— Неужели есть пульс?

Та подняла левое плечо к уху и сделала губами и глазами свой древний жест, — но вдруг изменилось ее лицо и она ответила твердо:

— Да, есть пульс!

Это она увидела — входила Ольга Михайловна.

Глаза у Мушки были такие же, как и раньше, — левый уже, правый шире, но на левой щеке заметил Максим Николаич тусклое красное пятно: это, борясь с синюхой, Ольга Михайловна содрала здесь кожу жестким шершавым одеялом.

Максим Николаич подумал: «Могло ли быть такое пятно у живой?». Взял Мушкину руку, долго ждал, не появится ли пульс, — не было пульса.

— Все - таки это ни в коем случае не холера, — сказал он сиделке, и та оживленно согласилась:

— Боже сохрани!.. Посмотрели бы вы на холерных, как у них меняются лица!.. Одни скулы да нос!.. А это — ничуть не изменилось...

— К Мочалову послали? — спросила Ольга Михайловна.

— К Мочалову.

И он пошел переодеться.

За Ольгу Михайловну было ему страшно. Он видел, что она только сбросила с себя мешок, но как будто не чувствовала промокшего хоть выжми платья, в котором похожа была на утопленницу, только что спасенную.

Когда, переодетый, он вышел из своей спальни, она встретила его искательными словами.

— Грудка теплая... и животик... только ноги холодные.

— Бутылки лежат? — спросил он, чтобы как-нибудь отозваться и добавил строго, как только мог: — Сейчас же перемените платье!.. Нужно было выходить на дождь!

И добавил еще:

— Залило, конечно, весь погреб... Там что стояло?

Она долго думала и сказала:

— Много...

И тут же:

- А Шура бегом побежала?
- Бегом.
- Значит, скоро должна притти.

И правда, она едва успела переменить платье, как прибежала Шура.

Ливень уже сменился мелким дождем, и гроза далеко продвинулась над морем.

— А Мочалов? — спросила Шуру с порога Ольга Михайловна.

— Он сказал, что ему незачем идти... Спросил: — Сиделка есть?— Я сказала: — Есть. — И пусть, говорит, что делала, то и делает... Если есть еще камфара, то камфару...

— Есть еще камфара, сестрица?

— Две ампулы.

— Впрысните, ради бога!.. Почему же он сам не пошел?

— Как раз в это время дождь сильный-сильный шел!

— Что же, что дождь? Девочка должна, значит, умереть, потому что дождь?

— Не потому, что дождь, а потому, что смерть! — медленно сказал Максим Николаич. — Это не болезнь к нам пришла, а она сама — ее величество Смерть!.. Переоденьте, пожалуйста, Шуру во что-нибудь, Ольга Михайловна, а то и она заболит... И покормить ее надо...

Ольга Михайловна помогла сиделке сделать инъекцию и только тогда пошла в кладовку, найти что-нибудь Шуре, а Максим Николаич сказал сиделке:

— Она умерла... и давно уж... Именно тогда, когда меня позвали с террасы... Вы делаете инъекции мертвой!

Сиделка пожала плечом и ответила:

— Что же делать?.. Ведь, нельзя же сказать этого матери!.. В каждом доме теперь свой покойник... Разве же у меня точно также не умер муж от сыпняка?.. Умер два месяца назад... И меня даже при этом не было, — я ездила до своей мамы в Золотоношу!..

Максим Николаич взгляделся в ее молодое, но древнего письма лицо, — показалось на момент, что ей уже много-много лет, что миллионы смертей прошли перед ее глазами... и он махнул рукой и сказал:

— Все умрем...

Посмотрел долго и пристально на мертвую Мушку и пошел доить.

Ливень кончился, и вновь расцвело небо, а тучи схлынули на море, верст за двадцать.

Земля под солнцем была как ребенок после купанья: она явно улыбалась всюду.

— Посмотрите, — сказала Ольга Михайловна, когда Максим Николаич шел с ведром: — Мура закрыла глаза сама, и она улыбается.

— Это значит... значит, что она уж не страдает больше, — ответил Максим Николаич.

— Я послала Шуру за Шварцманом... Теперь уж нет дождя... и теперь он свободен... Я думаю, он придет.

— Может быть, и придет,—оглянул горы и небо Максим Николаич.—Теперь хорошо пройтись, у кого крепкая обувь... После грозы в воздухе много озону...

Он процедил молоко, выгнал Женьку пастись, вошел в комнату Мушки и увидел: глаза закрыты, как у сонной, и легкая улыбка, как у заснувших навеки.

Максим Николаич прикусил губы и вышел.

Выходя он слышал, как спросила у сиделки Ольга Михайловна:

— Камфара есть еще?

И как та ответила:

— Только одна ампула.

13

В последний раз Шварцман.

Он опять подымался позади Шуры, сняв кепку и вытирая голову платком.

Вздувшаяся от ливня речка, впадавшая около пристани в море, на целую версту в ширину загрязнила морскую синь тем, что принесла из горных лесов: глиной, валежником, желтыми листьями... И как раз от края грязной полосы этой круто взвилась радуга, полноцветная необычайно, а за нею другая—слабее и нежнее, как отражение первой, в зеркале неба... а еще дальше третья—чуть намечалась.

Под этой перекличкою радуг, ярко, как битое стекло, блестело море у дальнего берега, — всё какие-то бухты. Городок же внизу, в долине, весь засиял своими невыбитыми еще окнами, а зелень вблизи стала ярка до крика.

И, встретив Шварцмана, Максим Николаич так и сказал ему горестно, но кротко:

— Подумаешь, как обрадовалась земля, что умерла наша Мушка!

Шварцман шел к радугам спиною и не видал их, и только одно слово понял:

— Умерла?.. Уже?

Сделал страдающие глаза и остановился.

— Впрочем, Ольга Михайловна думает, что жива еще... Вы все-таки, зайдите, пожалуйста...

И опять пошли вместе, и, продолжая думать о своем, говорил Максим Николаич:

— Растворится в земле и воздухе... Будет кусочком радуги... Очень радовалась она жизни... Доверчива была очень к этой гнусной старой бабе-жизни... и та, вот, накормила ее бактериями!

— Да, лучше уже не иметь совсем детей, чем так их терять,—отозвался Шварцман.

— Но, ведь, тогда... что это вы сказали? — горестно подхватил Максим Николаич.—Дети должны непременно быть, для ради всяких экспериментов над ними в будущем!..

Когда вошли они на террасу, Ольга Михайловна уже не встретила их. Она лежала на диване в столовой, и когда Шварцман прошел осторожно мимо нее, она даже не повернула к нему головы.

Его встретила только сиделка. Они переглянулись, и он опустил голову. Но все-таки он вошел в комнату Мушки, приложил стетоскоп к сердцу, послушал и молча вышел на террасу.

— Ну, что же делать!.. Констатируйте, как говорится... сейчас дам вам бумаги...

И Максим Николаич достал из папки несколько мелких листков, и на одном из них Шварцман написал, что Мария Наумова, 12 лет, 27 июля скончалась от азиатской холеры.

— Вы все-таки продолжаете думать, что холера? — удивился Максим Николаич.

— Да... Так будет лучше, — не на вопрос ответил Шварцман.

— Так сказать, «сухая» холера?

— Дд аа... Видите ли, можно нарисовать эту картину так: холерные вибрионы размножились в организме необычайно быстро, и сразу остановили деятельность сердца...

И он написал еще три заявления: насчет похорон, санитарной линейки и дезинфекции.

— Максим Николаич! — крикнула вдруг Ольга Михайловна. — Попросите доктора ко мне!

— Нет, зачем же! — испуганным шопотом отозвался тот и хотел уйти с террасы.

— Я тоже больна! — сказала Ольга Михайловна, подымаясь с дивана.

— Это... пройдет со временем... И что же я тут могу? — бормотал Шварцман, порываясь уйти.

Но Ольга Михайловна уже стояла на террасе и говорила:

— Скажите, доктор, если бы камфара у нас была ночью, она была бы жива?

— Нет! — твердо ответил Шварцман. — Случай был безнадежный... Я, видите ли, так это представляю: пакет бацилл...

Но Ольга Михайловна оборвала его резким вскриком. Она грянулась бы на грязный от ливня пол террасы, если бы не подхватил ее Максим Николаич и не опустил осторожно в кресло-качалку.

Шварцман в стороне, отвернувшись и делая в податливой земле кружочки наконечником палки, ждал, когда пройдет приступ отчаянья.

Женщина рыдала нутряным страшным бабьим рыданьем... Она билась бы головой, если бы не держал ее голову Максим Николаич.

— Да дочка ж моя, Марусечка-а-а-а!.. Да радость же ты моя единственная-я-я... а-а-а!..

Так несколько длинных страшных минут, перевернувших всем души.

Максим Николаич повторял глухо:

— Успокойтесь!.. Ну, успокойтесь же!.. Может быть, и мы с вами умрем завтра!.. Мы ее догоним, нашу Мушку!.. Это колесо истории нас раздавило... истории, чорт бы ее побрал!..

И, воспользовавшись тем, что рыдания ослабели, Шварцман сказал:

— Считаю долгом предупредить вас, как врач, что в комнату умершей вы больше не должны входить... Не входить даже и в дом до дезинфекции...

— Но, ведь, мы и не боимся умереть, доктор!.. — сказал Максим Николаич.—Я бы, поверьте, очень охотно умер хоть завтра... Может быть, я уже заражен.

— Но у вас, ведь,... у вас есть еще долг по отношению к другим!—отозвался Шварцман, все еще прокалывая землю своею палкой и глядя на кружочки.

— Ах, ближние?.. Да, да, да!.. Перестаньте же, Ольга Михайловна!.. Да успокойтесь же!.. Мы с вами должны еще что-то такое... во имя любви к ближним... Прежде всего, мы не должны больше видеть Мушки... Еще что, доктор?

— Я вам советую вымыться горячей водой... Потом...

— Еще раз самовар ставить?

— Да... Перемените всё решительно белье и верхнее платье...

— Вы слышите, Ольга Михайловна?

— Ночевать где-нибудь на пустой даче... Похороните завтра утром, а в обед к вам придут с дезинфекцией.

Передав сиделке крупно вздрагивающую, но уже притихшую Ольгу Михайловну, Максим Николаич пошел провожать Шварцмана.

Он сказал ему:

— Я—ваш должник... В самом скором времени у меня будут деньги... Только давайте, между нами, выясним: ведь, это не холера была у девочки?

— Как же это выяснить без анализа?.. И не все ли вам равно, от чего? Важно, что умерла... А еще важнее, чтобы и вы оба не умерли... После дезинфекции пригласите прачек, белильщика... Большие расходы, конечно, но что же делать?.. Однако это отвлечет несколько мать. Вы согласны?

Житейски это было разумно, и Максим Николаич простился с ним без вражды.

Отсияли уж радуги, и море потухло...

14

Сиделка долго кипятила свой шприц, чтобы его обеззаразить, и ушла, наконец. Ушла и Шура, пригнавши Женьку. На даче остались только они: двое живых и Мушка—мертвая, не только мертвая сама, но и смерть другим,—чужая и страшная.

Только день назад так смеялась она звонко и радостно, купая в радостном синем море свою Женьку, задрвшую хвост кольцом!

Поставлен был вновь зеленый большой самовар с заклепанным краном, и валил от него дым. Смолистым дымом этим застлало горы и море, и не заметили сразу, как появился откуда-то перед террасой косоротый какой-то низенький человек и сказал гнусаво:

— Слышал, несчастье у вас... что делать!.. У меня у самого тоже... недели две назад.. дочка двух лет...

Оторопели оба... Переглянулись...

— А вы, собственно, насчет чего же?—спросил Максим Николаич тихо.

— Касательно гроба я... Может, еще не заказали, так у меня готовый есть... По этой части я теперь занимаюсь... Может, слышали?.. Павел Горобцов... Могилку тоже я выкопать могу...

Еще раз оба переглянулись,—не сон ли этот криворотый? Нет, жутко, однако не сон.

— Недорого с вас возьму,—двадцать мильенов всего... И, стало быть, за гроб и за могилку... Скажете, дорого?.. В Ялтах, вон, и по сто плотят...

— Где же мы возьмем двадцать миллионов?—с тоскою в голосе спросил Максим Николаич.

А криворотый ответил:

— Можно, конечно, и в общей схоронить, и совсем, конечно, безо всякого гроба...

Но испугалась Ольга Михайловна:

— Нет! нет! Как можно!

— Да, разумеется... Человек их шесть или восемь собирают... какие раньше управились, те должны очереди своей ждать... в часовне, на кладбище...

— Кого ждать?

— Пока число соберется... Тогда уж собча их закапывают...

Криворотый говорил спокойно, и необычайно спокойный после молний, грома и ливня выдался вечер.

Солнце зашло уже. Настали мягкие сумерки, и весь мягкий, в мятой, мягкой сумеречно-серой рубаше ремешком подпоясанной, стоял какой-то Павел Горобцов, временно гробовщик и могильщик, и верхняя часть его лица с серыми глазами исподлобья была совершенно серьезна, а перекошенная нижняя часть точно все время ехидно смеялась. Показалось Максиму Николаичу даже, что он и не криворот, только в насмешку так сделал, а он говорил гнусаво:

— Вы, конечно, люди верные... Если день - два, я обождать могу...

— Ну, и пусть делает, — вмешалась Ольга Михайловна. — Толкушку продадим, кур, — как-нибудь соберем двадцать мильенов...

— Главное, мне длину гроба надо,—какого роста она, покойница?.. Так если на два с четвертью, я думаю хватит.

— Вполне,—сказал Максим Николаич.

— Тогда у меня готовый есть... Завтра утром сюда доставлю... Потом могилку пойдем копать...

Шлепнул картузиком и ушел... А они двое еще с минуту сидели оцепенелые: началось!

Когда вымылись оба на кухне и переоделись в самое новое, что нашлось,—стало уж темно, но тишина продолжалась.

Пошли на соседнюю пустую дачу,—не туда, где паелась Женька, а ближе, но где в доме тоже не было дверей,—зажгли спичку, осмотрелись...

— Да-а-а!—сказал Максим Николаич, вздохнув.—Может, просто посидим на крылечке... как-нибудь скоротаем ночь...

Но сидеть рядом и молча слушать молчащую ночь показалось еще более жутко. Лучше все-таки было забиться в темный угол бывшего жилья, укутаться чем-нибудь с головой, и зажать веки... Только чтобы забыть на время: было — не было, жива — мертва... хоть бы на час забыть.

Это была жуткая ночь.

Ольга Михайловна лежала неслышно, и Максим Николаич боялся даже представить, что в ней творилось теперь, только думал: — «Ей бы сонных капель каких-нибудь... бромбу бутылку... не догадались прописать врачи»...

Вот она зарыдала глухо и длинно: про себя.

— Ну, что же делать? Нечего делать!—говорил он, слушая.— Везде, ведь, смерть... во всей России...

— Какое дело мне до всей России?—вскрикивала она.— Отдаст мне она ребенка?.. Если бы мы уехали во-время из России этой, Мурка была бы жива-а-а-а!..

— Будем думать, что суждено так... Суждено, и все... И куда бы мы ни уехали... Ничего мы в этом не понимаем, а кого-то виним... Некого винить...

Но у нее были свои счеты с судьбой, запутанные длинные женские счеты:

— Отчего же когда в Екатеринославе нас обстреливали гранатами, и ничего?.. А закупорка вены?.. Ведь как трудно было ехать, как трудно, а хоть за два часа до заражения крови да приехали же!.. И, ведь, там видно было, что больна, и серьезно, а тут... Утром еще вчера не обратили внимания, а она... Она уж вечером говорить не могла... Радости сколько у нее было, когда я Женьку купила — пригнала... А это я... ей... смерть... смерть ее пригнала... Если б я не послала ее купать Женьку!.. Отчего вы не отсоветовали?..

— Почему же я знал?..

— Да, вам, конечно, все равно было... Вы же над ней смеялись тогда, что не нашла иголки... Это через вас она мне сказала: «Мама, я не могу так больше жить»... Мне ее жалко стало, я и говорю: «Поди испукай Женьку»...

И вдруг, подняв голову:

— Она отравилась!

— Ну, что это вы!.. Чем? Как?.. Зачем?..

— Отчего же она так сказала?

— Больна уж была, я думаю... вот и сказала.

— Она была, конечно, больна... Я еще третьего дня заметила: лицо красное, и ела мало... Это тиф у ней был... Брюшной тиф... Или сыпной... Если бы не пила она холодной воды потная!.. Если бы не купалась!

— Но, ведь, не было никакой сыпи!..

— Для сыпи рано еще!

— Значит, для смерти еще раньше.

— Если б была камфара!.. Я помню брюшной тиф у брата... Вот так же ходил, как и Мурка, до последнего дня, а потом сразу выше сорока... Фельдшер один спас: целую ночь перед кризисом дежурил, и все камфару!

— Значит, вы знали про камфару?.. Отчего же вы не взяли в аптеке?

— Я взяла все, что он прописал, этот Шварцман!.. Он вон и аспирин прописал при холере!.. Я и аспирин взяла!.. А отчего же вы не прочитали даже его рецептов?.. Вы все о политике с ним рассуждали, нашли время!.. Если б вы тогда прочитали...

— Он сказал, ведь, что «все равно»!.. Или это — Мочалов? А о политике мы тогда не говорили...

— Конечно, все равно было утром!.. Это ночью нужно было, до кризиса... Ведь, я же вам сказала, когда Бородаев этот ваш был, я вам сказала:—«Сорок один!..». А вы что? Даже вниманья не обратили!..

Он хотел-было сказать:—«Это Невидимый...», но сказал:

— Эта смерть... если бы я мог предотвратить ее, я дал бы себе отсечь руку, ногу... Если б я хоть отдаленно понял тогда, что это значило!..

Жалобный заунывный вой донесся со стороны их дачи... В сыром, густом воздухе был он очень отчетлив и выразителен, точно плач ребенка.

— Что это? А? Что это?..

— Должно быть, Бобка!

— Он никогда не выл раньше!.. Вы же знаете, что он никогда, никогда не выл раньше!..

— Да он и не приходил по ночам в последнее время... Теперь он Эреджепу своему нужен: виноградник стеречь... Он на цепи сидит...

— Максим Николаич! Надо поглядеть!. Подите!..

— Пойду.

Земля все еще была сырая, вязкая... Молодая луна, сделавши свой недолгий путь от одной горы к другой, теперь пряталась за лесом на гребне этой другой горы, и Максим Николаич сразу не понял даже, что это за светлый язык там, в лесу на горе. Он шел тревожно и не в силах вынести воя, позвал:

— Бобка! Бобка!

Тотчас же оборвался вой, и через несколько моментов черный в мутной ночи уже вертелся и визжал около ног его Бобка, визжал с изумительными оттенками голоса, точно вполне понимая, что случилось, говорил по-своему, жалел бедную Мушку, сочувствовал, пропововал утешать:

— Ах, Бобка, Бобка!

Максим Николаич трепал его по упругой спине, думал, итти ли ему дальше, к воротам?.. Непроизвольно пошел, все-таки, посмотрел... Ворота были заперты... Домик явно показался мертвым, ненужным для жилья, годным только затем, чтобы было откуда уехать.

Когда шел обратно, встретил Ольгу Михайловну.

— Это Бобка!.. Вот он!..

— Боб-ка?.. А я думала...

Постояла немного и сказала:

— Вы там были?

— Да... Ворота заперты... Ничего...

Бобка прыгал и визжал, явно радуясь, что видит эту высокую женщину в черном—живую и невредимой.

— Ну, все равно, ведь, мы не спим... Постоим там.

Повернул Максим Николаич. Дошли до бассейна для дождевой воды. Прямо против него приходилось окно Мушкиной комнаты. Стали там и стояли молча... И вдруг,—странно и страшно было это!— Бобка снова завыл...

Он отошел для этого в сторону на полянку, повыше дома, откуда видна была вся крыша, и выл тихо и горестно, так надрывающе душу, что Максим Николаич не выдержал и бросил в него камнем, негромко крикнув:

— Пошел!

Потом добавил:

— Тут тихо!.. Тут нечего слушать... Пойдемте!

— Обойдите кругом, посмотрите,—есть ли Женька?

— Как же могли бы увести Женьку через запертые ворота?— сказал-было Максим Николаич, но все-таки пошел, хотя и знал, что делает совершенно ненужное. Обошел кругом дома, посмотрел, не сломан ли где забор, им самим из старых досок сколоченный... Пробыл здесь столько, сколько, по его мнению, нужно было для Ольги Михайловны, чтобы постоять вблизи мертвого окна, послушать.

Потом вернулся, и назад они пошли молча.

Обиженный камнем и окриком, Бобка пропал в ночи...

Разоренная дача, в которую они вошли снова, была точно пещера, куда они спасались от лихой погони.

Опустившись на пол, сказала Ольга Михайловна:

— Когда я давала ей каломель, я ее спрашиваю:— «Ты меня узнаешь, Мура?.. Цыпленочек мой, ты знаешь, кто я?» — а она тихо так повторила:— «Цы-пле-но-чек»... «Ты видишь меня, Мурочка?.. Кто я, Мурочка?»... А она так раздельно:— «Тэ рэс»...

— Может быть: «пе-рес»?.. То-есть она хотела сказать: «Пере-стань!»... Ей вообще, видно, трудно было слушать что-нибудь... и говорить больно!..

— Нет... Вполне ясно я слышала! Тэ рэс... точно по-латыни: Те res... Совсем не «перес»... И больше ничего она не говорила... Только вот перед самой смертью в корыте: «Не надо!». И еще... Я тогда руку ей положила на грудь, а она обе свои на мою положила сверху: прощалась!.. Ведь, вы же знаете, как она всегда выбегала встречать меня, если я поздно из города?.. И если с корзиной я,—сама ее возьмет, и сзади меня подталкивает головою, чтобы мне легче было итти в гору... Чтобы мне легче!.. Марусечка!.. А-а-а-а!..

... И когда ей четыре года всего, это перед войной, тогда мода была на слоников,—все дарили на счастье... (Счастье!.. Это как-раз перед войной-то!) Был у ней из папье-маше,—все она с ним возилась... Встанет, бывало, рано, я еще сплю... она ко мне шопотом: — Мама!—Я и проснусь да вставать не хочется, лежу, глаза закрывши... Она, ведь, не будит!.. Ни за что не разбудит, а только все со слоником своим: шу-шу-шу, шу-шу-шу,—все на него серчает и выговаривает... И все он от нее как-будто убегает, а она его ловит и—шу-шу-шу, шу-шу-шу... Так много у ней он бегал, все пяточки ему приходилось подклеивать... Повозится, и опять тихонечко:—Мама!.. Видит, что я все сплю, и опять со слоником шепчется... А не разбудит!.. Жалела меня будить... Детка моя милая... Да что же это, господи, что же это?.. Что-о-о?..

...Когда зимой из саней ее потеряли да нашли, — брат мой говорил ей тогда: — Ну, племянница, видно уж тебе до ста лет дожить! — До-жи-ла!.. Такой год страшный пережили! Такой голод вынесли, ну, думала, теперь уж лучше будет... Вот тебе лучше... вот! Мурочка!.. Мурочка!.. Родненькая моя!..

...Когда ей год еще всего, чуть начала ходить от стульчика к стульчику, — а носик у ней маленький был, как кнопочка, — приставишь к нему палец: — тррр, — звонок... И она тянется тоже... своим пальчиком малюточным... И глазенки сияют, — очень довольна, что до моего носа дотянется, и тоже так: тссс... и хохочет-хохочет... Радость ты моя!.. Как же теперь?.. Несчастливая я!.. А-а-а-а!.. Что же тепе-е-ерь?..

И так долгие часы... Замолкают рыдания, успокаивается немного вздрагивающее тело, и начинается странный лепет, серый осенний дождь воспоминаний... Перетасовываются, как в карточной колоде, годы. Нет разницы: год ли был Мушке, десять ли, пять или восемь... Что-то лепечут испуганные, раздавленные горем губы, — в слова, в жалкие затасканные человеческие слова хотят как-нибудь, приблизительно, отдаленно, смутно, перелить для себя, осмыслить, что такое потеряно, чего больше не будет никогда около, что отнято кем-то невидимым в несколько часов... И не может перелить в слова... И все выходит не то... И от этого еще страшнее...

И лежащий около на полу, снятым с себя пиджаком закутавший голову, Максим Николаич хочет внести поправки в этот непопадающий в главное лепет и представляет только тонкое белое цзвивающееся на их руках тело, страшные от боли белые глаза и потом этот рот ее, вытянутый трубкой... и невидно было, кто же с нею делал такое...

К утру Ольга Михайловна на минуту забылась, но, очнувшись, вскрикнула:

— Где мы?.. Едем?.. Максим Николаич, это вы?.. А Мура?.. А где же Мура?.. Мурочка!.. А-а-а-а!.. А-а-а-а!.. А-а-а-а!..

Это была жуткая ночь, и никогда раньше Максим Николаич не был так благодарен рассвету...

15

Бледные, с воспаленными глазами, поднявшись, подошли они к своей дачке. Посмотрели на давно уж некрашенную рыжую крышу,--- под нею там Мушка... и тут же отвели глаза к морю и к небу над ним, уже золотевшему.

— Женьку выпустить надо, — сказал Максим Николаич.

А Ольга Михайловна спросила:

— Почему же не несут гроба? — И добавила тихо и невнятно, как девочка, робко глядя из-под ресниц в его глаза: — А вдруг она там очнулась... сидит на кровати...

Максим Николаич молча дотронулся до ее локтя, отвернулся и поспешно пошел к Женьке не через двор, где было «воспрещено» им ходить, а в обход, кругом дачи.

Женька вышла бодрая, могучая, как всегда; приветственно заревела, узнав Ольгу Михайловну; проходя мимо нее, взмахнула хвостом... А за нею следом вышел и Толкун, беломорденский, жмурый, как ребенок утром, — неуверенно ступая тонкими и слабыми еще копытцами... Подошел к Ольге Михайловне и толкнул ее в платье.

— Толку ты мое, Толку! — шепнула по-мушкиному Ольга Михайловна, обняла его доверчиво протянутую голову, пахнувшую теплой шерстью, и вдруг заплакала навзрыд.

Солнце всходило огромное, ослепительное — явный жизнедавец земли.

«Жизнедавец, я к тебе с жалобой!.. Ты любил маленькую бело-волосую Мушку, с ясными до дна глазами, и она любила тебя... Она рано вставала по утрам, отворяла двери и, если видела тебя, кричала радостно: — Солнце! Солнце! — и на голом полу кувыркалась через голову от восторга... А если не видела тебя, заслоненного тучами, она грозила им своим маленьким кулаком: — У-у, противные тучи! — Она любила все цветы, и каждую травку, и каждую козявку, которой ты — единственный отец... И вот нет уж ее: она убита!.. Я к тебе с жалобой, жизнедавец!.. Вот женщина, — ты ее видишь? Она обняла голову теленка — Толкушки, который тоже осиротел теперь, — и она плачет...

Это — мать!.. Мы не войдем сейчас в свой дом, — нам воспретили... Чужие люди придут и откроют двери... Она — мать, и она ждет от тебя чуда. Ты, конечно, не совершишь этого чуда, ты — чудотворец, ты — жизнедавец, — и я к тебе с новой жалобой за то, что не совершишь!..».

Так думал, глядя на солнце, Максим Николаич, между тем снизу несли уже двое — один белый тесовый гроб, другой — криворотый — крышку, и в гробу лежала и блестела кирка, в крышке — лопата для могилы.

Санитарная линейка с тремя санитарами приехала часам к девяти. Все трое были татары и все крикливые: один — с черными усами, другой — с рыжими, третий пока безусый. Тут же важно надели белые халаты, закурили и начали торг.

— Ха-з-зьян! — сказал черноусый. — Ты нам сколько дашь за работа?

— А город разве вам за это не платит? — пробовал выяснить Максим Николаич.

— Горрад — горрад!.. Чево там нам горрад?.. Один уфунта хлеб? Большое дело, це-це!.. Слушай: — девять мильен нам дашь, — повезом, не дашь, — не повезом! Как знайшь!

— Да как же ты смеешь так говорить? — начал было Максим Николаич изумленный...

Но Ольге Михайловне так тяжело было долгое ожиданье, так хотелось, чтобы открыли двери и окна, чтобы увидеть Мушку!

— Ну, пусть, пусть! — замахала она руками. — Пусть!.. Только сейчас у нас ничего нет...

— Нет денег, — мука дай, крупа дай... Мы ждать не хотим!.. Кушать нада, понял?.. Каждый день хочим кушай!

Потом вступил рыжий:

— Хозяин! — Слушай мене!.. Халерный барак ест, — там мы — бесплатный... Здеся дома покойник, — надо платил... Понял мене?.. Уж халера, она... (Выставил губы и рукой показал на свой живот.) Вы — человек образован, — сам понимаешь... Такой дело!

Безусый сидел на линейке, играл вожжами по спине гнедой шершавой лошади, курил и сплевывал через зубы.

— Ну, хорошо!.. В городе я достану им денег... Займу! — вмешалась Ольга Михайловна.

— Девять мильен: три да ему, три да ему, три да мене, — тыкал пальцем черноусый: — Ну, айда!

Сам он взял крышку, рыжий гроб, и вошли в двери.

Ольга Михайловна поместилась там, — возле бассейна на верху выемки, — откуда было бы видно всю Мушкину кровать, чуть только откроют ставни, — и Максим Николаич стал рядом с ней.

Отворили ставни.

Тело было покрыто с головой розовым дырявым одеялом: так оставили, когда ушли, чтобы не сядились мухи на лицо.

Черноусый сдернул одеяло, взял тело за плечи, рыжий — за ноги, стуча, положили в гроб.

— Покажите мне ее!.. Покажите головку! — закричала Ольга Михайловна.

Отступили там внизу оба в белых халатах, и увидали оба здесь, снаружи, голову Мушки: мертвые пряди милых белых волос, желтое личико с запавшими глазами, и на левой щеке потемневшее большое пятно.

— А-а-ай! — не своим голосом, в совершенном испуге вскрикнула Ольга Михайловна, закрыла лицо руками и опустилась наземь.

Черноусый, обшарив комнаты привычными глазами, нашел в выдвинутом ящике стола гвозди и молоток и забил крышку гроба. Но в открытом шкафу он заметил также и пачку табаку... Он взял ее, повертел в руках, стал к окну спиной и положил в карман. Максим Николаич это видел, но тут же забыл об этом. Он успокаивал рыдавшую Ольгу Михайловну, как будто мог ее успокоить.

— Крепитесь! — говорил он. — Дорогая, крепитесь!.. Нам еще на кладбище идти, — не теряйте силы!..

Вынесли забитый гроб; положили на линейку, как ящик. Тронулись.

Оба высокие, Максим Николаич и Ольга Михайловна шли под руку и старались идти в ногу.

Дорога круто вела вниз по камням и промоинам; давно не ездил по ней никто, и никто не поправлял ее лет семь с начала войны. Гроб сильно качало, и двое татар шли с обеих сторон линейки, придерживали тесный домик Мушки... Криворотый набил на крышке его крест из цветных дощечек, а Ольга Михайловна обвила гроб длинной веткой кипариса.

Спустившись с горы вниз, в городок, санитары уселись на гроб и закурили, болтая о чем-то на своем кудахтающем языке, на котором нельзя говорить тихо, а они двое шли сзади молча, мерно шагая в ногу.

Набережная, по которой шли, была пуста. Выбитыми стеклами всех решительно окон зияли франтоватые прежде, в арабском стиле городские купальни. Стоявшую на двутавровых балках в самом море деревянную кофейню, вычурно раскрашенную и носившую шутовское название «Поплавок», теперь почти разобрали на дрова. От кинематографа «Рион» осталась одна задняя каменная стена; от целого ряда лавок на берегу куча неприбранного мусора, лежащего уже два года. На этом мусоре сидел весь голый и весь в коросте чей-то неопрятный ребенок лет четырех и собирал черепки. Кусок набережной, сажени в три длиною, провалился и был унесен прибоем; место это огородили кое-как колючей проволокой, оставив узенький проезд... Морщинистая простоволосая какая-то женщина в грязной кофте, шедшая навстречу, остановилась, посмотрела на гроб и на них двоих, испуганно перекрестилась и поспешно прошла мимо, пряча глаза.

Пустое море. Пустая пристань.

Шире шаг и в ногу!.. Так легче итти.

Проехала линейка Базарную площадь, от которой влево стояла церковь.

— Как же священника вызвать? — спросил Максим Николаич.

— А? Священника? — очнулась Ольга Михайловна. — Нужно сходить к нему на дом... Пусть станут...

— Эй! — крикнул татарам Максим Николаич: — Стой!.. К священнику сходим!

Линейка остановилась. Соскочил черноусый; но когда понял, чего хотят, махнул рукой и ворчнул:

— Зачем такой свячельник?.. Не надо свячельник!

Крикнул своим:

— Айда! Трогай! — и пошел следом.

— Должно быть, холерных не полагается хоронить со священником, — догадался Максим Николаич. — Боятся заразы. Пригласим его после...

Кладбищ было два: старое и новое, — правда, хоть и прошлогоднее, но уж такой же величины, как старое.

Однако криворотый встретил линейку у ворот старого: чтобы скорее и легче было копать, вскрыл одну из старых могил, дойдя до полусгнившего гроба.

Кладбище было неуютное, на косогоре, на твердом шифере. Деревья здесь были редкие, чахлые, больше все кипарисы, сплошь облепленные прошлогодними и новыми шишками, некрасивые, корявые. Кресты на могилах больше все деревянные, некрашенные, кривые...

Гроб с линейки тащили с трудом черный и рыжий татары и кричали криворотому:

— Памагай, эй!.. Зачем так стоишь?

Миндальное деревцо кто-то посадил на старой могиле, и теперь его выкопали с корнем, и оно с поникшими узкими листочками валялось тут же рядом с бедряной костью черной и прелой какого-то давнишнего покойника.

Кладбищенский сторож, старик с зеленой бородою, еще бравый, должно быть, бывший фельдфебель, принес полотенце опустить гроб в могилу.

И когда новенький гробик лег плотно на истлевающий старый, и криворотый вместе с другим приземистым пожилым и очень мрачным сбросили вниз по лопате жесткой, как железная руда, сухой земли, гулко ударившейся в доски, упала на колени Ольга Михайловна:

— Да детка ж моя, Марусечка!.. Да что ж это такое, господи!

— Не надо, Ольга Михайловна!.. Успокойтесь! — пытался было поднять ее Максим Николаич, но бравый старик, подняв зеленую бороду, причмокнув, сказал строго:

— Раз ежели она — мать, должна она по своему детищу плакать... Пусть...

Огляделся деловито кругом, увидел миндальное деревцо и встал его снова в могилу.

— Да оно уж не пойдет теперь, брось! — сказал мрачный товарищ криворотого, валом осыпая сухую землю.

— Почему это знать?.. Корень у ней цельный! — не сдался фельдфебель. — Отобьет глазок и в лучшем виде пойдет!..

Но криворотый передразнил:

— Глазо-ок!.. Картошка это тебе?.. Ладнает, как бы на чай за дарма получить!

Максим Николаич думал: — На чай?.. Его право... И надо дать... А дать нечего... Стыд!

Отошли татары к воротам... Немного постояв без дела; отошел следом за ними и зеленобородый; каменно стуча сыпалась вниз земля. Совершенно сраженное лежало ничком и крупно вздрагивало тело Ольги Михайловны; — когда неожиданно, откуда-то сзади появился «Квазимодо» с портфелем.

Докрасна рыжий, маленький, горбатый, испитой, но непреклонный, он начал сразу о служебном:

— Товарищ секретарь, заседание суда завтра, а вот тут (он щелкнул по папке) два дела о грабеже и краже... из милиции... Я вас издали видел, — за вами шел... Ну, и что же у вас тут такое, — ай-ай!..

Максим Николаич посмотрел на него хмуро:

— Ничего, Кизильштейн, — простое - житейское... Была одна девочка, Мушка, — и умерла... Больше ничего не случилось...

В стороне между могил проходили две пожилые уже женщины и несли на чадрах совсем маленький гробик... У каждой в руках было по ветке кипариса, и лица важные у обеих...

А в воротах, установив на земле пузатый дезинфекционный бак с резиновым рукавом, безусый санитар окатывал из него какою-то жидкостью прячущихся за ограды могил черноусого с рыжеусым и, отвалившись назад и задрав голову, так что чуть не падала шапка, хотел во все горло.

Романтическая ночь

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ

Не сплю я ночь, приходит день
И вижу я опять:
Война свою большую тень
Бросает на кровать.

Кровать моя из трех досок.
Соломенный тюфяк.
Воды недопитый глоток.
Некуренный табак.

Комод. В нем ящики пусты
И стол и стул—один:
Моя жена за три версты
И с ней мальчишка—сын.

Шекспир. Страницу двести три
Устало руки мнут.
Антоний! Как ни говори
Тебя он лучше—Брут.

Дождь по-осеннему шумит,
Скрипит моя постель,
Иль может то—снаряд свистит?
Иль может то—шрапнель?

Мечта отходит от дверей.
Вот стала в головах;
Крыло раздроблено у ней,
Винтовка на плечах.

— Вставай! В тревоге десять стран
Уж вызов брошен нам
Взгляни! Мой верный барабан
Расколот пополам.
Я у Светлова уж была
Давно забыл он сон.
(Ту, что любили мы, ушла).
Винчестер чистит он.

Вставай! Друзей своих зови.
Буденный у ворот.
Твою поэму о любви
Не кончим в этот год.

Дождь по-осеннему шумит
Скрипит моя постель
Иль может то—снаряд свистит?
Иль может то—шрапнель?

Я встал и к зеркалу пошел,
С меня не сводят глаз:
Светлова раненый хохол,
Багрицкого—Опанас.

— Ты Украину не любил,
В тебе—вода, не кровь.
Ты Украину позабыл,
Все пишешь про любовь.
Не верим мы. Коль это так,
Тогда ложись и спи.
Тебе соломенный тюфяк
Милей твоей степи.
Знай, близок он—военный гул,
И мать твоя не спит:
Хоть глаз один ее уснул,
Другой—в Москву глядит.

Деревья темные шумят.
Скрипит моя постель.
Иль может то—свистит снаряд?
Иль может то—шрапнель?

В окне моем чуть брызжет день.
Чорт! Видно, мне не спать.
Война свою большую тень
Бросает на кровать.

Ночь, 26/VI.

Мой соловей

НИК. УШАКОВ

Все депо раскрываются в степь,
И луна, как тюльпан над долиной.
Как не слушать

на каждой версте
пересвист,
перещелк

соловьиный.

Вылетает весна на перрон,
соловей и стучит и сердится.
У него под крылом
под пером
наливается яблоко сердца.

Он глядит на гнездо
и жену,
задыхаясь в серебряном гуле.
Я уверен,
такую струну
не на рельсопрокатном тянули.

Вы воспели глухой антрацит
и распыленный и крылатый,
что дыханьем заводов летит
над туманным шафраном заката.

О, заводов отечество!
Знать,
не единственный сладок дым их.

Дозволяется восставать
даже против самых любимых.

Будем встречным друзьям говорить
убедительным слогом петиций,
что над цехами
могут парить
эти курские
теплые птицы.

Есть программа на полную жизнь,
и важней она
многих заданий:—

Соловьиного соло держись
и степного тюльпана в стакане.

Две республики

Повесть

А. АРОСЕВ

I. Карикатура

Есть в Париже дома черные, поседевшие плесенью, беззубые, слепые и крепкие как старухи, позабывшие свой возраст, с остеклевшими глазами, с руками, похожими на лапы орла.

Таков и дом в стиле барокко на углу одного из старых бульваров, построенный в конце XVII века маркизой д'Орвиллер — женщиной белотелой, беловолосой и белоглазой с тонкими поджатыми губами, красными как свежая рана.

Как дым — десятилетия проносились. Дом седел. Его черный камень покрывался плесенью.

О, если бы камни парижских домов умели звучать о былом! Хранители тайн, укрыватели преступлений, слепые свидетели любви и ненависти, молчаливые наперсники человеческой думы, сундуки человеческих дел,—что бы могли они рассказать!

Один полицейский агент, совершая свой обычный ночной обход, посмотрел на свои часы, как раз в тот момент, когда поравнялся со старинным домом маркизы д'Орвиллер. Едва полицейский захлопнул крышку часов, как прямо над ухом услышал, хоть не громкий, но резкий и неприятный хохот. Полицейский остановился, чтобы прислушаться. Тогда хохот оборвался. Но как только полицейский сделал шаг вперед, так опять послышался смех, вперемежку с лязганьем зубов. Полицейский пристально посмотрел на дом, но ничего в нем не заметил: дом стоял спокойно, незанавешенные окна его казались черными. Полицейский нажал кнопку у парадной двери дома.

Пришлось позвонить несколько раз, прежде чем перед полицейским в узком коридорчике предстал взлохмаченный старичек со свечей в руке. Лицо его было помято. Правый глаз чуть-чуть выше левого.

— Кто здесь живет? — спросил полицейский.

— Готард де Сан-Клу, — был ответ.

— Он весь дом занимает?

— Да.

— Он дома сейчас?

— Нет.

— А где же он?

— В палате депутатов.

— Кто же сейчас находится в доме?

— Я, да лакей Франсуа.

— А кто из вас хохотал так на всю улицу и в такой час?

Старик-консьерж исподлобья бросил косой и острый взгляд на полицейского, потом перевел глаза в самый темный угол коридора и, пожимая плечами, тихо ответил:

— Не знаю... Вам почудилось.

— Может быть, там кто-нибудь не спит в темной квартире?

— Там находится только лакей нашего господина, человек с руками силача, по имени Франсуа, но он спит... А разве запрещено смеяться? — спросил вдруг неожиданно старик.

Полицейский заметил, что у старика торчит длинный шатающийся зуб на нижней челюсти и лязгает о верхние, когда старик говорит.

— Да: громко смеяться и в полночь запрещено, — ответил полицейский и, погрозив пальцем консьержу, пошел вон.

Вследствие донесения полицейского за домом установили наблюдение. Но никаких странностей, никакого ночного смеха замечено не было. Сведения, собранные по этому поводу, указывали лишь на то, что владелец дома, министр и социалист Готард де Сан-Клу, украшал стены своей квартиры карикатурами. Их было так много, что они вытеснили со стен портреты, картины и прочие украшения. По стенам были только хохочущие физиономии, вытаращенные глаза, вздернутые красные носы, выпученные животы, изогнутые в пляске ноги, готовые прыгнуть со стен. Карикатуры казались живыми существами, вылезшими из-под шпалер.

Уродливые существа смеялись над всем. Но больше всего они смеялись над большими народными событиями. Готард любил этот смех, застывший в кривых движениях безобразных людей. Смех над теми, кто восставал, и над теми, кто побеждал.

Прежде чем отправиться в парламент, Готард по обычаю своему бросил прощальный ласковый взгляд на карикатуры. И вдруг одна из них остановила на себе внимание министра: на бочке, растопырив ноги, сидел французский санкюлот во фригийском красном колпаке. В правой руке он держал копье и опирался им о землю. На острие копья была насажена отрубленная голова с лицом Людовика XVI. По лицу короля текли слезы и капали крупными каплями. Из висков королевской головы торчали олени рога. На коленях фригийца сидела полураздетая тоненькая аристократка. Она холеными руками обвивала

воловью шею санкюлота. Санкюлот грубо улыбался ей и всякому, кто смотрел на карикатуру.

Раньше никогда Готард не замечал такой странной улыбки санкюлота, улыбки над ним, над Готардом. Он порывисто захлопнул дверь своего кабинета и даже запер ее на ключ, словно боясь, что санкюлот с аристократкой и с королевской головой убежит. Принадлежа к числу людей, которыми изобилует Париж, — профессионалов политиков, — Готард великолепно знал цену пышным словам и чувствительным речам с парламентской трибуны. Он знал, что в большинстве случаев не они определяют судьбу страны. Не они, а деловой сговор в коридорах, кулуарах, курительной комнате, в частных домах. Там легкие шопоты, полунамеки, полуулыбки или во-время данный обед могут сделать неизмеримо больше, чем все пламенные речи. Но рядом с таким сознанием все же уживалась надежда на то, что не будет ли его выступление исключительным? Не зажжет ли Готард весь парламент своей искренностью? Не увлечет ли он депутатов неожиданностью своих мыслей? Не поразит ли он всех своей смелостью и независимостью? (Готард ни с кем не советовался предварительно: боялся, что будет поколеблен!)

А если даже ничего этого не произойдет, то разве плохо, если он, одинокий, на трибуне будет на мгновение освещен истиной, как путник — молнией среди ночи. Разве — думал он — не будет то красиво, что в Париже, в центре военного угара, вдруг он, министр, прогремит в заключение своей речи: «Да здравствует мир! Долой войну!».

Но чем ближе под'езжал министр к дворцу Бурбонов, тем больше волновался. А, волнуясь, чувствовал, как теряет почву.

Еще издали, с Площади Согласия, заметил Готард на той стороне Сеңы у парламента толпы стекающихся низеньких, черных, всегда возбужденных парижан. Они размахивали руками, ударяли клятвенно себе в груди, свистали одним под'езжавшим депутатам, приветственно махали платками и шляпами, и кепками — другим и кричали, открывая рты с гнилыми или искусственными зубами. Среди толп и кучек этого народа, то приближаясь к ним, то удаляясь, прогуливались агенты полиции в синих брюках и накидках. Полицейские — это во Франции единственная профессия, сконцентрировавшая всех высокорослых мужчин. С щетинистыми большими усами, со строгим, но несколько томным выражением глаз, в развевающихся от ветра синих коротких плащах — они казались синекрылыми архангелами, носителями беспристрастия и законности. Олимпийские жители, снизошедшие в трясину человеческой грязи, суеты и греховных страстей. Руки махающие, хватающие, вздымающиеся, хлопающие, трясущиеся — руки, усиители человеческих слов, атрибут тончайшей французской ораторской речи, руки — величайший выразитель человеческой страстности — у синих французских архангелов оставались скрытыми и хранимыми под плащами. И только чтобы остановить или направить толпы ли людей, сонмы ли жужжащих автомобилей, вереницы ли звенящих трам-

ваев,—рука полицейского показывалась из-под плаща, чтоб сделать один магический, законченный и четкий жест, как в школе пластики, и снова скрыться. Олимпийские жители, снизошедшие в трясину человеческой грязи, греховных страстей и суеты!

Оттого, что эти олимпийцы с подбитыми ветром плащами виднелись всюду, и оттого, что толпы были слишком оживленны, Готард издали, опытным глазом определил, что это демонстрация рабочих перед парламентом.

Двое рабочих в серых шарфах, обмотанных вокруг шеи, и в клетчатых кепках, перебегая дорогу, чуть не угодили под автомобиль Готарда.

— Когда через дорогу, никогда нельзя за руку, — сказал один.

— Ты прав: излишняя солидарность не в пользу. Сегодня, по газетам, у Пляс де ля Мадлен задавили двух, — ответил другой с черными и густыми, как у запорожцев, усами.

Готарду блеснула мысль: не найдет ли он поддержки здесь в собравшемся народе. Может быть, в Париже еще помнить, что он социалист... Готард постучал шофферу, чтобы остановил. Спрыгнул со ступеньки и стал пробираться к центру собрания. Двое молодых рабочих и одна работница неодобрительно посмотрели на него, узнали должно быть. Вдруг где-то в центре толпы раздался пронзительный свист. Свист перекинулся вправо, влево по толпе и как пламя охватывал ряды людей. Уже свистели в ближайших к Готарду рядах. Уже свистели те, что стояли рядом с ним и смотрели на него во все глаза. Они расступились перед ним, образовав вокруг него кольцо. Все ошестинились на министра остриями своих маз. Готард, чтоб откомендоваться толпе, крикнул:

— Да здравствует мир! Долой войну!

— Не верим, не верим, долой лжецов! — прогремели ему в ответ тысячи голосов, как ружейные выстрелы.

Один старик-рабочий был ближе всех к Готарду и твердил ему прямо в ухо:

— Лжецы, лжецы!..

И тут же этот рабочий размахнулся и сбил с головы министра котелок на мостовую. Другой рабочий замахнулся, чтобы ударить Готарда... Третий рабочий... Четвертый. И крики, крики... Сейчас начнется...

Готард, не отрываясь, смотрел на морщинистого старика-рабочего и ощущал сладкую истому в ногах: ему, Готарду, не страшно, ему только любопытно и немного жалко себя. У него вертелась одна мысль: «Почему я лжец? кому я лгал? кому я изменял?.. Себе я не изменял... Себе я не лгал... Себе я... Себе... Себе...».

За спиной он ощутил легкое прикосновение теплой и тонкой руки и на левом виске своем чье-то прерывистое дыхание. Оглянулся. Увидел девушку, не похожую на работницу, хотя и просто одетую.

Он сказал ей:

— Это они сами изменились ко мне, а я всегда думал то же самое, что думаю теперь. Ведь настоящие мысли не говорятся... Как их облечь?..

Она поспешно взяла его под руку. И, тихо торопясь, под свист людей, вышла с ним из толпы.

Готард еще раз посмотрел в лицо девушки. Она была без шляпы, с головы на лоб ее спускалась челка черных волос. Глаза ее были большие и темные и немного грустные и удивленные. Девушка была тонкая, высокая и очень молодая.

— Они правы, — сказала девушка про рабочих.

— А я? — спросил Готард.

— Вы — тоже.

— Кто же лжец? кто же изменник?

— Как всегда — время! — ответила девушка.

Готард впрыгнул в автомобиль и захлопнул дверцу кареты.

Оттого, что он так необыкновенно оказался спасенным девушкой, Готард ощутил в себе большую радость жизни. Словно в сильный холод его укутали в теплую шубу, словно он тонул в безбрежном море и его выбросило на берег.

От бодрости он даже забыл, что оставил свою шляпу там, на мостовой, и вспомнил о ней только тогда, когда лакеи в вестибюле заулыбались и стали сочувствовать рассеянности молодого министра.

Справа, из курительной комнаты промелькнул лысый человек с выдающимся затылком. Он раскланялся с кем-то, еще с кем-то. Лысая голова напоминала череп питекантропа. Готард вспомнил, что остатки этого прачеловека были обнаружены именно на территории современной Франции. И тут же подумал о том, что с такой головой нет надобности свистеть, подобно тем, что на улице... У такого самым надежным орудием борьбы за существование служит умная голова с очень развитой затылочной частью.

Готард догонял по коридору человека с выдающимся затылком, следя за его лысиной, как за путеводной звездой. Готард едва успевал пожимать руки встречным и обгоняющим его депутатам и журналистам, а сам думал: «если меня сегодня он, идущий впереди, поддержит, я надолго министр, и тогда я сумею противостоять английским домогательствам и подвину дело мира».

У самого входа в зал заседаний лысая голова вдруг повернулась и в глаза Готарда уставились стальные и немного мутные, как у пьяного, глаза этого человека.

— Необходимо будет согласиться с англичанами и поддержать их проект насчет Роял-Дёч и Москвы. Надеюсь, вы в этом духе... Ведь только в таком случае... — быстро, скороговоркой тихо произносил смотрящий в глаза Готарду человек.

— Вы поддержите меня? — вопросительно закончил Готард.

Готарду под сердце подкатило пьянящее чувство, никогда им раньше не испытанное: чувство возможности мстить. Мстить тем, которые чуть не побили его, чуть не убили... Готард укрепил это чувство соображением: «Конечно, он, питекантроп, прав».

В этот момент к Готарду подскочил и взял его за локоть маленький человек, потный, липучий как осенняя грязь, с маленьким бритым морщинистым личиком с болтающимися как мешки щеками. Готард вздрогнул от неприятности: он знал этого человека и знал, что у него на пальцах обгрызаны все короткие и мягкие ногти и даже кожный покров около них обглодан.

— О нет, нет, я вас не отпускаю. Вы мне хоть несколько слов. Ведь сегодня большой день в палате и всем небезынтересно, что вы скажете. И именно здесь за каких-нибудь пять минут до вашего выступления. Это будет, поймите, эффектно.

Маленький человек был левый журналист.

— Я, право, ничего сейчас сказать не могу.

— Одно слово: как вы думаете — останется теперешняя Россия Керенского и Милюкова нашим союзником? Признаем ли мы Временное петербургское правительство?

— Лорд Бьюкенен телеграфировал в Лондон на оба ваши вопроса утвердительный ответ.

— А ваше личное мнение?

— Спросите лучше у Пуанкаре!

— О, его мнение, к сожалению, нам слишком хорошо известно. А вы — новый. Вы не возразили бы Бьюкенену?

— Нет, нет!

— Спасибо. Именно это ваше мнение я и посылаю сейчас в редакцию.

— Но, конечно, без упоминания Бьюкенена.

— О, разумеется, а то эти островитяне слишком много о себе станут думать!

Маленький человек отбежал к подоконнику и острым карандашиком в своей просаленной записной книжке набросал интервью с новым министром, озаглавив его: «За секунду до парламентской трибуны». Подзаголовком стояло: «Россия остается союзницей».

В зале заседаний парламента за пюпитрами, расположенными правильными полукругами, вразброд сидели и стояли депутаты. Много депутатов находилось в правом и левом проходах. Между ними сновали сторожа, по большей части старики в черных фраках, с цепями на шее. В центре лицом к пюпитровым полукругам на большом возвышении и тоже за пюпитром сидел человек во фраке, а сзади, на скамеечке — его цилиндр. На пюпитре у него с левой стороны стоял большой медный звонок, а с правой деревянная палочка вроде ножичка для разрезания книг. Посредине — графин с водой. Аршина на два пониже этого пюпитра находился другой, широкий пюпитр, тоже обращенный

лицом к собранию, за ним сидело четыре человека и перед ними лежали бумаги. Еще на аршин пониже была трибуна. Она оставалась пустой. Пониже трибуны, в самом партере за столами сидели стенографы и стенографистки.

Человек с самой высокой трибуны — это был председатель — возвестил депутатам, что он считает заседание открытым. Четыре человека за пюпитром пониже его уселись поудобнее: это были секретари. Стенографы заработали.

Готард не торопился войти на трибуну. Он старался остаться незамеченным, чтобы наблюдать и уловить настроение депутатов. А депутаты, несмотря на то, что предстоял большой день, особенно не волновались. Спокойно правые подсаживались к левым, дружно и весело беседовали. Левые в проходах ловили своих приятелей из правого лагеря и рассказывали им последние парижские анекдоты. Маленький, узколицый, сгорбленный, с седеющими усами, известный политик, министр и депутат, опираясь о пюпитр левых, лениво пробегал газету, где приводилась ветеринарная статистика смертности рогатого скота (министр в это время становился крупным скотопромышленником). Высокий в пенсне с реденькими черными висящими усами, с головой, откинутой гордо назад, самый левый социалист беседовал с низкорослым, коренастым, краснолицым генералом, имеющим 12 ран, который сидел на крайней правой. Социалист убеждал консервативно настроенного генерала в том, что посмотреть Павлову, танцующую голый, нисколько не предосудительно. Левый радикал с закрученными густыми усами, с бычачьим выражением глаз, тряс за плечи высокого с отвисшим животом, как у беременных женщин, и с красным утиным носом роялиста, которого он до колик в животе насмешил рассказом, как два английских банкира и один немецкий собрались в Швейцарии для обсуждения вопроса о том, какие можно было бы установить финансовые взаимоотношения между Германией и союзниками. Со всем рядом с Готардом один весельчак, румяный, ветреный, всегда бодрый, громко — чтоб слышали все окружающие — рассказывал последнюю политическую новость: почему один всем известный джентльмен, не раз бывавший министром, ныне не получил министерского портфеля. Оказывается, политические враги его, зная, как он падок на женский пол, подослали к нему жену депутата N — в этом месте весельчак сделал кивок в сторону одного из левых республиканцев. — А так как французы допускают какие-угодно свидания и встречи и какого-угодно вида любви, в закрытых частных помещениях, но жестоко преследуют тех, кто оскорбит прелюбодеянием какое-нибудь публичное место, — общественный сад, например, — то эта красивая женщина — весельчак опять кивком головы указал на супругу этой женщины для тех, кто не заметил его указания раньше — предложила несчастному кандидату в министры встретиться с ним в Булонском лесу. С красавицей было условлено так, что в самый интересный момент их накроют. И накрыли. На-днях будет суд. Вот тебе

и министерский портфель! А ведь имел, чорт побери, все шансы! Теперь лет на пять лишат беднягу адвокатской практики! Когда окружающие, дослушав этот рассказ, рассмеялись, то весельчак удачно взмахнул рукой: «Эх, все бы это не беда, но если бы вы слышали какие свидетельские показания давали полицейские агенты! Куда тебе твой Декамерон! Один, например, рассказывал...». Тут кружок любопытных стеснился вокруг рассказчика, и Готард испытал удовольствие от того, что дальше ничего не слышал.

Готард, который привык сидеть в парламенте, никогда так не переживал своего присутствия в нем, как теперь. Теперь, когда ему самому предстояло сделать ответственный доклад по самому решающему вопросу, он с ужасом подумал, кому же он будет излагать свое глубоко передуманное. Тут не видел Готард ни настоящей борьбы партий, ни классовой ненависти, ни волнующих принципиальных разногласий. Сегодня с поразительной ясностью он вдруг понял, что это собрание мило друг к другу расположенных людей, встречающихся, по крайней мере в основном своем кадре, вот уже сколько лет, ничем не отличается от мирных зачайных собеседников, привыкших часто встречаться и знающих не только характер друг друга, но кто какое любит носить белье. Готард мельком взглянул на трибуну, с которой он должен будет сейчас произнести речь. Она показалась ему сценой, на которой депутаты, как артисты, перевоплощаются, чтобы играть роль в зависимости от склонностей, то радикалов, то республиканцев, то социалистов, то правых. Посмотрел Готард на председателя. Тот в это время взял в руку палочку и лениво стал постукивать ей о пюпитр, неохотно призывая депутатов к порядку. Председатель показался Готарду режиссером.

Готард вошел на трибуну. В зале стало немного тише. Перешептывания продолжались, главным образом, в той стороне, где стоял весельчак.

Инстинкт подтолкнул Готарда не выговаривать здесь, перед ним и ми, того глубокого, что наполняло Готарда. Инстинкт подсказал Готарду такие слова, которые вполне приличествовали его положению, характеру данного момента и партийной принадлежности Готарда. Конечно, это был не шаблон: с шаблоном эти гурманы ораторского искусства и политической тонкости не только погонят с трибуны, но и из министерства. Поэтому Готард в меру горячился, с тонкостью полемизировал, высказал две-три оригинальные идеи, но не такие и не так, чтобы они неуклюже выпирали из общего контекста и вздорили бы с установившимися вкусами, а такие и так, которые вызывали и протесты и реплики, но оставались под цвет общему тону.

Его слушали не без интереса. Смолк даже кружок весельчака. Готард говорил, не контролируя себя часами. А свет в зале был устроен так, что никак нельзя было понять — темнеет ли или светлеет на улице. Весь потолок был круглый и стеклянный, с него сыпался рассеянный свет цвета солнечного. Нигде никаких лампочек не было: так по-днев-

ному было светло. Готард говорил, и ни он, ни слушатели не заметили, как время ушло давно за полночь.

Готард произнес совсем не ту речь, какую хотел, и закончил ее вовсе не так, как собирался. Он фантазировал, вскрикнуть: «Долой войну», рассчитывал поразить неожиданностью весь парламент. А на самом деле закончил: «Да здравствует Франция и ее союзники». Парламент своей обыденностью; завсегдашностью рассеял фантастику Готарда.

Возвратившись домой, утомленный министр долго не мог заснуть. В такие часы ему всегда представлялись какие-то рожи. Иногда их было очень много, иногда одна. На этот раз в его насильно и плотно закрытых глазах стояло три лица: тонкий, улыбающийся профиль аристократки, что на коленях у санкюлота; рожа санкюлота, грубая, расхлябанная улыбкой, с длинной трубкой в углу рта; и голова короля, насаженная на пику с вывернутыми от ужаса глазами, из которых падали слезы крупные как горох. Готард усилием своей слабой воли отгонял это от себя. Но «это» торчало перед ним, как троица единосущная и нераздельная. Чтоб не видеть ее, Готард хотел лицо свое закрыть руками. Но руки его были такие маленькие, почти детские, что не покрывали всего его лица.

Наконец, он встал, пошел в кабинет, воспаленными глазами посмотрел на карикатуру. Еще раз увидел в одном лице смех, в другом — слезы, в третьем, в лице аристократки — красоту. Грубо сорвал со стены это трехличие и бросил его в ящик стола.

II. Шестикрылый серафим

Московский большой театр был переполнен. В партере сидели иностранные делегаты, в ложах — ответственные работники, в верхних ярусах — районные партийные товарищи.

На сцене длинный стол президиума. Сзади и с боков его густым веером расположились уже самые ответственные товарищи, приобретающие специальное название «вождей». Районная публика или, если сказать попрежнему, народ переполнял ярусы.

Среди иностранцев выделялись черный в белом костюме малаец, два таких же черных бенгальца в синих костюмах, грузный и рослый американец, с шеей и лицом Геркулеса, с кривым глазом, рябоватый из Союза Индустриальных Рабочих (I. W. W.). Седая американка, с вздернутым носом, с лицом, клетчатый от морщинок, рядом с ней рыжий с глубокими голубыми глазами житель Чикаго, один итальянец с большой кудрявой шевелюрой, узким лицом и длинной бородой, как у Леонардо да Винчи. В задних рядах партера виднелась публика, очень похожая на районную. Частью это были и в самом деле районщики, пробравшиеся сюда благодаря знакомству с комендантом или некоторыми иностранцами, частью же переводчики.

В оркестре находились газетные сотрудники, репортеры, т.е. люди в очках или пенсне, не причесанные, с карандашами в руках и бумажками, слежавшимися в карманах.

Ораторы кончили свои речи. Освобожденный от них театр зажуужал как муравейник и стал ждать начала концертного отделения. Рабочие в синих фартуках вошли на сцену и убрали стол президиума. Президиум, прошумев стульями, отступил от того места, где сидел и слился с вером сидевших и стоявших вождей.

Влево, за кулисами показалось что-то большое, и все черное за исключением груди, которая, казалось, была в белом панцире. И вдруг это черное и белое двинулось вперед, немного пригибаясь, как бы раскланиваясь. Над белым и черным все увидели очень выразительное лицо, смахивающее, впрочем, на лицо медведя. Можно было подумать — выбрившийся медведь оделся во фрак самой последней моды. Он раскланивался, улыбался, извивался в движениях немного неуклюже, но так, что было видно, что он не только привык раскланиваться со сцены, но и любит это. Человек, вышедший на сцену, был выше всех находящихся на сцене на голову, а казалось, благодаря его ярко-черному костюму, что он выше всех по крайней мере на аршин. Плечи его казались способными разместить на себе, по обеим сторонам толстой шеи весь президиум.

Великан, выдвинувшийся из-за кулис, в черном фраке, в белом, накрахмаленном панцире на груди стоял уже у самой суфлерской будки. Он тряхнул слегка толстой бумагой нот, которую держал двумя руками, поднял ноты к глазам и посмотрел в оркестр, где за большим роялем сидел маленький черноватый человек с растопыренными, готовыми к игре, пальцами над клавишами рояля. Великан чуть-чуть топнул кончиком своего бального туфля о рампу сцены, давая знак, что сейчас начнет. Еще раз изысканно поклонился публике и проговорил:

— Я спою вам по-немецки, по-французски и по-итальянски... Но случайно, — тут он слегка замаялся, видимо подыскивая слово, — будучи русским, я спою вам сначала по-русски... «Пророк», слова Пушкина.

Шаляпин запел чисто, звучно, с большим умением управлять каждой нотой. Словно не пел, а говорил медленно и напевно:

— «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутьи мне явился...».

В уши иностранцев переводчики торопливо, искажая слова Пушкина, переводили.

Француз, рабочий, смуглый, с черными усами как у запорожцев и с черной дырой вместо правого глаза, пытался все привстать, как будто от этого ему могло быть понятнее то, что пелось. А он хотел хорошо понять и все переспрашивал переводчицу:

— Шестикрылый... серафим... На перепутьи...

Все эти слова ему очень нравились.

Потом Шаляпин пел по-французски, потом по-немецки, потом по-итальянски. На этом языке он спел что-то такое игривое, что при-

вело в неопикуемый веселый восторг весь театр: он, казалось, готов был рассыпаться по камешкам и искрошиться в пыль от аплодисментов.

Среди рукоплесканий и криков сверху, с галереи вдруг ясно слышалось:

— Федор Иванович! «Дубинушку»!.. «Дубинушку» махни!..

Изгибаясь и кокетливо кривляясь, блистая белизной своего огромного ската груди, Федор Иванович опять вывернулся из-за кулис немного боком и сказал негромко, но до последней степени четко:

— «Дубинушку» я не могу один... Если поддержите меня... я готов...

И он по-театральному развел руками, как бы предлагая войти в мир звуков весь театр. В ответ на приглашение с тех мест, где сидел народ, т.-е. райончики, опять раздалось:

— Махни, махни, Федор Иванович: поддержим!..

Шаляпин сделал шаг к авансцене и без аккомпанемента:

Много песен слышал я в родной стороне...

.

Это песня рабочей артели...и...и...и...

В этом месте он швырнул на пол ноты, сжал кулаки и взмахнул ими так, что все увидели эти большие, выразительные кулаки в белой рамке манжет, как в наручных цивилизации. Шаляпин, не ослабляя своего пения, начал дирижировать массу.

Масса, повинувшись его жестам, ахнула:

Эх, дубинушка, ухнем...

Подернем, подернем, да ухнем...

Опять Шаляпин, отступя немного от рампы, начал свою сольную партию. А потом снова порывисто кинулся к рампе, когда надо было дирижировать.

В партере, в ложах, на галерее уже никто не сидел: все стояли и пели и старались петь как можно громче и все смотрели на дирижирующие мужичьи руки Шаляпина и на его медвежье лицо с выразительными ноздрями и губами, с небольшими улыбочивыми ямками у углов рта.

Когда дело подошло к последнему куплету, можно было подумать, что Шаляпин выскочит из рампы: так двигался он всеми мускулами своего тела и лица, словно выбиваясь вперед, навстречу орущей и очарованной массе людей. Он вскочил одной ногой на суфлерскую будку так, что близко стоящие люди услышали легкий треск ее стенок.

Последние слова:

Подернем, подернем, да ухнем...

народ, иностранцы, переводчики, вожди, ответственные работники, полуответственные, вовсе неответственные и даже не-работники—все, кто находился в этот миг в театре—пропели раскатисто из последних сил своего восторга и увлечения...

Шаляпин, как мог, высоко взмахнул своей правой рукой, разжал ее и заиграл пальцами в воздухе, словно прощался с последними, улетающими голосами массы. И так, с поднятой рукой, убежал за кулисы:

В зале началось то, что было, вероятно, когда-то в Вавилонской башне: смешение языков, хаос движений и жестов и шари-вари из криков и стуков... Одни продолжали еще петь, другие кричали и хлопали в ладоши, третьи стучали ногами и требовали нового выхода Федора Ивановича. Иностранцы руками вцеплялись в переводчиков и требовали более точных переводов и более детального пояснения всех возгласов и вообще всего происходящего. Старуха американка заключила в свои объятия смуглого черноусого француза и стала его целовать... и приговаривать:

— Это сказочно... Это великолепно... Ах, этот белый медведь во фраке... Простите... я от восторга...

В то же время француз увидел, как малаец подбежал к кудрявому итальянцу и поцеловал его в лоб. Вожди хотели-было двинуться к выходу, но иностранцы и районщики стали кричать:

— Интернационал... Интернационал... Федор Иванович... Запевать...

Однако Федор Иванович не вышел петь Интернационала.

Немцы, французы, итальянцы и часть районщиков сбились в кучу и сами затянули международный гимн. Театр опять наполнился голосами.

Француз, с большими черными усами—фамилия его была Гранд—не мог не думать все время об образе: шестикрылый серафим на перепутьи.

Он шел домой, сопровождаемый переводчицей, которая оказалась французенкой и даже парижанкой, вышедшей замуж за русского эмигранта.

Звали ее Соланж Болье. Она много расспрашивала Гранда о Париже. Оказалось, что она и Гранд оба были участниками одной из первых демонстраций против войны, когда явился-было на митинг какой-то чудак-министр... Впрочем, Соланж заявила, что она не социалистка и придерживается особой философии.

— Простите,—ответил Гранд,—в моих ушах все время эта песня о шестикрылом серафиме...

— У русских всегда что-нибудь такое... глубокое. Я думаю — оттого, что их душа все время жаждет какого-то обновления. Все ищет подойти к какой-то грани. Была пустыня. В ней кто-то влачил и вдруг грань: шестикрылый серафим на перепутьи. И революция у них грань. Было старое и вот—грань: все, что было, отбрасывается во имя того, чего не было.

— Кто же в этом деле шестикрылый серафим: Ленин?

— Разумеется, не Шалапин...

Они стояли у отеля, где жил Гранд. Она подал ему руку на прощанье. Но тут же судорожно отдернула: непривычно в своей руке она ощутила не пять, а только три пальца. Гранд был беспал после катастрофы на одном из парижских предприятий, где он работал. От нелов-

кости своего движения Соланж заторопилась скорее уйти от собеседника.

— До завтра?—крикнул он ей вслед вопросительно.

— Ведь завтра вы летите или едете...

— Да, да... Ну, когда возвращусь.

Она что-то еще ответила из темноты улицы, но француз не слышал.

Из числа русских товарищей француз, впрочем, так же, как и другим иностранцам, особенно нравился один. Это был человек в черной рубашке с сероватым русским лицом и с такой редкой и бритой растительностью, что не поймешь: то ли он постоянно бреется, то ли совсем лишен растительности. Глаза его, несмотря на свою улыбочивость постоянную и выразительность, были неприметного цвета. Голова его всегда гладко стрижена, так что и цвета волос нельзя было в точности знать. Рост средний и манера держаться такая обыкновенная, что человек этот мог быть незаметен в любой толпе, а в отдельности мог быть похож на всякого. Но стоило этому серому по внешности человеку сказать несколько слов, как он останавливал на себе внимание, и не манерами, не глазами, не чем внешним, а той внутренней своей сущностью, которая была весьма своеобразна и ярка. Он и смотрел-то на собеседника не столько глазами, сколько своим солнечным нутром.

По общей внешности он производил впечатление заправского середнячка, полурбочего, полунинтеллигента, полукрестьянина. Сколок общетрудовой русской массы. Масса не имеет ясного лица, не имеет цвета, так и в его внешности не было ничего цветного.

Отсюда — симпатии и привязанность к нему. Особенно полюбил его француз Гранд.

На другой день после концерта этот товарищ сообщил иностранцам, что вчера они видели искусство социалистической страны, а сегодня предстоит полюбоваться техникой ее: он и с ним семь иностранцев должны будут поехать сегодня вечером в необыкновенном вагоне, движущемся по рельсам силою пропеллера, как аэроплан. О таком вагоне иностранцам рассказывалось подробно и много. Говорилось, что это русское изобретение, что это очень экономный способ передвижения, легкий, удобный, способный в недалеком будущем отменить поезда, и, наконец, это изобретение есть весьма серьезный шаг по пути усовершенствования механических двигательных сил.

Собравшись на вокзале, иностранцы с недоверчивым, но деликатным любопытством осматривали мотор вагона, колеса, тормоза, пропеллер...

— Крылья,—рекомендовал им восхищенно необыкновенное изобретение русский товарищ. И в это время во всех его жестах, в звуке голоса рделась та мощная внутренняя убежденность, которая и была чарующей и привлекала к нему всех.

— Крылья, — подтверждали вежливо иностранцы, хмурясь на машину.

— Птица, — вторил ему смуглый француз, а про себя подумал: — солнце в безоблачный день.

— Птица, — вторил ему смуглый француз, а про себя подумал: — «шестикрылый серафим».

Механик и его помощник раскручивали винт, перехватывая ловкими привычными движениями лопасти крыльев. Заходящее солнце бросало на их спины, обтянутые кожаной курткой, бледные отблески. Оно прощалось с механиком, с крылатым вагоном, с людьми, со всей землей.

И люди, что собирались мчаться на крылатом вагоне, стали прощаться с теми, которые оставались.

— Летим!.. Что ли!.. — сказал русский товарищ механику, когда крылья вагона уже жужжали, крутя впереди себя воздух. Мотор мерно kloкотал своими легкими. Железный зверь полуптица тронулась с места. Колеса стали учащать свое вращение по рельсам. Кузов вагона мерно закачался на рессорах... Пассажиры смотрели в окна на убегающие поля и сравнивали себя с пророком Ионой во чреве кита. В воздухе свистели крылья. Прохожие мужики думали, что ветряная мельница сошла с ума и побежала. Мужики снимали шапки и крестились. Машина слепая, как слепо все, что сделано руками человека, неслась среди полей и косогоров, где виднелись соломенные маковки деревенских изб.

Когда русский товарищ и иностранцы, сидя в утробе крылатого вагона, пронеслись полями с необъятными горизонтами, русский товарищ говорил о том, что самое тяжелое и трудно преоборимое, что есть в России, — это пространство... Поэтому техническая мысль Советской России будет непрерывно, энергично и широко толкаться именно в эту сторону. Француз Гранд, как металлист, любил поговорить о железных победах человека. Гранд любил жизнь. Он принадлежал к тому типу людей, на которых судьба беспрерывно обрушивается, поддразнивая смертью, но которые с веселым лицом переносят все испытания и потом рассказывают о них, как о забавных анекдотах. Гранд стал беспальым, потому что однажды два его пальца попали в машину. Он был без правого глаза, оттого что туда попала искра раскаленного металла и выжгла глазное яблоко. Рассказывая про эти и другие свои несчастья, Гранд весело пояснял: «Это, должно быть, мне телефонировали с того света». Однако в мозгу его ни одна миллионная часть клеточки не была занята вопросом о смерти.

Во внутренности крылатого вагона было уютно, удобно как в квартире. Гранд вспомнил о шестикрылом серафиме...

Крылатый вагон, как железный волк, воя и визжа в безбрежном поле, пугая скот и мужиков, вдруг клюнул носом и грохнулся на спину, навзничь.

Так как это произошло в течение менее одной секунды и на полном ходу, то путешественники на полуслове оказались похороненными под обломками с разбитыми черепами...

Лежа под трупами, Гранд подумал, что он тоже мертв. От этого сознания он даже успокоился: пора же ведь когда-нибудь и смерти победить его. В спокойствии он стал как бы засыпать. В последний миг перед засыпаньем голова Гранда стала наполняться громким пением Шаляпина. Голос Шаляпина гудел о шестикрылом серафиме, и сила этого голоса ломала череп Гранда в куски. Французу показалось, что Шаляпин-то это он, Гранд, что это он сам тут поет. Он поет лучше Шаляпина, красивее его, поет о шестикрылом серафиме, поет по своему по-французски. Ах, как поет: весь Париж, вся Франция, весь мир — что мир, вселенная и та сейчас замерла и слушает его пение. И вот уже ни у него, ни у вселенной нет ничего: одни только звуки. Сама брэнная, мокрая, горячая и чем-то притиснутая плоть его превратилась в звучание...

Крестьяне услышали слабый стон из-под обломков вагона и вытащили восемь человеческих тел, из которых одно стонало.

Соланж Болье была вполне откровенна, когда рассказывала французу о своем понимании жизни.

В детстве она любила одиночество, и не в лесу, не в поле, а в комнате. Тогда в нее вселялось тонкое, высокое, дорогое для нее чувство ожидания кого-то, особенно, когда в окна смотрел весенний, сотканный из паутины, сумрак. Вот дверь, кажется, скрипнула. Половица, что ли, хрустнула... Где-то зародился и пропал какой-то звук... Вот, вот кто-то сейчас войдет... А, может быть, вошел, но такой тонкий, прозрачный, что его не видно.

Пройдет такой хрупкий момент, и опять улягутся дни спокойной рекой в каменном, непреложном русле времени.

И среди них нет-нет, да вдруг наступит опять такой тихий вечер, когда одна сама с собой останется... Опять шевельнется половица... скрипнет дверь, зародятся и тотчас же погибнут где-то какие-то звуки. И опять кто-то войдет невидимый...

Казалось Соланж, что если бы этого невидимого она увидела, то непременно оказался бы он таким добрым человеком, каких не бывает на свете. Уста его никогда не осквернились бы ложью, глаза не омрачались бы злобой, на лбу не собирались бы складки горя, и все лицо его было бы, вероятно, как утреннее солнце над росистой травой. У всякого человека, даже самого дикого, темного и заброшенного, есть непременно одна хоть и тонкая, но крепкая нить, которая привязывает его к земной жизни, как пуповина—ребенка к матери. Пуповина такая есть не что иное, как стремление человека разрешить одну или несколько загадок своего собственного существования. Будь то загадки жизни или загадки природы, или загадки красок, загадки

звуков, загадки счастья — все равно. Есть что-то, что приковывает внимание человека и увлекает его бурно или исподволь.

Соланж не знала отца. Не знала и матери, которая умерла в то время, как дала на свет двух дочерей близнецов: Эвелину и Соланж. Сестры воспитывались сиротами в одном религиозном пансионе, который своими черными тяжелыми стенами выходил на узкую улицу Де-Гренель. С другой стороны окна выходили в маленький садик, гладенько причесанный как волос на лысеющем черепе. Сестры до жуткости, до чудесного походили друг на друга. Но только внешностью.

По выходе из пансиона обе сестры оказались владельницами каждая очень скромной суммы денег. Эвелина в короткое время истощила на наряды весь свой запас. Тогда Соланж, из соображений своей теории добра и зла, передала всю свою долю сестре, а сама отправилась работать модисткой.

В это время на Монмартре был известен всем посетителям кабаков и кафе русский эмигрант и художник Кропило. Он был выходец из крестьян Рязанской губернии, Пронского уезда. Почти мальчиком еще в своем родном селе он рисовал вывески для лавок и кабаков и разрисовывал петушков над воротами и крышами. Какой-то проезжий артист обратил на него внимание и увлек его с собою в Петербург. Там Кропило попал в кружок молодых художников и актеров. Все признавали в нем талант и хвалили и побуждали рисовать и рисовать. Он стал одним из наиболее успевающих студийцев и особенно прославился картиной «За грех Адама», где изображался парень среди поля, отрезающий ножом ломоть черного хлеба, а рядом с ним, понуря голову, стояла впряженная в борону лошадь. На лице парня, темном от загара, очень хорошо был сделан пот и выражение большой усталости. Все стали говорить о Кропило как о будущем большом художнике. Это, вероятно, так бы и было, если бы среди молодежи, в которой он вращался, он не повстречал социалистов-революционеров и просто революционеров, которые увлекли его на иной путь. Этот путь привел его к Сибири, откуда Кропило голодный, истерзанный, но с духом ищущим и неугомонным, бежал в Париж.

В Париже он промышлял тем, что, надев полосатую бархатную куртку и сандалии на босу ногу, стал по вечерам бродить среди публики на Монмартре, предлагая срисовывать с посетителей портреты. Заработок от этого получался столь мизерный, что Кропило однажды решил даже написать одному из видных членов ЦК II. С.-Р. письмо с категорическим требованием денег или работы. Так как в этом письме был поставлен срок для ответа и так как ни в срок, ни после него Кропило не получил никакого ответа, то в нужде и злобе своей стал считать себя вне партии и все более и более ста-

новился во враждебно-насмешливую позу по отношению ко всем русским социалистам.

Раз только выпало ему счастье: какой-то непрестанно пьяный купец армянин, кутивший в Париже, пригласил к себе Кропило и заказал ему портрет своей любовницы. За это дело художник получил порядочные деньги.

Приблизительно в это же время он встретил Соланж и уговорил ее сначала позировать, а потом разделить с ним его убогую жизнь. Для Соланж, с ее мечтаниями о добре, с ее ожиданием кого-то необыкновенного, Кропило как нельзя более подходил: в нем она нашла и талант, и какие-то смутные идеи о каком-то будущем, что теплилось в голове художника, как обрывки той идейной жизни, какую он начал-было вести в Петербурге, и протест против общежизненного зла, против лжи, мещанства и т. п. и, наконец, эта атмосфера какой-то неудовлетворенности и постоянного искания. Самая жизнь в нужде была чем-то прозрачным, сквозь что ясно видна вся механика жизни, вся ее суть.

Для Кропило Соланж была тоже находкой. Ее доброта согревала его. Дружеское расположение жены заменяло ему расположение к нему товарищей по партии, которых он бросил. Ее восхищение перед его талантом как художника заменяло ему ту похвалу, какой он был избалован в Петербурге.

Когда началась война, Соланж и он бросились добровольцами на фронт: она сестрой милосердия, он—солдатом.

Во время верденских боев Кропило был сильно изранен и покалечен.

Кропило начал выздоравливать. Но еще часто ощупывал себя, не доверяя тому, что жив. А в те моменты, когда он отчетливо понимал, что воздух, люди, их заботы, их деятельность, их красота — все это попрежнему для него, в душе его набегала такая волна радости, что ему казалось, не сходит ли он с ума от нее. Он не понимал того, что радость от жизни была в нем столь необузданна, что за сохранение этой радости он способен на все.

Когда жена ему рассказала о митингах, о борьбе рабочих за мир, о министре, который как-будто тоже за мир, но которого почему-то никто из рабочих не захотел слушать, то Кропило махнул рукой и с развязною веселостью, свойственной бесстыдным озорникам, ответил:

— Ах, друг мой, все эти социальные контраверзы ничего не стоят. Кто заботится о социальном, тот прямой враг человека с его простыми функциями: мозговой, сердечной и желудочной. Остальное мелочь и дрянь. Впрочем, какое мне дело?..

Сквозь необузданную и скотскую радость жизни, особенно с того момента, когда он выписался из больницы, у Кропило стала пробиваться, хоть и не горькая, но никогда теперь его не покидавшая тоска увидеть родную землю. Родная земля казалась ему мягче и нежнее

французской. И собственно не столько тоска по земле, сколько по пространству необъятному, изукрашенному дугами, нивами и перелесками. Только теперь Кропило как-то внезапно понял, что в Европе нет пространства и еще как художник заметил: поскольку нет пространства, т.-е. поскольку все оно загромождено городами, местечками, постройками, постольку в здешней жизни преобладают прямые линии, сделанные рукою человека. Берега рек заделаны в правильно сложенный камень, поля перегорожены правильными, прямолинейными заборами, леса превращены в шахматную доску разбивкою их просеками на отдельные частные участки. Все земное пространство разрезано кратчайшими путями рельсовых линий. Вся, вся природа все больше и больше зажимается в камень и железо. Здесь преобладают прямые линии. А там, в его родной земле природа еще в полных своих правах.

Радость жизни, мечты о родной земле и опять-опять наступившая нужда привели Кропило к тому, что он решил отправиться к русским властям, принести перед ним покаяние во всем, что он раньше делал и думал, письменно рассказать русскому царю о том, что между прежним социалистом-революционером и теперешним художником, возлюбившим свою землю, нет ничего общего. Он уже начал набрасывать черновик такого прошения, держа это в строжайшем секрете от Соланж. Показав несколько раз переделанный текст одному чиновнику русского посольства, он, наконец, вывел на хорошей слоновой бумаге просительные и униженные слова к русскому царю. Два раза в тексте с наслаждением назвал себя мужиком и свое хоть и не очень глубокое, но все же участие в революционной партии мотивировал своей деревенской тупостью и невежеством. Написав, он снес прошение в русское императорское посольство.

Хромя на костыле—нижняя часть левой ноги у него была в лубке—и бережно держа в кармане справку о поданном им прошении, Кропило вдруг остановился как вкопанный перед огромной афишей, красными буквами возвещавшей, что в России произошла революция. На пороге его мансарды он встретил Соланж, она обняла и, горячо поздравляя с русской революцией, расцеловала его. Соланж думала, что успехом своим русская революция обязана отчасти и деятельности ее мужа. (У художника от этих поздравлений пошли круги в глазах. Он все меньше и меньше понимал, что с ним делается, что делается вокруг него и что из всего этого может произойти. Яснее всего было только одно: потребность скорее быть в родной земле.)

Соланж переживала бурную радость от известия о начавшейся революции. Французенка, как хрупкий продукт старейшей европейской цивилизации, как дочь той страны, которая в течение веков, временами в революционных грозах и бурях и почти всегда в романтическом тумане, продвигалась среди народов все вперед и вперед,—возмечтала о новом народе, о новой стране, о том, чтобы ринуться

туда, в движение как можно скорее. Душа Соланж была обнажена всему новому, всему тому, чего не было.

Через комитет эмигрантов, объявив себя с.-р.-ом, Кропило и его жена Соланж получили возможность отправиться в Россию.

Кропило поехал прямо в родную деревню Рязанской губернии. Он искал покоя, как усталый путник. Он хотел не видеть тех, кто именовали себя социалистами-революционерами или просто социалистами или просто революционерами, или никак не именовали, но совершенно так же, как именующие себя, лезли к нему и в Париже, и в Лондоне, и в Стокгольме, и в Петербурге, и в Москве и крикливо, бойко требовали, чтобы он высказался о каких-то решениях, чьих-то речах, об известных и неизвестных ему лицах, ставших теперь министрами, о программе, о тактике, о всем том смутном и будоражном, что всегда присутствовало в русской жизни под именем «вопросов». Кропило думал, что покой обретет в деревне и что, может быть, деревня поможет ему забыть и Монмартр, и Париж, и русское императорское посольство. «Хорошо, если б его подожгли»,—подумал Кропило.

Почти все его родные и знакомые в деревне были живы. В особенности из стариков. Молодые погибли на войне. Старый девяностолетний дед его, колесник и очень любознательный мужик, расспрашивал внука, где он бывал. Узнав, что он большую часть своей беглой жизни провел в Париже, дед, сощурившись, заметил:

— Я слышал, в Париже там яблоки не больно вкусные. Водянистые, слышь...

— Кто вам, дедушка, рассказывал про это?

— Отец мой. Он против Наполеона ходил. Я помню, он сказывал, что там, слышь, все дожди. Почитай зиму и лето. Яблоко-то оно и не высохат. Наше - то, слышь, куда вкуснее.

И еще долго дед рассказывал о разнице между парижскими и рязанскими яблоками. Все одно и то же, но все разными словами, пытаясь в точности передать то, что ему память сохранила от рассказов отца.

Внук рассказал деду, как он жил в Париже и как занимался искусством.

— А вы что подделываете?—спросил Кропило в свою очередь деда.

— Как что: роботам. Колеса делаю, как завсегда,—ответил дед.

Дед не особенно одобрительно отнесся к художественной деятельности внука и с большой охотой перешел к вопросам «по земельному вопросу».

Узнав о приезде Кропило, мужики и родные и знакомые зачастили к нему. Одни смотрели на него косо и робко. Другие с участием расспрашивали о его ссылке и скитальческой жизни. И все в один голос просили его «изяснить» им разные программы. Некоторые мужики

на него смотрели ласково и столько было в их глазах, в немного скрюченных руках, в наивных непривычных жестах, в их потном дыхании— столько было многовекового крестьянского упования, что у Кропило не поворачивался язык сказать о том, что он порвал со всякими программами, что он приехал сюда искать покоя. Нет, он не мог так жестоко разочаровать их. А лгать им, пронским мужикам, он тоже не мог.

Кропило решил, во избежания фальшивых речей и разговоров с мужиками, жаждавшими научиться революционной мудрости, бежать из деревни. Покой, о каком думал Кропило, можно было обрести только в степи, да в чистом поле, да в дремучем лесу. Но ни в лес, ни в поле, ни в степь Кропило не мог уйти. Он бежал из деревни опять в город, в Москву.

Там Кропило поселился в Марьиной роще, в Тузовом тупике. К нему вскоре приехала из Петербурга Соланж. Она рассказала ему, как вся и навсегда отдалась революционному движению, потому что это казалось ей самым героическим. Она говорила, что бывала в солдатских казармах, на митингах заводов, в уличных демонстрациях. И во всем и всюду она не только была зрительницей. Она работала у походных кухонь Кексгольмских казарм. Потом в лазарете пулеметного полка. Потом ведала доставкой жестяных банок с мясными консервами во дворец Кшесинской и в Таврический дворец. Наконец, развозила по полкам литературу большевиков...

Кропило немного раздраженно сказал ей:

— Я на полотне и покажу и докажу тебе и другим, что весь великий смысл жизни заключается только в сытом куске хлеба, мирной беседе за вечерним чаем в сумерках, хорошей любви с хорошей бабой в хорошую ночь—чего я, чорт возьми, уже давно не имею,—в крепком сне и опять в куске хлеба, т.-е. в ржаном солнце. Больше ни в чем. И все равно только к этому кругу свернет вся вами в клочья растерзанная жизнь!

Соланж и к этому отнеслась по-французски: во-первых, приласкала его, а, во-вторых, быстро нашла какие-то такие остроумные словосочетания, которые были забавны, бессмысленны и поэтому имели всю видимость утешения.

Соланж Болье, сидя у постели тяжело раненого Гранда, вдруг к своей огромной радости заметила, что больной пришел в сознание. Первым словом Гранда было:

— Спаслись другие?

— Нет,—ответила Соланж.

— Все... погибли?

— Все.

Помолчав, Гранд сказал:

— Опять я ее видел.

— Кого?

— Да ведь и так понятно, кого я мог видеть... Ее...

Гранду ампутировали раздробленную ногу до коленки. Он был теперь одноглазый, беспалый и на одной ноге. Гранд уехал в Париж. Уехал веселый, шутливый, немного, как все шутливые люди, насмешливый.

Его насмешки над идеей добра, т.-е. над самым святым, что считала Соланж, впервые показались ей не только не обидными, но даже приятными и освежающими, как легкий летний дождичек, что умеряет жару и укладывает придорожную пыль, что застилала горизонт.

III. Версаль

«Есть разные способы смерти, — подумал Готард де Сан-Клу. — Но нет: смерть всегда—одна».

Он утонул поглубже в угол автомобиля и косо заглянул в оконце кареты, скоро ли доедет до Версаля.

Только в пути, при быстрой езде, Готард любил думать о чем-нибудь отвлеченном или необыкновенном. Тогда улицы, деревья, фонари, дома, кишашие между ними люди—все это теряло свои очертания в деталях, сливалось в общую, волнообразную серую текучесть. Как река, бегущая от жизни к смерти.

День угасал... В розовом тумане над Сеной носились чайки и крылья их розовели на закате... Над чайками перистые облака, как легкая кружевная занавеска, приподнятая над окном мира. Из окна его виднелось синее небо.

Готард опять покосился на окно: вот серые массивные камни Лувра. За ним высокая ограда сада Тюльери. На Площади Согласия обогнули обелиск, привезенный Наполеоном из Египта и воздвигнутый не далеко от того места, где французская революция поставила машину господина Гильотена, называвшуюся тогда «Бритвой государства». Обелиск, выжженный египетским солнцем, вкушал теперь прохладу от фонтанов, которые узорами истекали вокруг него и из брызг, из струй своих составляли высокую водяную клумбу.

Готард же думал не про обелиск и не про фонтаны, а про «Бритву государства». Он закрыл глаза и представил себе.

На королевском балу мадам Роллан подошла к маленькому столу, чтобы быть представленной королю. Она присела в глубоком реверансе, расправив крахмальную юбку, как павлиний хвост. На миг она застыла в этой позе и почувствовала легкую дурноту. Лицо его величества пухлое и немного прыщавое показалось ей маской, особенно когда он улыбнулся: словно кто-то изнутри дернул маску за веравочки, привязанные к нижним концам губ... В тот же момент мадам

Роллан оказалась позади других гостей белых, напудренных, пахучих как цветы. Все представлялись королю, утопив его в веренице своих белых затылков...

Версальский дворец огнями королевского бала горел уже за полночь.

Внизу лакеи доедали сладкое: пеш мелмба, т.-е. персики в мороженом. А самый старый лакей, с птичьим носом, с красными щеками, со щетиной плохо выбритой бороды, он был лучший гастроном,— закатывал от удовольствия глаза как об'евшийся петух, и слегка дремал.

С лестницы, подбирая шлейф, спускалась мадам Роллан. Сзади чей-то острый ноготь уколол ее в руку. Мадам Роллан оглянулась и увидела в стене приотворенную потайную дверь, откуда торчала крючком рука без перчатки, белая, пудрой обсыпанная. Рука мягко, но уверенно схватила мадам повыше локтя и уже больше не отпускала. Как рыба на удочке, Роллан была втянута в потайную дверь. Мадам очутилась в тесной коморке, обитой голубым плюшем, как бомбоньерка. В потолке лампа с абажуром, как камень бирюзы. Дверка голубой комнатки захлопнулась за мадам, испустив бархатный вздох. За дверью едва слышались голоса нисходящих по лестнице гостей...

Перед Роллан стоял мужчина в голубой маске, из-под которой виден был лишь толстый подбородок с ямкой посредине. Казалось, что именно этот подбородок, эта улыбчивая ямка на подбородке и смотрела на мадам. Голубая маска взяла мадам за тонкие плечи и усадила на диван.

Если бы маска была черная и комната была бы не плюшевая и смотрели бы на Роллан глаза, а не озорная ямка в подбородке, то все было бы так обыкновенно, что мадам, вероятно, взвизгнула бы и убежала. А теперь... Когда подбородок и губы приблизились к мадам, она испытала такое, будто летом, в жаркую погоду, где-то на пригорке, на опушке леса, утомившись, она припала губами к холодному, прозрачному ручью...

21 января 1793 года, в 10 часов утра, на «Пляс Луи XVI» — так называлась тогда эта площадь, где теперь обелиск—из Темпля привезли полного бледнолицего человека, небритого несколько дней. Пивовар Сантерр, на просьбу этого человека побриться перед выходом, заметил: «Бритва вас ждет на площади». И о парике, белом, королевском парике, который хотел одеть человек, Сантерр тоже странно спросил: «Зачем лишним голову отягощать». Так с простыми темными волосами, прямыми как солома, расчесанными на косой ряд в сопровождении Сантерра и священника Энджеворта прибыл этот человек на свою площадь.

У гильотины палач Самсон и его помощник стали уговаривать прибывшего добровольно дать связать себе руки. Человек не счел для себя возможным даже разговаривать с Самсоном — человек любил Антуанетту и помнил ее заветы: презирать «тьер-эта» — поэтому он

обратился к Энджеворту. Священник тоже посоветовал дать связать себе руки. И человек согласился. В 10 часов 15 минут человек сделал несколько шагов по ступенькам к эшафоту. Потом приостановился и сказал тому же Энджеворту: «пусть моя кровь спаяет счастье Франции». Энджеворт что-то стал отвечать ему, но тут бешено забили барабаны. Человек взошел на эшафот и круглыми светло-голубыми глазами обвел толпу. Все видели, как он шевелил губами, говоря какие-то слова, которых из-за барабанного боя никто не слышал. Сантерр сзади ласково подтолкнул говорившего в спину и на ухо просил его наклонить голову точь-в-точь, как это делают парикмахеры, когда стригут волосы или делают прическу. Тот послушался. Толпа увидела пробор толстой головы, когда она просунулась в пасть однозубой гильотины. Через секунду вместо пробора головы толпа увидела уже серое лезвие машины, что закрыло обезглавленный труп.

Сантерр провозгласил народу, какой это гражданин был казнен: имя его Людовик, фамилия Капет, профессия—король. В толпе пронзительно вскрикнула и упала без чувств мадам Роллан.

Ночью, когда с площади все ушли и останки последнего короля были снесены туда, где находят приют себе все живые существа — в землю, молодой парень в ситцевых синих штанах, в красном колпаке, с ружьем за спиной, взгромоздился на лестницу у стены дворца и приклеил на ней бумажную надпись:

«Площадь Революции».

А старую надпись «Площадь Людовика XVI» никак не мог отскоблить от стены: она была выбита в камне.

В ту же ночь мадам Роллан родила преждевременно мальчика. У него был совсем отцовский подбородок; с ямкой и немного вздернутый, как у озорных и обидчивых, но не злых детей. Семнадцатилетним юношей, он вступил волонтером в армию Наполеона. По месту своего рождения, он приобрел фамилию де Сан-Клу. С Наполеоном де Сан-Клу ходил и в далекую Россию.

Ветер очень скор унес надпись фригийца с площади, где была гильотина. И из камней дворца смотрела все время старая надпись: «Площадь Людовика XVI».

Было неудобно от этой надписи и вот над ней прибили эмалированную дощечку с умиротворяющей мыслью: «Площадь Согласия»...

Так перебирая и свое и своей страны прошлое, Готард и не заметил, как под'ехал к Версальскому дворцу. Выйдя из машины, Готард на минуту приостановился у каменных изваяний вельмож, что полукругом стояли при входе во двор. Пройдя правый проезд дворца, Готард очутился на широком просторе парка. Вдали как ртуть блестел спокойный пруд. За ним синеватый туман, за туманом—даль. В парке Готард остановился, чтобы прислушаться к своему дыханию. Нет: это не сердце, это земля дрожит. Чьи-то шаги, кто-то бежит. Не королевское ли привидение? Не каменные ли вельможи вдруг ожили и начали бег на месте? Нет, это его собственное сердце! Ан нет: все-таки ясно,

что кто-то бежит по аллее. Вот ближе... ближе. На фоне сине-черного неба Готард увидел силуэт девушки. Она бежала. Легкое серое пальто ее расстегнулось.

Девушка не обратила внимания на Готарда, миновала его. Но потом вдруг обернулась:

— Спасите меня!

Готард разглядел, что она бледна, что у нее большие темные глаза, что в них беспокойный блеск. Готард не успел еще ответить, как девушка схватила его за правую руку, обдавая его подбородок и шею жарким прерывистым дыханием, повлекла к выходу.

— Спасите: я опять его увидела!

— Кого?

— Черного человека! Идемте же, идемте же скорее: он может увидеть нас.

Когда они вышли из парка, она сказала:

— Благодарю вас! До свиданья. Простите: теперь я вне опасности. Черный человек не только зверь, но и трус: он дальше не посмеет.

— Что же было с вами?..

— Вы чужой! не поймете. Вот там, где жили короли, теперь бродят негры из Африки. До свиданья..

— Жаль...

По лицу девушки из-под вуали испуга и беспокойства, тающего как дым, скользнула бледная, неверная, трепетная улыбка, как последняя капля росы на позднем рассвете.

Готард смотрел ей прямо в глаза. Свет фонаря освещал ее. Готард вдруг воскликнул:

— Да ведь не я, а вы, вы мой спаситель: помните, когда вы меня спасли...

Девушка удивленно расширила глаза.

— Разве вы не помните?—торопливо говорил Готард.—Тогда, на набережной Сены, у парламента, во время демонстрации рабочих, когда толпа готова была меня растерзать. Тогда вы, как ангел крылом, вместо щита встали между мной и...

Девушка вдруг рассмеялась. Готарду это показалось резким и неприятным.

— Так вот оно что, — весело заговорила девушка, — неужели я так похожа на ту?! Это была не я, — меня зовут Эвелина, — а моя сестра, которую зовут Соланж: мы с ней близнецы. Да, да, помню, она рассказывала мне тогда про одного неразумного министра.. Так это вы... вот что! Не правда ли, она странная девушка?!

— Чем же?

— Она убеждена, что явилась в этот мир непременно для спасения кого-то или для совершения великого дела. Она всюду ищет великое. Посещает революционные собрания... Она странная.

— Вовсе нет!

— Вы готовы уже и возражать мне. Вам она понравилась? Напрасно: ее все равно теперь здесь нет. Она вне пределов досягаемости...

Девушка вдруг оборвала свою речь: ей показалось странным то, что она ему говорит так. Готарду тоже отчего-то сделалось неловко... Он осторожно спросил ее, не зайдет ли она с ним в кафе, чтоб отдохнуть от темноты и страхов в королевском парке.

При свете, за столом кафе Готард рассмотрел ее глаза. В них был особенный, мутный свет. Такие глаза бывают у тех, у кого жизнь, как хорошая и грубая прачка, всю душу вымыла, выстирала и жестоко отжала. Такие люди много передумали, перемучились не сказанными никому муками, видели много грубого и самое грубое что есть — смерть, прияли это все, как непреложное, и пошли дальше, прикованные к жизни мелкими заботами, словно пьяница к кабаку. Вот почему глаза ее стали полинявшими и оттого как-будто даже бесстыдными. Посреди головы девушки шел пробор гладко расчесанных черных волос, которые, завернутые по бокам ровными кругами, закрывали ей уши... Прическа немного детская. И Готарду даже захотелось поцеловать ее по-отечески в ее покорное темя.

— Скажите,—спросил он,—почему все-таки давеча вы назвали меня своим спасителем?

Глаза девушки неподвижно остановились на одном месте. Так трепещущие, бархатные крылья бабочки вдруг застывают, как только на головку ее упадет капля смертоносного эфира. Помолчав, девушка начала:

— Африканец, человек полудикий. Сгоревший под солнцем. Кто он—не знаю. Но у него в одной руке всегда много денег, а в другой— жестокая суковатая палка... На бульваре «дез Итальян»... На... бульваре, около кафе «Англетерр», он встретил меня, т.-е. поймал, вернее. Солнце уже скрылось за церковью «Святого сердца», что на Мон-мартрском холме как на Голгофе. Темнело. И в руках его была суковатая трость. Он, впрочем, ее прятал от меня за спину. Палка торчала как хвост. Я подумала, что это шимпанзе, напялившее на себя европейское платье, но не уничтожившая ничем своего скотского запаха. И руки его были длинные и сильные. Я рассмеялась, а он схватил меня и втиснул в закрытое авто. Мне в уши вместе с моторным шумом полилась бессвязная ломаная французская речь под аккомпанемент лягганья зубов... В углу губ его виднелась пена. Пять черных пальцев африканских подхватили мое лицо снизу с подбородка и сжали так, что рот я не могла закрыть, не могла двинуть нижней челюстью: она была в клещах его рук... Довольно или продолжать?

— А что он с вами сделал?

— Ничего. Он говорил мне, что повезет в высокий дом, что там на балконе под самым чистым небом он научит африканской любви. Что это самое прекрасное, чего в Европе не знают... Но на счастье мое мы не доехали до этого сказочного дома: автомобиль его поломался.

Когда мы остановились, африканец вскрикнул: «А, чорт, Европа лопнула». Пальцы его разжались на моем лице. Я вынырнула и побежала. Он догонять не посмел... А вот сегодня, гуляя здесь в парке, я опять встретила с ним. И если бы не вы, не вы, я не знаю, что было бы. Господин министр, как много в нашей стране черных людей.

— Вы любите Францию?

— Люблю, как светлую и свою, свою теплую комнату.

— Вот, вот, что правда, то правда, — воодушевился Готард. — Франция одна большая квартира: в ней можно постоянно ходить в халате и туфлях. Когда мы наряжаемся во фраки, жакеты, смокинги, мне кажется это игрой детей во «всамделишную жизнь». Мне многое кажется игрой: можно играть в войну, можно играть в мир, можно играть... впрочем, всяко можно играть. Но лишь одна святая и чистая по-детски любовь к уютной Франции остается делом серьезным и постоянным. Сказать вам по правде, многие считают меня изменником социализму. И пусть. А я-то ведь знаю, что себе, себе самому я никогда не изменял. Я люблю только свою страну, ее борьбу, ее победы, ее социализм... Эх, Эвелина, если бы вы поняли... Дайте руки!

Готард долго и много восхищенно говорил. Слово пред ним сидела не девушка, спасшаяся от черного человека, а вся Франция, спасшаяся от кровавой беды.

Версальский мир. Договор с англичанами на нефть в Сан-Ремо. Конец антисоветской кампании. Рурская оккупация. Все это, казалось Готарду, спасло Францию от игры в войну. Немного неясны были только отношения с Нью-Йорком и совсем неясны — с Москвой. К Нью-Йорку франк был повернут своей дебетовой стороной. К Москве — кредитной. У французских финансов были свой орел и своя решка... Французские банки жили игрой в орлянку: выпадет решка — расшаркивайся перед Нью-Йорком, уверяй, что Рур и репарации и, может быть, зелененькие русские обязательства покроют американские проценты. Выпадет орел: слушай — внимательно слушай воркотню Москвы! На нее, собственно, можно было бы плюнуть — и на нее, и на ее пространство, и на ее советскую власть, раскинувшуюся на тысячи верст. Но вот беда: в этой, развалившейся на двух частях света, стране есть нефть... По договору в Сан-Ремо эта нефть учтена. «Но как уцепить ее новыми, новыми методами?» — шептали вокруг Готарда его приятели. «Да, да, — подтверждал Готард, — если военные методы не удались, то нужны другие...» — несмело намекнул Готард. Мутными, оловянными тяжелыми глазами посмотрел на него один из его приятелей. Снял пушинку с левого рукава — он был аккуратен — и, сделав глаза маленькими, чтобы острее видеть, сказал: «Вы так думаете? Теперь, после военных методов, нужно перейти к другим, на которых я настаивал еще в первое время революции. Это сложная комбинация таких воздействий, которые бескровно и без значительных потрясений способны подорвать

правительство Кремля». Собеседник стал развивать свое предложение. Аргументировал анализом положения, создавшегося в России. Он утверждал, что революция натолкнулась на психологические, а не на материальные препятствия. Всякая революция, чтобы победить, создает такие лозунги, которые практически невыполнимы, и чем менее они выполнимы, чем более они фантастичны, тем притягательнее для невежественной и голодной массы, которая их подхватывает, идет за ними, побеждает или, вернее, возводит к власти тех, кто льстил ей несбыточными лозунгами и оставляет их у власти в дурацком положении. Некоторое время такая власть с грехом пополам еще бывает в состоянии платить по своим векселям-прокламациям, но чем дальше, тем это становится труднее. Таким образом, всякая революция, — возьмите наших Робеспьеров! — восклицал он, — вырабатывает себе противоядие, и мы должны теперь лишь подхватить этот процесс.

Приятель Готарда вспомнил практику Питта во время французской революции и утверждал, что слухи, пускаемые по стране и подрывающие доверие к правительству, есть сила первого сорта.

Победившая Франция. Цифры, указывающие количество денег, готовых к услугам Готарда. Эвелина, ставшая для него источником чудесных наслаждений, — вся жизнь потекла такая полная, красочная, что ликование в сердце билось до краев.

— Откуда это следует?—сказал он однажды Эвелине,—что если люди до меня умирали, то непременно и я должен последовать их примеру!?

— Разве ты боишься смерти?—спросила его Эвелина.

— Я просто... не знаком с ней. А ты?

— Я... она, кажется, однажды протягивала мне руку для знакомства. И посредником готов был стать черный человек с суковатой палкой в лиловых руках, с лошадиной пеной около рта и с запахом рома и пота...

Готард зажал ей рот поцелуем.

Готард ничего не хотел слышать, кроме прекрасного. Он ничего не хотел ощущать кроме нее.

Все нервы-струны играли в нем божественную симфонию. Нервы-струны так тонко звучали, так красиво, что миг, определенный ему для жизни, Готард принял за вечность. Он сказал себе: нет больше смерти! Нет ее!

Для Готарда больше не существовало завтра. Все было — одно сплошное сегодня.

Разве, в самом деле, кто-нибудь ищет выхода от счастья! Разве для счастья всякое завтра не риск?

14 июля был обычный парад на Пляс д'Этуаль.

Эвелина Болье поднялась высоко, высоко, на Триумфальную арку. Оттуда лучше можно было видеть, как циркулирует кровь в сердце Франции. Кровь — народ. Париж — сердце. Франция — женщина. Она разметалась небрежно по земле. Одной стороной она прильнула к вымени своей старой матери Европы, к Альпам, а другой упала в Атлантический океан, как на руки отца, и купает в его седых волнах, как в бороде, свою высокую грудь: Бретань.

Готард не любил праздника 14 июля. Не потому, что считал себя противником давно прошедшей революции, а потому, что ему казалось, не по себе праздновать тот день, когда было пролито много крови вовсе не во имя того, чем стала теперь Франция. Революция — думал Готард — есть геройство. Геройство чуждо цели. Оно — категория эстетическая. Люди, практические как муравьи, находят в революции политический или экономический смысл. Но на то они и муравьи. А Готард — нет. Для него революция — поэма, черченая кровью по мостовым. Кантата, спетая воем пушек. Картина, плакат, карикатура, нарисованная любовью, пафосом и ненавистью. Игра жонглера ножом гильотины. Трагедия, в которой были только артисты и совсем не было публики.

Вот отчего не только праздник, но и толстые фолианты книг, пухлые тетради, громкие речи, которые стремились вперебой приписать революции какой-то толк, смысл, мораль — были ему ненавистны. Но, как эстет, Готард был на стороне прошедшей революции, как можно быть на стороне комедий Мольера.

Однако, экс оффицио, Готард должен был присутствовать на параде. Он стоял внизу, в рядах правительства... Перед ним проходили церемониальным маршем войска.

Указывая на массы народа, среди которого кое-где слышались свистки по адресу правительства, министр с оловянными глазами обратился к Готарду:

— Смотрите, какая у нас демократия, а вы, социалисты, все нападаете на нас.

— Видите ли? — ответил Готард, — нападать на правительство — это просто хороший тон, если хотите — избирательный. Это совсем не худо для авторитета самого правительства.

— Ага. Но публично этого вы не признали бы...

— О... разумеется, это только между нами!

Опираясь о барьер на вершине Триумфальной арки, Эвелина все ниже и ниже наклонялась, чтоб лучше видеть лавину народа и войск, протекавшую внизу по земле. За спиной Эвелины стоял человек с лицом обезьяны, густо поросший кудрявой шерстью, с желтыми белками глаз, пронизанными тоненькими кровяными жилками. Руки его были слишком длинные, черные и волосатые, а ладони рук — лиловые и сморщен-

ные. В одной руке он держал пару лайковых и таких же лиловых, как его ладони, перчаток, а в другой — суковатую трость. Палка не гармонировала с его небольшим ростом и сгорбленной фигурой. За то она придавала ему вид настоящего первобытного человека.

На левом ухе своем Эвелина почувствовала жаркое дыхание, смешанное с запахом чего-то нехорошего, как в цирковых конюшнях или бараньих загонах: запах скотского пота. Если бы она оглянулась, то увидела бы, как на нее смотрели, готовые лопнуть от налившейся крови, глаза мулата. Мулат тихо вращал палку в своей руке.

— Мне кажется, вы имеете достаточно места! — сердито сказала она, не оглядываясь на него.

— Мне тоже это кажется, — возразил тот, странно лязгая зубами.

Опять Эвелина ощутила дыхание на кончике левого уха, и опять неприятный запах. Она переменила бы свое место, но публика стояла плечо в плечо. Все же Эвелина попробовала двинуться, но почувствовала, как ее обе ноги снизу у ступней об'яты и сжаты чьими-то сильными, косолапыми ступнями, цепкими как руки.

Эвелина, блистая гневом, оглянулась на обезьянье лицо. Мулат, легонько щелкая зубами, смотрел ей в глаза... И вертел в лиловых руках суковатую палку. Эвелина узнала черного человека.

Существо обезьяньего облика еще раз скрипнуло зубами. Сначала бросило в воздух, вниз, на головы текущего народа и солдат лихим размахом на отмашь суковатую палку, а потом...

В тот же вечер перед начальником тайной полиции стояли две дамы и молодой человек — все с бесцветными честными лицами и тем наивным выражением в глазах, какое бывает у неподкупных свидетелей истинно думающих, что яснее всех человеческие поступки видны Фемиде, потому что у нее завязаны глаза. Такие свидетели всегда ждут торжества правды над кривдою. Две дамы и молодой человек со степенным достоинством людей, живущих на свои сбережения, — результат их самоограничения и воздержания, утверждали, что они собственными глазами видели, как полунегр ловко схватил мадемуазель немного пониже талии и быстрым движением пустил ее через барьер, как футбольный мяч.

Начальник тайной полиции ничуть не был похож на Фемиду: глаза его не были завязаны. Он, спокойно приняв показания, вежливо и убедительно ответил:

— Это так возмутительно!.. Так жестоко! Мы примем ваши показания во внимание и расследуем это дело и достойно накажем виновных!

Готард все дни до похорон провел не дома, а в гостинице «Кампбель» — недалеко от Пляс д'Этуаль. Пребывание свое там он держал в тайне.

Потом, когда он возвратился в свою квартиру, спросил у горничной:

— Мадемуазель Болье не приходила?

Горничная несколько притворно смахнула кончиком кружевного фартука слезу:

— Ах, господин, зачем шутки: разве вы не знаете где она?

— Знаю, знаю: она в Тунисе.

— Она уме...

— Молчи! — Готард зажал горничной рот рукой. — Молчи: раз хозяин тебе говорит, что она в Тунисе, значит в Тунисе... А если хотите в этом убедиться, покорнейше прошу зайти ко мне через полчаса.

Ошарашенная горничная убежала в кухню и там рассказывала кухарке об опасном положении ума своего хозяина.

Через полчаса горничная услышала звонок из кабинета.

Господин ей вручил заказное письмо с адресом:

«Мадмуазель Эвелине Болье.

2, Улица Гредень,

г. Тунис (Африка Северная)».

И опять, как прежде, уносился Готард по вечерам в Версаль.

И, как прежде, всегда всякий такой вечер носились чайки с розоватыми крыльями...

Вот застава, через которую вошел в Париж генерал Галифе, чтобы пролить кровь коммунаров... Вот крутая гора Сан-Клу... лесистое плоскогорье...

Все то же. Только нежная осень сделала Версальский парк чуть-чуть бледным и заброшенным. Но еще сочная зеленая туя и листья других кустов издавали прелый крепкий запах. Земля дышала сыростью. Этот дух земной щекотал ноздри, трогал нервы. Вызывал жажду куда-то итти, что-то делать, совершать такое яркое, свободное, большое или вылиться музыкой в неподвижно-хрустальном воздухе... В Версальском пруде плавали лебеди, и ни один из них, как в сказке, не превращался в девушку. А для этого парка, для этой осени так нужно было бы красивое чудо!..

Влево, где деревья жались друг к другу как путники от вечернего холода, или от того, что онемели и задумались, или от того, что захотели вместе творить вечернюю молитву, Готарду показалось что-то тонкое и белое, как тень. И тотчас же исчезло.

— Вы торопитесь? — бросил Готард в темноту и простер туда руки, раздвигая кусты.

Ему никто не ответил, потому что не было никого. Готард сам себе ответил:

— Да.

— Можно и мне торопиться с вами: один я не умею, — сказал Готард.

И опять сам себе ответил:

— Можно.

Поспешно торопясь, он нетерпеливо раздвигал ветви деревьев и шел. Шел в чашу парка. Шел до тех пор, пока не вышел с противоположной стороны парка.

Какой волшебный парк Версаль!

На пути в Париж, качаясь в авто и ударяясь то-и-дело затылком в мягкую спинку сиденья, Готард как прежде думал:

«Есть разные способы смерти... Впрочем, нет: смерть одна!».

От упрямого сознания того, что Эвелина все-таки жива, что он, следовательно, не один, Готард получил возможность не только продолжать свою работу, но и продолжать ее с удвоенной энергией. Он первый собрал вокруг себя группу тех министриабельных людей, которые стали осторожно, сначала в узкой прессе, а потом в разговорах, подчеркивать опасность Англии и в особенности опасность, вытекающую из нефтяного соглашения... Многие эти люди, опасаясь Англии, потирали руки, говоря об Америке. Но Готард не питал больших надежд на установление прочно-хороших отношений и со страной, что лежит за океаном. Нет, Готард все чаще и все смелее проводил ту мысль, что Франции следует сделать все возможное, чтобы начать свою самостоятельную политику. Он утверждал, что пора обратить более серьезное и энергичное внимание на то огромное пространство, на ту северную, заселенную Сахару, которая раньше была известна под варяжским именем «Россия», а теперь благодаря восстаниям, кровавой борьбе партий за власть, войне со своими прежними союзниками и кредиторами — эта страна стала обозначаться какими-то инициалами.

Противником «восточной ориентации» Готарда был все тот же человек с оловянными тяжелыми глазами.

— Стоит ли ориентироваться на «обреченных»? — возражал он Готарду.

— Для меня ясно одно, — утверждал Готард, — что в России, какими бы инициалами она теперь ни обозначалась, можно делать только и только российскую политику... Эта политика определяется крестьянином. Правительство Кремля тем сильнее, чем последовательнее оно будет опираться на свою новую буржуазию.

— Да, — возражал оппонент, — но, опираясь на нее, пока что оно превосходно и у нас и в других европейских странах ведет коммунистическую пропаганду, и нельзя сказать, чтобы без успеха.

— Но какой эффект этой пропаганды? Слушайте, я самым серьезным образом обращаю ваше внимание на то, что эта пропаганда толкает в объятия буржуазии все социалистические элементы. Последние, стано-

вья иногда поневоле противниками коммунистов, тем самым об'ективно становятся горячими защитниками буржуазных интересов. А коммунисты? Они постепенно изолируются, и вы отлично знаете, что у нас, например, во Франции коммунисты занимают положение приблизительно такое же, как евреи в прежней России, т.-е. только ленивый их не лягает, и на отношении к ним различные группы и партии приобретают свой социальный вес, на отношении к ним, т.-е. на степени неприязни к ним. Впрочем, и у нас есть чудачки, боящиеся пропаганды коммунистов. Есть чудачки...

Тут собеседник напомнил Готарду о той кампании, которую он, собеседник, теперь организует для развенчания авторитета правительства Кремля в глазах массы.

Готард беспомощно развел руками, подчеркивая безнадежность политико - теоретического спора с таким твердолобым оппонентом, но тут же в качестве последнего возражения добавил:

— Ваш метод не дал никакого эффекта, если не считать увеличения расходов по секретному параграфу бюджета. А тем временём подмываемое вами правительство советов идет быстрыми шагами в объятия Германии. Неужели вас ничему не научил Рапалло?

— Рапалло?

— Да, Рапалло!--Готард опять загорелся жаждой доказать свое.— Господа, — обратился он к другим присутствовавшим при этом разговоре. — Господа... Мосье, — Готард назвал одного по имени, — вы, например, помните, как... вы были свидетелями того? Вы помните, как, узнав о том, что подписание договора между немцами и русскими вопрос часов, я вошел к вам в кабинет и спросил, знаете ли вы об этом?.. Вы ответили мне: «О, если это состоится, то это будет первый шаг на пути к миру, а ведь задача настоящей конференции не что иное, как мир». Ни я, ни другой кто не знали, что вам ответить. Это произошло в 12 часов дня. В час был подписан договор. Тогда вы вбежали ко мне в комнату и вскричали: «Это безобразия, разбой, кошмар: Чичерин и Вирт подписали договор! Конференция сорвана! Карта Ллойд-Джорджа бита. Мы больше бессильны гарантировать мир!». И по-моему вы были правы не в первый раз, а во второй. Не правда ли, мон вье?

Человек, к которому обращался Готард, и без того сутулый, сделался еще сутулее, отвесил нижнюю губу — он был сластена, — попрочнее уперся руками о коленки, расставил пошире ноги, как тумбы, облаченные в широкие брюки, и задумчиво проговорил:

— Я уже давно понял, что талантливость политики Лондона постоянно выступает в форме какого-нибудь грандиозного предательства.

— Вот я и предлагаю...

— Или вы предлагаете признать то правительство, с которым мы боремся.

— Ну, знаете ли... мало ли с кем мы боремся! Разверните-ка нашу историю. А меня вовсе не интересует, какое в России правительство. Меня не интересуют его принципы и намерения. Меня интересует то, что это государство занимает данное географическое положение, в силу которого эта страна — наш желательный союзник. Разве мы, французы, мы, республиканцы и демократы, были хоть сколько-нибудь идеологами застеночного самодержавного царского правительства? Однако разве кто-нибудь, даже из нас, из среды социалистов, возражал против союза с царским правительством? Мы объединились с деспотом. Отчего же нельзя объединиться на известной платформе с коммунистическим правительством? Впрочем, крикуны и тогда кричали: «Разве можно демократической республике быть союзницей с самодержавным правительством?». Но мы их считали крикунами. А вас, которые не мыслят себе возможность говорить и сговориться с коммунистами, как вас прикажете называть?

— Политиками...

— ... вчерашнего дня,—уязвил Готард.

Французы — любители споров, колких слов и остроумия. И поэтому очень чувствительны к той грани, когда резкость начинает переходить в грубость, острота — в злословие, колкость — в удар и спор—в ссору. Готард почувствовал, что вот он на этой самой границе. Оппонент его, серые глаза которого от неприязни к Готарду помутнели, почувствовал то же самое. Они поспешили кончить свой спор. Кстати же и почва, которую они должны были прощупать взаимно для предстоящего большого обсуждения русского вопроса, была прозондирована вполне основательно.

Напряженная политическая работа, как занимательная партия игры в шахматы, отрезвляла настроение Готарда. Он стал реже писать письма в Тунис. Тем более, что никакого ответа оттуда не получал. Теперь он начал в изобилии развешивать по стенам портреты Эвелины. Эти портреты, вытеснившие многие его карикатуры, шептали Готарду о том, что где-то все-таки живет она. Глядя на портреты или думая о ней, Готард убеждал себя в том, что все-таки она придет, непременно придет к нему. Он ее увидит. Он будет дышать ее атмосферой. Он услышит ее голос. Он просто с ней сейчас в разлуке. Почему же? О, здесь, вероятно, есть какая-то ошибка. Разлука с Эвелиной—результат ошибки в чем-то. Если это ошибка, то ее надо исправить. Всякую ошибку следует исправлять. Надо попросту начать поиски пропавшей, но где-то живущей жены. Надо разрешить это как математическую задачу.

Надо найти неизвестный икс.

Но как это сделать? Обратиться в полицию за ее адресом — значит раскрыть свое самое сокровенное. Готард помнил где-то слышанное им правило жизни: «не держи душу на распахку — простудишься».

Осенью иногда в Париже бывают лиловые сумерки. Не туман, нет, и не сухая пыль и не морозящий дождичек—не каждое из этого в отдельности заполняет в такие сумерки Париж, а все они вместе и делают сумерки лиловыми и густыми, как кисель.

Однажды в такие лиловые сумерки так раз'ело мостовую, что у Гар Сан-Лазар такси, в котором ехала балерина, провалилось в подземный туннель, где пролетают ярко-освещенные метро. Подземное движение на этой линии на время прекратилось. Провалившаяся на площади мостовая чернела как язва в гниющем носе. А то, что было шоффером и балериной, было сожжено в крематории.

В такие сырые промозглые лиловые сумерки Готард думал об Африке, потому что там сухо и тепло.

Он посмотрел в окно. Лиловые сумерки сгустились. Наступила ночная темнота, прорезанная фонарями, как маяками.

Готард хотел было снова поехать к влиятельному французскому журналисту, но, посмотрев на часы, вспомнил, что поздно вечером к нему должен был прибыть начальник одного важного секретного департамента.

Начальник, действительно, вскоре стоял уже на пороге и глубоким поклоном приветствовал Готарда.

Закончив выслушивание очередного доклада по текущим делам, Готард спросил:

— Да, чтоб не забыть... Вы не знаете, где живет мадмуазель Болье?

Начальник секретного департамента был старик. По лысой голове его, которая торчала теменем вверх как кокон, по вылезшей, как у старых-старых крыс, шерсти в тех местах, где подобает быть усам и бороде, по прыщаво красным буграм, похожим на кочки высохшего болота, по орлиному носу с хищно и вынюхивательно вздернутыми ноздрями, по немигающим, неслезящимся и ничего не выражающим глазам, по мумийной сухости шеи, по скрюченным с редко расставленными пальцами рукам, похожим на ноги орла, не трудно было догадаться, что этот человек с жизнью своей и чужой умел обращаться как с добычей: он умел выворачивать ее и клевать где надо.

— Ваша супруга или невеста не имеет в настоящее время адреса. А вот, если вы изволите спрашивать про ее сестру, близнеца, Соланж Болье... то...

— Ммм да, про нее.

— Она в России, в Москве.

— Давно?

— Не особенно: с тех пор, как эта страна перестала быть нашей союзницей.

— Зачем же она уехала?

— Есть люди, которые полагают, что счастье их там, где нет их. Вам разыскать Болье?

— А это возможно?

— Весь смысл нашего пребывания на земле — превращать невозможное в возможное.

— Вот как?!

— Да. У меня есть один человек, специалист по международному сыску. Африканец.

— Как, почему африканец?

— Так, они лучше: они презирают нас, нашу культуру, нашу Европу, и вот, думая, что Европа должна погибнуть, шпионят, переходя со службы одной стране в другую. Продувной народ, но ловкий и совершенно незаменимый. Как хорошая лошадь: покуда шпоры держишь, — идет, отпустил, — сбросила тебя в овраг.

— Что он делает у вас в России?

— Он не в России, он — здесь. Недавно он переслал кучу документов, писем и всякой литературы в Россию, как бы от немецких монархистов.

— Русским монархистам?

— Да, и им. Но, главным образом, самим коммунистам или тем, кому они доверяют.

— И потом?

— А потом они находят в своей среде врагов и все такое прочее.

— Но при чем же здесь Болье?

— Ах, это просто случай: она связана узами любви с одним русским, а с ним связан один русский, как говорят, офицер. Человек же, работающий там и связанный с африканцем, именно через него, через офицера, и проводит многие операции. Так что, как видите, если бы вам понадобилась Болье, то мы бы без затруднений нашли к ней ход. В ожидании ваших приказаний... — старик стал как-то несколько подчеркнуто и потому нахально, как на плохой сцене, раскланиваться и подвигаться к прихожей.

Готард подал ему руку, но и тут же отвернулся от него, хотя руки и не выпускал.

— Нет. Благодарю вас: мне ничего, ничего не нужно. Ваш африканец мне не нужен.

Старик натягивал на свои плечи шелком шуршащее пальто.

— А вы обязаны забыть, что я вас спрашивал о Болье, — сказал Готард.

— О, естественно: забывать—это моя наиглавнейшая обязанность.

(Окончание следует.)

Два стихотворения

П. РАДИМОВ

1. Утро

Синеет дым поутру над селом,
Блестит роса на пажитях зеленых.
Уж метит осень пламенным крестом
Где золотом, где киноварью клены.

За городьбой рябина в бусах вся,
Нарядная, как девка в хороводе.
За нею поле желтое овса,
Подсохший лен и тихая погода.

Все слышно: стук, и лай, и свист,
Мычанье стада, окрик петушиный,
И как ветла роняет узкий лист
И хмель хрустящий сохнет на тычине.

II. Ночь на Волге

По небу звезды брошены горстями,
Внизу реки заолодела сталь.
Кой-где струи еще сверкнет хрусталь,
Да баканы расцвечены огнями.

У берегов недвижимыми тенями
Плоты, как лента, протянулись вдаль.
Неведомое слышится «отчаль!».
И снова ночь с горящими очами.

Она об'емлет все: лесной обрыв,
Поникшие шатры прибрежных ив
И тлеющий костер у кошевой,

Где вахтенный, незнаемый старик,
На бревна темной головой поник
И ровно дышит влагою речной.

На крови

Главы из романа „1905 год“¹⁾

С. МСТИСЛАВСКИЙ

4. Собаки

На паперти мороз, звезды, огни сквозь деревья.

— Ну, здравствуйте,—говорит Муся. Голос спокойный и ровный.—Михаил, из Питера? Что так поздно?

Искрится под ногою, под быстрым шагом белый, нетронутый снег. Мы выходим за ограду, вниз по откосу.

— Вы меня как нашли?

— Так, как вы видели.

— Я же не о том. С какой явки?

— От Виталия.

Кивнула на ходу.

— Как же это он вас так одного отпустил?

— Я не один был. С Петро.

— Вот - вот. Где ж он остался?

— На Кудринской: убили.

Муся вскинула глаза резко.

— Петро убили? Вы видели сами?

— Видел сам. На нем нашли патроны и—бумаги.

В темноте зачернел, перегибом, мост*

— Кто идет?

— Свои. К Медведю в гости.

— Муся, никак?

— Она и есть. Эх вы проволоки напутали. Не перебраться.

— А ты сюда подайся. Тут у нас для своих переходик. Руку давай.

С баррикады тянулись крепкие, широкие ладони. Хряснула под ногой прогнившая доска.

— А ты легче, товарищ! Не разори фортецию.

¹⁾ См. „Новый Мир“, кн. 9.

За баррикадой—десятка два рабочих, с винтовками.

— Медведь где?

— У бань был. Там наши, слышь, фугас заплывали. А нет— так на Прохоровской, в столовке, в штабе...

Рабочий нахмурился и махнул головой.

— Со-ве-ща-ются, старшие-то! Это что же с тобой — комитетский, что ли?

— Нет, из Питера товарищ. На усиление штаба.

— Так, — крикнул рабочий. — Нам бы вот насчет стрелялок усилиться — это бы дело, совсем снаряду не стало. Патронов пять на ружье — больше не наскребешь.

— Несли, товарищи, к вам патроны, — да не довелось донести. Большой сегодня расход был?

— Сегодня? Нет. Мы и то говорим: что-то тихо в районе стало. То было — нет-нет, казачки под'едут — мы и постреляемся. Соскучить не давали. А ныне — хоть бы те кто: один поп по косогору бродит.

Дружинник, в железнодорожной фуражке, сплюнул.

— Поп, это не к добру.

— Почему не к добру? Суеверие. Поп в ограде — на манер козла на конюшне: домашняя животная. В городе-то как, товарищ Муся? Неужели правда — так-таки и подались?

— Нет, держатся,—быстро сказала Муся. — Нельзя не держаться. Что мы — одни на Россию! Поди — и по другим городам началось... Идемте, товарищ...

Синими сугробами — справа, слева — пустырь. Снегом ометенные деревья.

— Вы Пресню знаете?

— Нет, не бывал.

— Плохо. Как же вы будете ориентироваться в штабе? Разве вот что: обойдем, скореничко, район. В штаб поспеем. По дороге я расскажу, что нужно. У вас, до крайней меры, свое мнение будет об обороне. Штаб в Прохоровке все время... За ночь едва ли что будет.

— На Кудринской устанавливали артиллерию, когда я проходил. Она повела плечом.

— В городе — уже не осталось дружин. Разошлись или сюда оттянулись. Как вы думаете вообще — сможем ли мы продержаться?

— До чего продержаться, товарищ Муся?

— Пока выступит Питер, Тверь... остальные.

— Питер не выступит, Муся. Со мной, выехали на Волхов подрывники — попытаться мост взорвать — под гвардейскими эшелонами. Это все, что смог дать Питер. А Тверь... Из Твери утром пришли войска — значит, там безнадежно тихо.

Она быстро оглядела меня, чуть дрогнула губами — хотела что-то сказать — не сказала.

— Вот этой улицей пройдем. Тут вправо, за перекрестком — за-слон. От Грачевской фабрики. Чудесные ребята. Драгуны здесь четыре

раза пробовали прорываться: всякий раз отбивали, да как! — Я как раз случайно была, видела.

— Света на улицах нет?

Нет, зачем:—«осадное положение»—по ночам никто не ходит. Хотя можно, совсем безопасно: от каждого дома дежурят выборные от жильцов. Здесь, ведь, на Пресне, порядок установлен: как в настоящем рабочем государстве. И суд новый, и подоходный налог. И так чудесно выходит: тихо и спокойно. Окраина, ведь, а не поверите, — ни одного за эти дни грабежа.

— Мы пока ни одного дежурного не встретили.

— Разве? — Я не смотрела. Да, может быть — они во дворах или в доме: морозно.

Мы обогнули угол: черным перекрестком балок, досок, оглоблями вверх вздвинутых саней застыла в ночи баррикада. На шорох шагов нас не окликнул никто.

— Заснули грачевцы!—звонко крикнула Муся.

Никто не отозвался. Мы подошли ближе. Нет никого.

Муся оглядела морозные стекла соседних домов. Ни света. Ни знака. Плотно приперты ворота. По свежнему, напорошившемуся снежку — нет следов.

Она тряхнула головой и поднесла к лицу мохнатую, мягкую, чуть засеребренную инеем муфту.

— Выйдем на Большую Пресненскую.

Словно вымерла Пресня. Улица за улицей, в темный безглазый лабиринт свившийся клубок проулков, перекрестков, вздыбивших белые тротуары бугров.

Широким, ровным, снежным поясом вдвинулась в кругозор река. На том берегу — огни. Мы прислушались. Тихо.

Я посмотрел на Мусю. Строго смотрят серые потемнелые глаза из-под мягких бровей; на высоком лбу—прячется под надвинутую шапочку—едкая, тонкая морщинка.

Хоть бы один дозор!

Прошли берегом. Стали подниматься в гору.

До чего пусто...

— Я ничего не понимаю, — говорит Муся. — Если бы был приказ сняться, на Горбатом бы знали. Вернемтесь. Все равно так... без толку. На Прохоровской узнаем.

— Дойдем до верху: тут уж не далеко. Посмотрим.

От церкви на белой горе — далеко кругом видно. На всей Пресне — темно... Лишь кое-где — редко и робко, как светляки на могилах—мерцают прикрытые далекие огни. Огромный корпус Прохоровской мануфактуры чернеет под горой, точно в провале — цепью освещенных окон очерчен фасад по одному этажу: в остальных — темень. А за рекой — и к центру, за мостами, — в городском районе — сотнями настроженных глаз смотрят на нас огневые цепи.

Черной чертой обведена Пресня. Тишь над городом. Ночь.

За слободою, в заречьи, пронзительно и пугливо взлаяла собака. Отозвалась вторая, третья... В надрыв. — И жуткий собачий лай пошел, побежал, полосую, по всему берегу, от заставы.

— Муся.

— Молчите!..

Лай не смолкал, назойливый и надрывный. И вдруг, словно перекинувшись... он взвыл, захрипел, затрясся, на противоположь, от заставы — вправо, — и такой же полосой пополз, нестройным диким набатом, — от квартала в квартал, по черной черте — мимо нас, к городу, к мостам.

— Окружают!—сказал, в упор за нами, надтреснутый, сиплый голос.

Мы обернулись. На ступенях паперти, зябко поджимая тело в потертое ватное пальто, стоял полнощекый человек, в картузе, с нелепо замотанной какими-то тряпками шеей.

— Окружают, — повторил он. — По чужому и по многому, — лай-то... изволите слышать? Кольцом идет. В круг.

В самом деле: лай опоясал нас. Он то стихал, то разгорался, выбрасываясь к самой реке, упорный, неотвязный.

Человек в картузе протопал валенками по ступеням и подошел, щуря маленькие, запавшие меж толстых щек глаза. Бородка клином, рыжая с проседью. Он присмотрелся к Мусе и вздохнул.

— Извините, я бы спросить осмелился.

Брови Муси сдвинулись.

— Что вам?

— Вы, по обличью — извините, словно бы из товарищей... Не из Прохоровских ли, осмелюсь спросить?

— А вам что?

— Да вот-с... — Он повел вздрагивающей рукой в широкой варежке. — Окружают...

— Почем вы знаете?

— А собачки-с... Изволите слышать? Неукоснительно. Собачка, она зря ночью не гавкнет, вот уж нет... Всей слободой, и столь упорно. Движение идет, хотя и со скрытностью: будьте уверены. И по полукружью надлежит судить: окружение в цепь.

В глазах блеснул и спрятался огонек. Он помолчал. И прибавил — устало и растяжисто:

— Та-а-акс! Выходит: конец Пресне.

— А вам что, — тихо повторила Муся. Она, не отрываясь, смотрела за реку, на мерцающие огоньки слободы. Их становилось все больше, больше... Или чудится это?..

— Мне-с? — Он потупился и договорил, чуть слышно. — Жаль мне, вот что.

— Кого жалко?

— Вас жалко, барышня... да и рабочих всех. За зря пропадете. Деверь по вечеру пришел из города... рассказывал: прислана от царя большая воинская сила, с гвардии генералами, и сорок с ними пушек.

Муся быстро обернулась к нему лицом.

— Вздор! Никакой гвардии не пришло и прийти не могло. Под нею мост взорвали наши, на Волхове.

— Пришли, барышня, пришли, красавица. И с под Тулы, и из под Серпухова, и из Питера... Деверь сам видел, своими глазами... Сам с солдатами говорил. Гвардейские, говорит, солдаты, ядреные, Семеновские. По улицам, говорит, идут барабанным маршем, похваляются: сотрем, говорят, Пресню с лица земли, на семя не оставим, крамольную.

— Неправда это.

— Правда, красавица. Оттого и жаль у меня.

Торопливо и дробно, хлопущою треснул в морозной ночи сорванный, бесстройный залп немногих и гулких ружей. Над куполом дальней церкви огненным шнуром бросилась в небо ракета. И с шипом, толчками — близко от нас, из-под самого ската горы — рванулась вверх ей навстречу другая.

Муся соскочила с камня, на котором стояла.

— Идем, скорей.

Незнакомец заступил дорогу — широко и беспомощно растопырив руки.

— Не обессудьте, осмелюсь, на глупом слове. Не ходите. Ой, не ходи... Христа праведного ради... Умучают!

— Пустите...

— Как перед Христом... Ведь не люди, звери они... опричина... Деверь говорил: водкой их поят... для лютости. Кабы только убили... А то ведь надругаются как! Распластают белое тело... Грудки-то девичьи, чистые, лапищей...

— Замолчи, ты!

— Не замай, барин! Я по-хорошему, по-душевному. Не ходи, говорю... Ко мне идем, как бог свят укрою. Никто не найдет. Укрою и выведу...

Он толкся перед нами, срывался с голоса, то снимая двумя руками, то вновь одевая картуз.

Муся остановилась и протянула руку. Он сбросил варежки в снег и схватился за нее цепкими, крючковатыми пальцами.

— Спасибо.

— Укрою, как бог свят, — бормотал он, стараясь оттянуть ее назад, вверх, к паперти. Но она вырвала, усилием, руку.

— Спасибо. Нас ждут. Идем, товарищ Михаил.

Мимо него, она побежала вниз, по кривой ухабистой дорожке.

— Да что же это, — с отчаянием выкрикнул он и дернулся вдогонку. — Силом возьму, не пушу.

Я поймал его за плечо.

— Брось, сказано.

— Пу-сти! — прохрипел он, отступая в сугроб. — Ты что же это?..
Пусти... Варезки дай поднять.

Глаза, злые, косили. Следом за ним — я оглянулся на паперть. И только теперь заметил: за колоннами — черные, затаившиеся, прижатые к стене тени.

Я остановился на полускате. Уже далеко внизу стояла, дожидаясь, Муся.

— Иди, чего стала, стерва! — выкрикнул он, обивая о колено снег с варезек. — Иди — с любовником. Сорвалось, твое счастье. Попадись ты нам — без семеновцев дорогу-то нашли бы тебе под...

— Михаил!

Я не успел добежать. Черный метнулся от меня через дорогу, к намогильным синим буграм с диким криком:

— Ратуйте!

Я вынул маузер. Муся опять стояла рядом. Она дышала быстро и звонко. Тени закачались и растаяли в лунной полутьме.

— Не надо было этого, Михаил. Зачем?..

С холма вниз, надалеко — пусто. За рекой, попрежнему полукружьем — стлался остервенелый, стоголосый лай. По белому поясу, к слободе от нашего берега задвигались черные торопливые точки. Две... четыре... десять... Много.

Муся отвела глаза от реки — полукружьем, по черной черте и чуть улыбнулась...

— Кажется, и в самом деле — конец.

5. На черной черте

Медведь — плечистый, большеглазый — встретил нас на дворе Прохоровки. Совецание кончилось. Расходились.

— На чем порешили, Медведь?

Он пжжался.

— Зайдем на минутку: тут на дворе — не вполне способно. Только — живым манером: мне к дружине надо. Заждались ребята.

В столовой было пусто. Три женщины, подоткнув юбки, прибирали пол.

— К приему готовятся, — скривил губы Медведь. — Что ж, покороткому: решено прекратить оборону. Ни к чему. Хотели коммуны — вышла Коммуна: с маленькой буквы — на прописную. Почетно... Так тому и быть.

— А вот, — тихо сказала Муся. — Его прислали.

— Слышал уже. Как водится: к шапочному разбору. Боевик, надо полагать — из высоких специалистов? Верно? А где, позвольте вас спросить, вы были, когда вся Москва на баррикадах стояла, когда дружинников — хоть с каждого угла бери... Когда у нас — на одной Трех-

горной по семьсот человек на смену к баррикадам просилось. Тогда вас не было, специалистов! Мы тогда, как слепые щенки, носом в стенку тыкались... У нас подготовка какая, знаешь... По прейс-куранту оружейному курс оружия проходили, уличному бою — как бог вразумит. Вот и вразумил... Знали бы, как ударить — мокро бы было! Нет, разматывались по мелочам, дали очухаться. Теперь присылают... на похороны.

— Цекисты из Москвы только что вернулись — говорили, что здесь ничего не будет. Да и из Питера нельзя было раньше отлучаться — ждали там выступления.

— Ждали... — презрительно протянул Медведь. — Дождались? Выдали Москву. Питер! От нас — вот он один, от них полк с артиллерией: выходите, товарищ, на кулачки. Жив останусь — мы в партии грому наделаем: потянем к Иисусу. Сладкопевцы: «восстание, восстание». Ну, вот оно — восстание. Вторую неделю рабочие под ружьем — как шли, как дрались!.. былинку складывать, слышишь! — а они где, комитетские! Как до дела было — хорохорились. Клички насадили себе — от звука одного — оторопь: «Непобедимый», «Солнце»: не слышали? Были у нас такие... Закатились, Непобедимые до первого выстрела... только их и видели... Дай срок, сочтемся. И у большевиков — о том же: Евгений говорит — к партийному суду потяну. Разве так на восстание выходить можно? Нет. Вперед умнее будем. Столько крови порасплекали по России — и все задаром.

— Не задаром, Медведь.

— Задаром, говорю. Это, что «на крови взрастут новые поколения»? Слыхали! На французов оглянись. С 1871 года растут — сорок лет без малого, поколения — а одно другого сволочнее. То же и у нас будет, небось.

Он закрыл глаза и помолчал. Когда он опять открыл их — они смеялись.

— Ну, баста. Душу отвел, — теперь дело. Семеновцы прибыли, это — факт. У Горбатого моста — артиллерия. На Кудринской — батарея. Войска идут в обход. К утру мы будем в капкане. Драться, конечно, можно бы — да не с чем. Патроны — на исходе, народ — повымотался. На людях — одно дело; а сейчас — ясно. Пресня-то одна. Которые семейные — бабы за полы хватают: загубишь! Обыватель скалиться стал: смелеет, чует помощь. Ну, да и на фабриках, что греха таить, перелом: дружинники — так и эдак, еще держатся — а остальные... Слышно, к Мину парламентаров каких-то отправили с белым флагом... Эх, набил бы он им морду, Мин! Да нет: это ему на руку.

Он едко сощурился и зажал в кулак подбородок.

— Кончать надо... Так и порешили. Но — чтобы организованно: раньше рабочих на работу поставить, потом баррикады снять, оружие спрятать, кому укрываться нужно — уйти теперь же, пока ход есть — через Москва-реку... — да и за заставу можно.

Муся кивнула.

— Через реку уже идут. Мы видели.

Медведь стиснул зубы.

— Идут? Эти, стало быть, и приказа не дождались. Ведь решили — до понедельника.

— Спору не было?

— Нет. Я ж тебе говорю: дело — яснее ясного. Шабаш.

— А ты теперь куда, Медведь?

Медведь ослабился.

— Мне куда деться, я — меченый.

Он приподнял шапку и провел пальцем по проплешине на темени, — яркой, среди густых, курчавых волос. — Тут есть дружинка одна: не здешняя, — из города перешла, сборная. Вовсе без понятия, надо сказать, народ: порешили оружия не складывать, отходить с боем. Зря это — девять человек — это что за оборона: только разлютуют зря, миновцев-то. Так я — к ним.

— Ну, и мы с тобой.

— Зачем?

Муся рассмеялась.

— А с чем же он назад поедет?

.....
Дружину мы нашли в здании гимназии. Дом стоял нелепо: из окон прицельный огонь можно было вести только по улице, выходящей к зданию перпендикулярно фасаду. Подступы к дому ничем не прикрыты: подходи с любой стороны. Да и по размерам строения — держать его десятью-двенадцатью человеками — никак не возможно.

— Зачем такое место выбрали?

— А чем плохо? Помещение нежилое: никого не подведешь. А что подступы, вы говорите... Баррикады по той улице есть, еще с двух сторон поставим — вот оно и будет крепко. Тут одними партами полквартала загоришь.

— И ребятам облегчение. Не на чем будет... закону божью учиться.

— Нет, не дело.

Их было девять: семь рабочих, железнодорожник, студент-кавказец, в белой, лохматой папахе. Рабочие посмеивались над кавказцем, любовно.

— До чего лют до драки — у-у! одно слово Аммалат. А стрелять... семь дней с нами ходит — не научился. Как ни пальнет — нет удачи: только патрону перевод.

— Э, одним больше уьем, одним меньше — какой счет скажи, пожалуйста.

Патронов — штук двадцать на затвор: одни браунинги. Винтовок всего две, да у меня — маузер. С этим — много не наделаешь.

Медведь хмурится.

— Что ж, товарищ Михаил. По-вашему — отсель выбираться?

— Обязательно. Надо другое место подобрать: покрепче и чтобы обстрел был. Здесь — как в мышеловке: голыми руками возьмут. Все равно что — дуло в рот и щелкай.

— Ну, это дело не пройдет. Слушай, ребята! Навалятся они, надо думать, с мостов, с этой стороны. Посколь решение есть — не оборонять, пусть входят без боя. Нам отбиваться надо на ходу: чтобы видно было, что не из здешних. А то подведем. Предложение мое такое: с боем отходить к Камер-Коллежскому валу. Оттуда — в прорыв: либо на ломки — там близко: нырнем в случае чего, либо — в лес прямо.

Дружинники заворчали.

— На ходу какой бой. В дому держаться можно. А по улице — мигнуть не успеешь, расчешут. И от города отбиваться — расчета нет. В поле тебя голыми руками возьмут.

— Верно, — поддержал кавказец. — Уйдем из города — у меня билет пропадет.

— Что еще за билет?

— Какой бывает: железнодорожный! До Тифлиса брал. Домой на праздник еду. Поезд в Москве стал; что же мне в вагоне сидеть. Я с ними вот — и занялся. Завтра кончим: можно дальше ехать.

.....
Поспорили. И на самом деле: с браунингами на улице — неладно. Но Медведь настоял: и в конце концов — так ли, иначе ли — в сущности все равно. В конце концов, порешили: переночевать здесь, с рассветом продвинуться к черте и с нее отходить за город с боем. На ночь выставили часовых. Растопили печку, легли. Но не спали долго. Студент сидел под окном, поджав ноги, и вполголоса рассказывал соседям армянские загадки. Одну за одной.

— Много лошадей, посредине один человек, что такое?

И, не дожидаясь ответа, сам вздрагивал от сдержанного смеха.

— Карапет гулять пошел.

Медведь ворочался.

— Да ну вас! Вы бы о чем толковом. Губами зря шлепаете.

Но на следующем анекдоте — сам засмеялся, сбросил полушубок и сел.

— Чорт его знает: несуразный у нас народ какой-то, товарищ Михаил. Можно сказать: события, а он... Тут, знаете, в эти дни по городу корреспондентик иностранный путался, шустрый такой, все около баррикад. Француз, но по-русски чешет здорово, хотя и с пришепеткой. Мы было его заловили даже — думали не из шпиков ли. Оказался, однако, форменный корреспондент: оставили. Так вот с ним... Умора, ей-богу. На Садовой: били мы, с баррикады, по казакам, а он тут же вертится. Подошла пехота, мы баррикаду бросили, отходим. А с нами матросик был — тоже вот как Аммалат этот — приبلудший. И тоже лютой такой матрос. Отошли мы мало-мало, а он обернулся, и бегом опять назад на баррикаду. Влез, руку поднял. Корреспондентик — тут же за тумбочкой. Глазки горят. «Этот момент, говорит, исторический, я, говорит, оглашу через печать на весь мир слово этого безвестного героя». А матрос руку поднял — да как обложит гренадер тройной матерью... Аж дух заняло. Французик так и сел. Уж и потешались

мы над ним: ну, говорим, огласи на весь мир — несказуемое. У нас, братец ты мой, попросту. Без фасона. Да уймись ты там, Аммалат: Мусю разбудите, грохотальщики.

Угомонились, однако, только после второй смены: кавказец ушел на пост.

Предрассветной прозрачной просинью просветлели оконные стекла. Уже четко видны колеса телеги, осями вверх взброшенной на баррикаду, среди досок, мебели, столбов, хламу. Сторожевой дружинник зябко переступал по примятому снегу. — Будить?

Но будить не пришлось: от горда коротким взлаем ударил пушечный выстрел. Эхом отдался гул близкого шрапнельного разрыва. Второй удар... Третий.

Дружинники торопливо поднимались. Сторожевой, припав за баррикадой, водил дулом винтовки, словно нащупывая цель. Цель? Улица пуста.

Муся, быстрыми пальцами, расплетала на ночь в две косы сплетенные волосы.

Железнодорожник пожался у окна.

— А, может, все же здесь отсиживаться будем, товарищи?

— Э, лень ему по морозу.

Вышли. После комнатного, жаркого, устоявшегося людского тепла, — ледяным кажет вздрагивающий от выстрелов воздух. Пушки бьют по всей Пресненской окраине, по всей черной черте упорно и быстро, почти без перерывов. За два-три квартала от нас — тяжелым столбом подымается черный, клубистый пожарный дым.

— Прибавь шагу!.. Надо было выйти до свету.

Вперед, вниз по улице, к линии взрывов, бегом выдвигается дозор. Двое. Мы, остальные, вдесятером, вместе.

В редкие промежутки между выстрелами — дробь бесстройной торопливой ружейной стрельбы.

— От обсерватории, на слух.

— Там наших нет.

— А ты говорил — не будет обороны.

— И нет ее: миновцы палят.

— Что делают! Креста на них нет. Смотри-кась, и там занялось.

Спалят Пресню.

Дозорные с перекрестка махали.

— В цепь, товарищи.

Показались люди.

— Здешние. Пресненцы. Видишь: бабы.

Оглядываясь, они пробежали, таща узлы. Осмотрели недобрыми, темными глазами.

— Навели пагубу, дьяволы... Ужо вешать будут — сама веревку принесу.

— Плыви, бабка. Пятки не растеряй.

Дозорные стояли на месте, дожидаясь.

На улице становилось люднее. Всхлопывая дверьми, выскакивали из под'ездов, из заборных калиток, укутанные люди, выволакивая пожитки. Старик, в рысьей шапке, ушастой, — тащил на ремне упиравшуюся седую козу. Тихо и жалостливо причитала, мешкая у ворот, заплаканная баба. Шрапнель рвалась все ближе — ровными, казенными очередями.

— Эх, неладно выходит. Какой тут бой!

Проплелся извозчик с кладью, раскатывая санки на ухабах, ухмыльнулся на нас, покачал головой. Все больше людей по панелям.

Солнце глянуло из-за крыш, из-за дымных крутых, черными перистыми клубами встававших, дымов.

Дружинники сбиваются в кучу.

— Итти ли? Продвинемся — назад не податься будет. Гляди разворошились: прет чумиза изо всех щелей. Со спины возьмут — себе в выкуп.

Медведь повел глазами.

— Не узнать Пресни. Пока держалась рабочая сила — притихло, небось... канареечное семя... А сейчас, вишь: каждая шавка — волком смотрит. Не итти нам с ними, видно, во-век!

Стрельба смолкла внезапно. Бежавшие стали приостанавливаться. В конце улицы замаячили конные фигуры. Кавказец выхватил винтовку у соседа и выстрелил не целясь. Ближние к нам шарахнулись, ломясь в припертые ворота.

— Наддайте, наддайте, — весело крикнул Медведь. — Баррикадку на прощанье. Пособи им, братцы, ворота снять.

Прохожие побежали врассыпную. От дальнего перекрестка блеснуло и ухнуло. Где-то жестко прозвенело разбитое, на тротуар осыпавшееся стекло.

Конные скрылись за перекрестком.

— Как бы в обход не взяли. Надо с флангов прикрыться. Муся, бери тройку и — на угол.

Трое рабочих и Муся скрылись за выступом дома. По пустой улице, прямо на нас, развертываясь на ходу, — выбросилась темная, тесная, серая шеренга, в барашковых шапках, в красных гвардейских погонах.

— Пожаловали!

Две винтовки и маузер. Браунинги молчат: далеко, не достать выстрелом.

Словно обмело улицу. Тупо топотит за спиной мягкий, спотыкающийся бег... Опять прозвенело, дурашливо и протяжно, разбитое стекло.

Мы, трое, стреляем, запав за крытым, коробкою выставленным на тротуар, под'ездом. Медведь с кавказцем и остальными, — на той стороне улицы, вдоль забора, за кирпичною кладкой столбов. От тех серых, краснопогонных — частым, ровным полетом чертят по снегу пули...

Их не много: взвода не будет. Офицеров не видно. Продвигаются медленно. Стали, стреляют с места.

Кавказец, пригнувшись, перебежал улицу.

— Я предлагаю: в рукопашку. Их мало. У наших всех — ножи. Медведь согласен. Ударим?

Он поднимает руку. Дружинники с той стороны торопливо откидывают полы полушубков. Взблеснули лезвия.

— А ну, разом!

Ефрейтор, на фланге, клюнул головой и ничком ткнулся в снег. Шеренга дрогнула и смешалась. Медведь, вобрав голову в плечи, прыгнул вперед.

— В ножи!

Топ, быстрый, бешеный, твердый — накатился сзади. В полуобороте, я увидел — взблеск шашек, морды скачущих коней, смятое копытами тело. Снег. Кровь. И — у самых глаз — тяжелый сапог — упором в напряженное обмерзшее стремя.

Застыло, под бескозыркую, злобное и напуганное лицо наскавшего драгуна.

Конь вздыбился под выстрелом.

.....
Цепляя лапами шубы за копыта чугунной решетки, я перебросился во двор особняка, из-за под'езда которого мы стреляли в семеновцев.

.....
Медведь бежал — уже далеко — за спутанной свернувшейся цепью... Посреди улицы, отмахиваясь кинжалом от крутившихся вокруг, наседавших конных — кавказец, прыжками, отходил к желтому высокому дому. Взвизгнул — дико — по горному. Кони шарахнулись. Но кто-то, с панели — в толстом запоясанном синем кафтане, — пожарный... откуда! подбежал, волоча тяжелый и длинный лом.

Я вскинул ствол. Конский круп перенял пулю. Лом взнесся, ударил кавказца сзади. Папаха осела под железом. Еще раз сверкнул оскал белых зубов. Пожарный ударил второй раз, лежащего, острым концом по лицу. Я соскочил с цоколя. В окно, расплоснув носы о стекла, смотрели на меня чьи-то дикие, с безумными глазами, лица.

Драгуны, спешась, перемешавшись с семеновцами, раскачивали ворота. Сквозь решетку вздрагивали просунутые—мне в угон—винтовочные дула. Я пробежал двор. Из-под ног с воем, поджимая перебитую пулей лапу, отскочила собака. У кирпичной бурой стены, в глубине, скосившийся мусорный ящик. С него — закинул руки на гребень стены, подтянулся. По двору, прочь от дома, к воротам, бежал человек в белом фартуке. Ружейные дула бились в ограде чугунных прутьев тяжелой высокой решетки.

Тот, второй двор, был пуст. Я не поглядел на окна. Глубокой широкой аркой — глухим припертым воротам. Никого. Не сразу дались болты, тяжелый забухший засов. Прогрелась ржавая цепь, не пуская

ворота распахнуться. Я просунулся в щель. Улица. Толпа — у горящего, оцепленного дома. Оправил шапку и вмешался в ряды. Маузер я бросил еще там, у особняка. Без патронов.

Что случилось с нашим заслоном?

В город я выбрался через Горбатый мост, в длинной веренице извозчиков. Пеших пропускали труднее. Баррикада, разобранная, горела десятком костров. Переход был рассечен двумя цепями винтовок. За мостом — офицеры, солдаты, полиция. Ровным рядом уложенные по откосу берега, по оттопанному снегу, тела. Стадом, тесно сбитым, стояли по другую сторону, в оцеплении городских — арестованные. Было время всех рассмотреть. Пропуск шел медленно, мы долго стояли на вьезде.

Солдаты обыскивали, опрашивали. Старшой заставы долго и пристально смотрел на меня, пока с передней пролетки сволокивали очередных седоков. Мой извозчик причмокнул и тронул. Мы поровнялись. Солдат махнул рукой через мост, запиравший заставу.

— Пропусти!

Извозчик хлестнул. Мы проехали.

На Тверской, на явке Виталия — не было белой свечки в бутылке. У Страстного столкнулся с Медведем.

— Ходу нет?

— Нет.

Смеясь, покачал головой.

— Вот было накрыли... как тетеревей—драгуны-то! Когда наших увидите — передайте: подался Медведь до времени в Серпуховской уезд. Скажите: доктор адрес знает.

Отбивая шаг, подходил патруль. Мы разошлись.

Поезда ходили по расписанию. На вокзале по столам — уже снова расставлены были пыльные, сухие букеты, и лакеи сверлили пробочниками пивные бутылки, засунув под мышку грязные, мятые салфетки.

6. Пальцы

В Москву я выбрался только осьмнадцатого апреля. Явка: дом церкви Николая на Пыжах в Пятницкой части, квартира Лубковских, номер 2. Спросить Марию Аркадьевну. Спрашивать можно смело — паспорт чистый, потомственной дворянки; квартира отдельная; живут — все свои.

Я простудился, должно быть, в поезде. Утром, на вокзале, при высадке, голова была мутна — ровным, легким, мысль тяжелящим туманом.

Дом я нашел без труда. На пустом дворике, у помойной раскрытой ямы, меж кур, копошился дворник. Он не обернулся на шаги. Подъезд под навесиком, из вспоротых по швам, железных, проржавленных, забывших о краске, листов.

Я поднялся. Колокольчик за стеной, на визгявой пружине, задрезжал пронзительным плачем: в пустоте. Странно: всегда по звуку слышно — есть ли кто в доме, или звонишь — в нежилом. Медная, давно нечищенная ручка звонка, выдвинувшись, свисала из круглой оправы упрямым, жестким, прямым высунутым языком. Ударом ладони я вогнал ее обратно — и дернул опять, уже уверенный, что мне не откроют.

Звонок еще раз захлебнулся и замер.

Уйти?

Мария Аркадьевна: ведь это наверное — она, Муся. Не думалось: а сейчас — так захотелось увидеть опять близко, близко — серые, спокойные, солнечные глаза. Я стиснул зубы и, с досадой, рванул к себе дверь.

Она открылась. И тотчас — черным огромным пятном метнулось в глаза у порога: густая, застылая кровь.

Я переступил порог, плотно притянув за собой двумя руками дверную створу. От входа — зигзагом, по полу, к двери направо — в кухню, плита видна — пятна, пятна, пятна. У пустой вешалки, о три крюка, свернутое, испятнанное черным, полотенце. И от кухни — к двери прямо напротив меня, такой же разорванной, черной цепью — кровавой след.

Руки, за спиной, цепко держали дверную ручку. Я наклонился вперед, всем телом, и позвал тихо... не для ответа:

— Муся...

Взгляд шел, медленно и остро, по полу, от пятна к пятну. Пыль видна на сгустках. В глубине, на дороге, оброненный кем-то окурок.

Я засунул задвижку и, на носках, быстро пошел. В тех дверях — наклонился и поднял. Конечно же, не окурок. Палец.

Мизинец, тонкий и женский, с желтым, прозрачным ногтем; из под кожи — обрывки тугих сухожилий и острым зазубренным лезвием кость.

Дальше. Кровь опять, к столу, на столе, на розовом, скривившемся абажуре. И клочья кожи у закрытой, у второй двери. Там!..

Я твердо нажал ручку: перчатки и так липки от снятой с того, входного засова, крови.

Пол, по линолеуму, взрыт черной воронкой, звездой разметавшей трещины — к несмятой постели под белой накидкой, с высоко взбитой подушкой, — под стул с опаленной шершавою спинкой, — вместо сиденья — дыра!.. под заваленный коробками и банками стол, на кривых, исцарапанных ножках. По печи у двери, по кафелям — черные липкие струи. Стена — по узору обоев, по желтым букетам — обрывки мышц, сухожилий, костей, красноватые взбрызги. В черных крапинах — кровь и огонь! — белый потолок, низкий. Взрыв? Стекла — целы. Нет и здесь. Никого.

У стола головной платок, белый шелк, весь в крови; перекручен тугим тюрбаном. И пальцы, пальцы опять. Кусочки дробленных костей смешались с осколками жести. Пальцы и ногти.

Я вернулся, почти бегом, на кухню. Пусто. На крапе, на раковине, на полке с посудой, на грязной, тараканьей стене — кровь, кровь, кровь. Тряпки— жгутом. Когда это было? Кровь растеками, давняя, тело забывшая кровь.

Еще раз — по комнатам. В той первой, мужской — под кроватью рыжие голенища сапог. В женской нет ничего: ни книги, ни платья. Стол, под тяжелой бархатной скатертью. Банки и свертки... Крышка конфетной коробки. Ну даже, конечно. Я потрогал первый попавший под руку сверток на подоконнике. Зазвенело: стекло. Трубки с какой-то жидкостью. Жестянка. За свертками, тесно прижатая к раме — медная ступка. Я не стал смотреть дальше.

Тихо. Как в горах, на снегу.

— Муся?

От слова не стало громче.

Надо итти.

Я сбросил липкие перчатки. Клеймо: Morrisson, Petersburg. Если найдут? Мой № перчаток не частый.

Представилось ясно: магазинчик на Невском, полутемный, маленький, в одно окно под огромной, растопырой, нависшей над входом — золотой, надутой перчаткой. И по черной вывеске золотом Morrisson. За прилавком — лысый, очкастый француз, оставив мизинец, безглаголиво — над рыжей, измятой, в черных пятнах перчаткой. «Не вспомните ль, кто и когда?»

Вспомнит!

Поджечь квартиру?

Я посмотрел на свертки. В доме — живут.

Ладно. Пусть так и будет.

Я засунул перчатки в печную отдушину, осмотрелся еще раз. В окно белел, облупленный витою колонной, выступ церкви. Взял со стола газету. «Речь», Питерская, от 14 апреля. Сегодня — 19-е.

Обернув газетой руку, я, осторожно, стараясь не стукнуть, отжал задвижку и прислушался. За доской, на площадке — ни шороха. Я выскользнул, притворив дрогнувшую под рукой дверь. Двор был пуст. По улице дребезжали пролетки и, надрываясь звоном, неся трамвай.

Почесываясь, шел, с селедкой в обрывке газеты, дворник. Качнул головой, вошел в ворота. Я стоял у церкви. Паперть пустая. В землстой щели, меж раздавшихся камней ступени, — ребром забившаяся копейка: не досмотрели нищие.

Кто - то окликнул.

— Барин, купите черемухи.

Сноп белых, терпко пахучих, чуть осыпающихся скрученными лепестками веток. Я перекинул его через руку, на локоть.

Муся. Да Муся же!

Я прожил еще три дня в Москве. Не знаю зачем. Партийной связи я найти не мог; да я и не знаю, стал бы я искать ее, даже если бы было

куда идти. С гренадерами повидался в первый же день приезда, вечером. В Перновском полку, у Коли Волпакова. Он недавно женился на богатой. Большая квартира, новая, дорогая, безвкусная мебель. Он говорил о революции, о нашем офицерском союзе, — и поглядывал на дверь в столовую, где стучала стаканами горничная в белой наколочке, в передничке с оборками. И в глазах у него было: испуг и тоска от мысли — о связанности со мной, с военно-революционной организацией; от сознания, что мы можем потребовать, чтобы он пошел, сказал, «сделал что-то, чего он уже не может сказать и сделать, потому что у него молодая жена, и вязаные сеточкой скатертки на кругленьких лакированных столиках в гостиной, под фарфоровыми вазочками, и кружева на оливковом шелке кресельных спинок, и белый хохолок горничной... На душе было зло. Я пугал его нарочно необходимостью, неизбежностью выступления. Он поддакивал. И оглядывался на дверь. Собравшиеся офицеры — здешний, гренадерский, революционный кружок, человек семь — поддакивали тоже. И тоже оглядывались на дверь. Они ждали ужина.

Коля усиленно просил заночевать: диван в кабинете — мягкий, тисненой кожи; постелить одна минута. И никаких хлопот. Я думал о черемухе на столе у меня в номере, о белом выступе церковной стены.

Под таким выступом меня расстреляют.

Мысль дикая... четкая до безумия.

Первая, за всю жизнь, мысль о смерти. Тенью прошла, показала место. И опять нет. Теперь — до места — не встретимся.

И опять захотелось сказать вслух, как в тех комнатах меж кровяных луж:

«Муся».

Хозяйка говорила что-то, щуря ямочки на полных, пудренных щеках. Высокий капитан, с лошадиным лицом, по левую руку от меня упрямо наклонял к моей рюмке горлышко коньячной бутылки и спрашивал, густым и радостным басом:

— Разрешите?

.....
Назначили собрание вторично в расширенном составе, на завтра: если я, конечно, не уеду. Я не уехал. Но я не пошел. Я сидел в номере. Думал? Нет.

21-го под вечер, коридорный, подавая чай, задержался у прито- локи. Я поднял на него глаза: вид у него был беспокойный и искатель- ный.

В чем дело?

Он переступил на месте разлапыми татарскими ногами и вздохнул.

— Вам бы, ваше сиясь, развлечься. Второй день в номере.

Он нырнул ближе и добавил шопотом:

— Дозвольте барышню пригласить? Тут — в 25-ом — стоит. Не сказать! Все же удовольствие.

От этих слов — словно сполз туман. В самом деле, глупость какая. Не выходить — два дня. Он, кажется, принимает меня за самоубийцу. И паспорт, наверное, уже проверяли. Какая глупость!

Я отодвинул стакан.

— Барышни не нужно — а насчет развлечения, это — верно. Прими прибор. Я ухожу.

К двенадцати я был в Метрополе. Огромная, под стеклянным куполом, зала ресторана была почти пуста. Лишь по левой стороне заняты были три-четыре столика. Тоскливо и небрежно били по струнам смычки румын, в белых, черными и желтыми шнурами, расшитых, распахнутых куртках. Лакеи кучкой скучали у пустых малиновых диванов. Я шел, выбирая место. Хотелось людей: и как раз — нет людей. Эти не в счет: жующие, толстые коммерсанты. И на всю залу — только одна женщина.

Проходя, я заглянул в лицо. Серые глаза, брови дугой. Под серым шелком английской блузки — молодые, крепкие плечи. Красивая? Нет. Я сел против нее, за соседний столик.

С нею — двое мужчин. Плохо одетых и хилых.

— Филе. Картофель. Тамберлик. Бутылку Мума.

— Extra dry?

— Ну, конечно же.

Я с жадностью пил холодное, тонкими иголками покусывающее язык и горло — золотистое и крепкое вино. Посетители прибывали. Качнулся, презрительно смерив взглядом серую блузку — черный, страусовыми перьями засултаненный берет гологрудой певицы, под руку с толстым, прядающим тупыми шпорами на низких каблуках, лысым во всю голову, генералом. Скрипки ожили. Засуетились между столиками лакеи.

Девушка в сером встала. Сидевшие с ней повернули ко мне бледными казавшиеся лица. Она подошла легкой и быстрой походкой.

— Здравствуйте.

Смелым изломом — дуга бровей над ясными, до дна ясными, девичьими глазами.

— Муся!

Слово не сказалось. Я смотрел на ее руки, на тонкие протянутые мне пальцы. Брови сдвинулись.

— Что с вами? Вы нездоровы?..

В висках стучало, мелко и мелко.

— Да, да, болен, должно быть. Я не узнал вас, Муся.

— Вижу, что не узнали, — засмеялась она. — Хотела и я не узнать, тем более, что... — Она оглянулась бегло на зал и поморщилась. — Но дело такое...

— Дело?

— Ну да. Я ведь не знала, что вы больны.

— Я простудился, не больше. Просто с головой не ладно. Если дело, — выздоровлю.

Она пододвинула стул и села.

— Вы зачем в Москве? Дайте мне вина этого... если оно не сладкое... Чокнемся... — Она засмеялась опять. — Для конспирации.

— Это вы, в самом деле, Муся?

— Да что у вас, бред, в самом деле? Почему бы мне не быть?

— Я подумал почему-то, что там, в Замоскворечьи...

Она дрогнула плечами и наклонилась. Глаза стали широкими, черными и жгучими.

— Неужели вы?..

Я кивнул.

— Мне дали явку: на Пыжах.

Она прикрыла глаза ладонью, щитком, и смотрела в упор.

— Как вы вошли?

— Дверь была незаперта.

Она спросила тихо:

— Там — страшно?

— Я нашел — пальцы.

Веки дрогнули и опустились.

— У нее сломалась в руках запальная трубка. Левая кисть, три пальца на правой; грудь, плечо, лицо. Но они ушли. Она в больнице теперь, в безопасности, доктор свой.

— В безопасности? Первый, кто...

— Она сказала: взорвалась бензинка. Вы—были! Славу богу, значит еще не знают. Не ищут.

— Я думал: вы, — повторил я, прислушиваясь к глухому голосу. — Кто это был.

— Генриетта. Помните? У Виталия, перед Пресней. Кто вам дал эту явку? Безумие!

— Иван Николаевич.

— Быть не может! А впрочем... тем лучше.

— Почему лучше?

Из-под черного берета презрительно и пусто глядели на нас темные, завистливые, усталые глаза.

— Человек, дайте еще флакон.

— Вот что, — Муся оглянулась на свой столик и кивнула: — сейчас иду. Я к вам подошла именно по Генриеттиному делу.

— Ее надо увезти?

— Нет... А если бы надо — есть человек, который... лучше вас это сделает. Дело — круче.

Она приподнялась и скользнула пристальным взглядом по залу.

— Вы Дубасова в лицо знаете?

— Генерал-губернатора?—Я привстал в свою очередь.—Где же он?

— Вы с ума сошли. Откуда он здесь возьмется? Я не о том.

Конечно же, не о том. Как я не понял сразу?

— Когда?

— Послезавтра царский день. Он обязательно будет в Кремле, в Успенском соборе, на торжественном молебствии. Не может не быть. В этот день надо обязательно сделать. Потом, когда-нибудь, скажу почему: но вы должны поверить: о б я з а т е л ь н о надо. Все было подготовлено. Но Генриетта взорвалась — и все прахом. Ни готовых снарядов, ни людей... Иван Николаевич...

— Разве он здесь?

— Приехал вчера. Но от группы осталось трое всего; лучше сказать, двое. Семен Семенович — химик; метальщиков только два. А ворот из Кремля четыре. Вы понимаете? Четыре входа надо запереть, а людей — два.

— Но если поставить этих двух — у собора... Или у губернаторского дворца.

— Невозможно. Там охрана такая... Возьмут до удара наверное. Надо еще двух метальщиков. Иван Николаевич вызвал меня.

— Вы разве в боевой организации?

Муся посмотрела, прищурясь. Губы стали насмешливыми.

— Я пойду—третьим, вы—четвертым. Да?

Она оперлась локтями на стол и опустила подбородок на скрещенные пальцы.

— Хорошо, что именно вы приехали. Иван Николаевич будет рад, что случай свел нас. Ведь один день всего остался — разве за этот срок найдешь? И в Питере, как на грех — никого. Иван Николаевич дал телеграмму в Финляндию, там человека три боевиков есть, в резерве. Но поспеют ли? А теперь мы и без них сделаем.

Она подумала немного.

— Вы тех двух — не знаете. Это — Пушкин и Лев — братья. Поговорите с ними: ведь послезавтра — вместе пойдем. Только...

Она запнулась.

— Досказывайте, Муся.

— Ничего. Сами поймете. Идем.

Она усмехнулась и кивнула в сторону зала.

— Слежка все равно есть. Разобьем по четырем — легче уходить будет.

.....

Братья пожали мою руку, одинаково крепким и теплым, медленным пожатием. И лица у них одинаковые, несмотря на резкую разность черт, одинаково устало и примиренно смотрят глаза. Их прозвища: Пушкин и Лев. Прозвища не по ним: не Пушкин и не Лев. Этим уже все, по существу, сказано. Я уже понял.

Пушкин заговорил, ласково и тихо:

— Как все в жизни странно: вот мы — сидели, пили вино, может быть, думали о чем-нибудь своем, о своей жизни. И вдруг подошла Муся. Вы сказали: да. Я не знаю, почему вы сказали. Но сказали. И все кончено. Смерть. А если не смерть — еще больше и хуже.

— Почему смерть? — Я глядел на Мусю, и мне казалось, что на руке у меня — белый сноп радостно и крепко пахнущей, солнечной черемухи — и небо над нами синее, и ветер, свежий и морской, дышит в лицо бодро и весело. Почему смерть?

Пушкин улыбнулся тусклой улыбкой.

— Послезавтра — мы убьем. Когда вы дошли — я вдруг почувствовал: на этот раз наверное. Мы ведь четвертый уже раз выходим. Три раза — нет. Теперь — будет. Я знаю: Но смерть родит смерть. Разве можно жить — после убийства? Есть, пить... иметь детей?

Он вздрогнул.

— Я думаю: убивать только так и можно. Только тогда и оправдано убийство, когда вы смеетесь на крови.

Лев вскинул на меня вспыхнувшие, удивленные глаза. Пушкин не слышал, наверно. Он говорил дальше — опять размеренно, медленно, спокойно:

— Я готовлюсь давно к этому дню. Для меня в этом дне — все. Вы видите, какой я? Другого способа послужить родине я не знаю — для себя, конечно. Я не могу послужить — жизнью. Только смертью. И я иду. Я совершенно победил страх смерти: я спокоен и счастлив. И все-таки мне безумно тяжело сознание, что я становлюсь убийцей. И я знаю; я всем своим существом чувствую: с того момента, как мне на руку ляжет кровь — я не в силах уже буду отогнать призрак убитого: я буду видеть всюду бледное, мн о ю обескровленное лицо, разорванное тело... Жить после этого? Нет. Мы, террористы, не можем жить: мы все из мертвецкой.

К столику подошел лакей. Пушкин замолчал, пока тот расставлял, небрежно и торопливо, кофейные чашки.

— Если мой снаряд не взорвется...

Я перебил его.

— Где мое место?

Лицо стало другим: от скул — быстро и жарко побежал румянец. Он — красивый, Пушкин.

— Из Кремля — четыре маршрута. — Он наклонился к столу и потрогал меня за рукав. — Через Никольские ворота, через Троицкие, через Боровицкие, через Спасские. Стоять — на Тверской, на углу Воздвиженки и Неглинной, на Знаменке, в Козьмодемьяновском. Я буду на Тверской — от Никольских ворот, до Тверской площади, это место за мной. Я знаю, что это лучшее. Но я заслужил. Спросите Жоржа, спросите Ивана Николаевича. Из остальных — выбирайте любой.

— Я — у Троицких, — закрыв глаза, проговорил Лев.

Муся сломала спичку и спрятала под стол руки.

— С головкой — Козьмодемьяновский, без головки — Знаменка. В которой руке, Михаил?

— В левой.

— Козьмодемьяновский.

Лакеи спешно отодвигали стулья у соседних пустых столиков. Две компании подозрительно-прилично одетых молодых людей, слишком шумно переговаривались, занимали места.

— Надо вы-би-рать-ся, — тихим распевом, не глядя на меня, говорит Муся, разливая кофе. — Не вышло бы чего. И в том углу такая же публика. Как бы не взяли. Подсчитайтесь, чтобы не ждать сдачи. Как только они навалятся на закуску, деньги на стол — и идем.

Пошли. Все четверо сразу. Но уже в прихожей нас нагнало несколько человек, тужа шеи из непривычных, высоких, крахмальных воротничков. Муся шепнула: «Уводите».

— Лошадь!

Оскал серой, опененной морды — в блеске фонарей у под'езда.

— В «Эрмитаж». Трогай.

Сразу рванулся с места серый, в яблоках, рысак. Пушкин на тротуаре раскуривает папиросу. Какие-то люди в котелках — машут. К под'езду катят две пустые пролетки.

— Ходу!

Те двое за нами в угон.

— Уйдем.

Лошадь бьет широким, могучим размахом копытами по булыжнику.

— Наддай, наддай!

Щелкают тугие, натянутые вожжи. Копыта метят путь, мимо затушенных фонарей.

Улица за улицей. Сзади, далекий еще, но торопящийся к нам, назойливый топот. Рысак снова набирает ход.

— По переулку направо. На Николаевский вокзал.

Я хорошо запомнил:

Завтра в три, на Тверской, в Филипповской кофейне: или она, или Иван Николаевич. Выходить — послезавтра в 10.

С вокзала я вышел, через четверть часа. Без провожатых.

7. 1-е апреля

Солнце и тротуар. Переулок — всегда людный — был на сегодня пуст. В выбоинах мостовой — радужные, недвижные, весенние лужи. Вдоль корявой линии домов, не ранжированных по росту, оседающих стеклами магазинных витрин, больших, малых, пустых, зарешетченных — торчали на палках праздничные флаги. В три цвета: синий, красный, белый. Я ходил вдоль тумб, сторонясь случайных, торопливых прохожих, и считал:

— Синий, красный, белый, синий, красный, белый. Снаряд — «на весу» — тянул руку. И душу тянуло сознание — нелепости этой маршировки, по пустому, покатоному, — ухабистому, — Козьмодемьяновскому,

с бомбой, способной взорвать к дьяволам весь этот — еще хрипящий поздним праздничным сном, замертвелый мещанщиной, квартал...

«Лаз» казался мне обреченным: с какой стати сюда, в обезд, занесет Дубасова? Вечная история диспозиций. Зачем они меня загнали сюда — спичечной головкой? Я вышел на Большую Дмитровку. Здесь былолюднее.

Сразу же, по сапогам, нелепо поддетым голенищами под проутюженные клетчатые брюки, по заспанным, немывтым глазам, по рыночным панамам, опознал двух филеров. Это меня успокоило: по их позам, по ленивому потягиванию ног — плитняком тротуара, от Козьмодемьяновского до площади и обратно — ясно было, что они не на слеске, а на охране; что они «держат улицу». Значит, возможность проезда есть: кого сейчас сторожить на проезде, кроме генерал-губернатора?

Пешеходы шли, шли, спуском к центру; коробка, с лентой, с увядшим пучком ландышей, била в глаза. Почему обязательно конфетная коробка? Сила шаблона. Даже здесь.

Я дошел до площади, пропустил вперед себя шпика и пошел за ним, по той стороне тротуара. Второй филер, поставив ногу на подножку пролетки, беседовал с извозчиком на углу, беспрерывно сплевывая. Трое разносчиков, покачивая на головах лотки, прошли мимо, скосив, как солдаты по команде, глаза на меня. Значит, еще? Стало весело.

Я остановился у фонаря. Филер, — тот, что с извозчиком, — вынул часы и поспешно отлепился от подножки. Глухой удар — тупым и тяжелым гулом встряхнул воздух. И тотчас, следом — второй.

Кто-то сзади меня сказал густым дьяконским басом:

— Многолетие царскому дому.

Еще удар. Третий.

Обедня отошла: салют с Тайницкой башни.

Филеры спешили к площади, вниз. Я отступил через улицу, — в Козьмодемьяновский, на лаз, в засаду.

Салют отстучал. При каждом выстреле я видел четко: древнюю, красную, обомшелую башню, старинные, временем отертые, бронзовые дула — торчком меж двурогих зубцов, — и белые кружки безвредного пушечного дыма, выскальзывающие из жерл и пятящиеся — словно кто их ладонью отбил — назад, в бойницы. А ведь только один раз я видел Тайницкий салют: ребенком.

Упруго взметывая колеса на тугих рессорах, пронеслась вверх по Дмитровке, щегольская узенькая пролетка: серый полицейский чин. На секунду мелькнули, мигая поворотами вправо и влево, подбритые котлетками бачки. Это становилось серьезно. Я перенял коробку в правую руку, короткой стороной в ладонь, торчком. Вялые ландыши рассыпались из-за ленты, роняя побурелые колокольчики. С угла, от меня, было видно: по площади, сворачивая на Дмитровку и дальше — проездом, к Петровке — рысили пролетки и коляски. Гон пошел!

В переулке — пусто: только солнце, и тротуар, и трехцветные флаги, прикрученные к стенкам домов. Не закрыли ль проход от Тверской?.. Твердо растопыря ноги, стоит — прямо насупротив меня — филер в белой панаме, извозчик подобрал вожжи, и настороженно высматривают в просеки ворот белые фартуки и рыжие бороды дворников.

Экипаж за экипажем.

Нет.

Двенадцать десять.

Причмокивая, тронул лошадь, затрусил, — бочком на облучке — порожнем извозчик. Панамы, под руку, завернули в проулок; там, на дальнем углу, разносчики собирали лотки.

Мы — свой акт — отыграли.

Я иду, медленно, по Козьмодемьяновскому, под чуть полощущимися в воздухе линючими тряпками флагов. Я все-таки рад этим двум часам.

От Тверской, лентами, по обоим тротуарам — заспешили люди: кончилось время, пропускают. Издалека и сразу узнал Мусю, — под темным, тисненным цветом расцвеченным платком, в кацавейке, с корзиной на руке. Столкнулись, грудь с грудью.

— Дайте коробку.

— Зачем?

— Слушайте, когда говорят.

Она приподняла ткань, прикрывавшую корзину. Я погружаю коробку в подсолнухи, под гранённый стаканчик, с отбитым толстым, губастым краем.

— Дальше, дальше, до самого дна.

— Там что-то есть.

— Второй.

— Тяжело будет?

— Вздор. Ступайте к Филиппову.

— А вы?

Чуть нахмурилась.

— Идите, некогда.

— Почему неудача?

Муся пожала плечами.

— Проехал через Троицкие. Мимо Льва.

— Отчего же...

— Помешало что-нибудь. Ну, идите же. Ивану Николаевичу скажите, что видели меня.

Разошлись. Я смотрел в догон. Она не обернулась до перекрестка.

Двенадцать двадцать.

Я думал, — мертвецы будут цепче. Его высокопревосходительство завтракает сейчас.

Площадь. Мимо портика пожарной части я выхожу на Тверскую к генерал-губернаторскому дому. Черным с белым покрашенная ро-

гатка, полосатая будка часового у под'езда. По панели, сплошным, густым потоком накатывается на плечи праздничная, неторопливая, отдыхающая после под'ема по Тверскому взгорью, толпа.

Я сошел на мостовую и ускорил шаг, в обгон.

— Осади!

Толстые пальцы в белой вязанной перчатке уперлись в плечо. Обернувшись, увидел: круглые, омертвевшие от усердия, глаза околоточного, вытянувшиеся в струнку—черные с красным—фигуры городовых, картуз дворника — над намасленными прямыми волосами. Из Чернышевского переулка, мягко огибая угловую тумбу, выехала тихой рысью коляска. Георгиевская лента в петлице черной шинели; черные орлы на золотых погонах: Дубасов.

Широкая только что толпа, — узенькой ленточкой вдавилась в цоколь домов, отхлестнулась на площадь; на опустелой улице монументами застыли во фронт, рука у барашковой парадной шапки — городовые и околоточные. Дубасов поднял руку, отдавая честь. Рядом с ним — офицер, в незнакомом драгунском мундире; старое лицо, корнетские погоны. Он щурил беспокойные глаза, оглядывая улицу. Слово искал кого-то. Глаза блеснули: нашел.

От тротуара, от людской ограды, — с того перекрестка, где аптека, быстро, почти бегом — пошел флотский офицер. Коляска катилась к под'езду. Драгун, обернув голову, смотрел на нагонявшего коляску моряка. И вдруг встал, сбросил ногу неловко, углом, на подножку и, отворотив полу, быстрым и страшным движением засунул руку в карман. В этот миг и я увидел: коробка, ленты накрест, букетик ландышей... Он!

И сразу — все стронулось с места. Рванули лошади, шарахнулась толпа, драгун в коляске выдернул черный, длинный ствол, треуголка Дубасова качнулась над крылом коляски... Не в счет. Драгун и моряк. Только. Все — между ними.

Тах!

Две руки над головой. Белая коробка ударила о мостовую, справа, под самой подножкой. И тотчас — черно-желтый, воронкой завившийся столб дыма, камня, железа, разорванных мышц... Га! Пальцы, пальцы!..

Звеня, бились о булыжник стекла. Пронзительным криком кричал, держась за лицо, часовой у рогатки. Бешеным плясом били, где-то за дымом, копыта. Дым расходился, оседая на мостовую — черною, тягучею лужей: на месте, где взорвалась бомба.

Пушкин лежал ничком, без фуражки. Верх черепа — сбит. Мозг.

И почти рядом — грудa, без рук и без ног, обрывки амуниции и мяса. Осколки ребер — сквозь прожженный мундир, осколки зубов — сквозь разорванные губы. Снаряд лег под ним.

А на той стороне, горбясь и припадая, как воробей на подбитую ногу, прыгал, смешно и позорно, старик в оборванной, лоскутами, шинели, с черно-желтой георгиевской лентой. На черно-желтом, как дым, лице красные крапины крови, и белые, как изморозь, зрачки.

Уйдет! Добить нечем.

И вправду: уже бежали, по тротуару, навстречу старику — бледные, машущие руками люди: прикрыли, подняли, понесли, внесли в подъезд. Неведомо откуда взявшийся жандармский офицер, выпячивая грудь, тряся белым султаном на шапке, хрустел подошвами лакированных сапог по битому стеклу.

— Оцепить!

Из дома, из-за рогаток, позвякивая ружьями, выходили солдаты. Сбившаяся против дома толпа — рассеялась: вверх и вниз по Тверской, горохом через площадь — во все стороны — метнулись бегом уходившие люди. Городовые, размыкаясь в цепь, бросились на переиумы.

Толпа донесла до кофейной. Я вдавился в нее, с десятками других людей, уходивших от погони. За нами — в дверях засерели пайто полицейских.

— Займите места. Приготовьте, господа, документы.

Я ушел вглубь, к окну на перекресток. Сел.

— Кофе, пирожных с кремом.

Лакей посмотрел на меня ошалелыми глазами. Не ответил. Снова отвернулся к зеркальному, огромному окну.

Цепь солдат, цепь городовых. На торцах — труп и груды.

— Ваш документ.

Кого-то обыскивали, кого-то уводили.

Кофейная пустеет. В окно ничего уж не видно. Тротуар, солнце, далекая — на углу — цепь солдат. Лакей приносит кофе и пирожное.

Ивана Николаевича нет. Я хорошо видел всех, кого арестовали: я сижу — по наружной стене: дверь перед глазами, в профиль.

— Здравствуйте.

Я не сразу признал — бородку клинушкой, рябины под левым глазом и на носу. Семен Семенович. Химик. Посыльный. Но сейчас он не в красной фуражке, с номером. Он в мягкой итальянской шляпе, с шелковистым полем, палка с набалдашником, синее, добротное пальто.

Он присаживается. На губах — улыбка, но щека дергается легкой, настойчивой, размеренной судорогой.

— Видели?

Я кивнул. — Жалко, промах.

Он поднял брови.

— Промач? По моему — дуплет.

— Дубасов жив.

Карие, живые глаза сощурились насмешкой.

— Это еще бабушка на-двое сказала: то ли выкрутится, то ли нет. А Коновницына как!

— Это — драгуна? Так он же не в счет.

— Граф Коновницын? — удивленно спросил Семен Семенович. — Видно, что вы не москвич. Граф Сергей Николаевич, помилуйте: черносотенец первой степени. Организатор и руководитель всех здешних.

черных: «Кружок дворян, верных присяге» — у него на квартире; монархическая партия Москвы, союз русского народа... Активнейший реакционер. Ведь он, знаете, по собственной воле начальником охраны к Дубасову пошел: не столь охранять, сколь поддерживать в нем бодрость погромного настроения. Он сам по себе стоял заряда. Пушкину повезло: по двоим и самого на месте.

— Да, повезло.

— А что же. Вы знаете, какой он был. Все равно бы не выжил. И муки душевной сколько. А тут, по крайней мере, сразу.

Он помолчал и прибавил:

— А ведь мог пропустить... Если бы он вниз по Тверской спустился, на тот конец участка. Дубасов проехал не по его маршруту, а по маршруту Льва.

— Мне так и Муся сказала. Отчего он не ударил, как вы думаете?

— Пропустил, вероятно. Это бывает: от напряжения. А может быть и ударил.

— Было бы слышно.

Он качнул головой.

— Нет. Ведь — дело прошлое — у него не было снаряда, у Льва.

— То есть, как не было?

— Да так. Вы знаете, что Генриетта взорвалась?

— Знаю.

— Ну, вот. Я за эти дни успел приготовить только две бомбы. Занять надо было четверо ворот: пришлось дать два... ну, бутафорских, что ли, снаряда. У Льва не было динамита.

— Так зачем его ставили?

— Как зачем? Вы повадок охранки не знаете. Если бы он бросил — Дубасов обязательно свернул бы с этого маршрута — и наехал на настоящую бомбу. Обязательно бы свернул: по той дороге они бы ждали еще метальщиков.

— Так, может быть, Лев и бросил — раз адмирал выехал на Пушкина?

Семен Семенович сморщился недовольно.

— Да нет! Адмирал проехал по маршруту Льва. Чорт знает, как его угораздило выехать на Тверскую. Обычно, с того направления он везжает в ворота с Чернышевского. Я вам говорю, это другой маршрут.

Мы помолчали.

— А он знал, что у него бомба пустая?

Семен Семенович рассмеялся.

— А вы знали?

Я до крови закусил губу.

— Значит вторая — у меня?

— Обязательно. Настоящие были у Пушкина и у Муси.

— Она знала?

— Что вы? Разве такое можно говорить до времени. Только я и Иван Николаевич.

— А он где сейчас?

— Вчера вечером уехал. И вы уезжайте. Вы в гостинице? Это не хорошо. Теперь будут строгости. Мало ли что. Обязательно уезжайте сегодня же вечером.

— Как мне Мусю найти?

Лицо Семена Семеновича с'ежилось и стало злым. Он медленно достал пенснэ и надел его на нос.

— Не знаю... А вам, собственно, по какому делу?

— Она сказала мне, что мне здесь дадут ее адрес.

Он улыбнулся снисходительно, кося глаза сквозь стеклышки.

— Сказала, чтобы отвести вопрос. Вы, очевидно, настаивали: ей неудобно было отказать прямо. Получится вроде недоверия.

— А теперь, что получается?

Он слегка развел руками.

— Сейчас — нет. Я с совершенной прямоотой говорю: адреса ее и сам не знаю. Так, случайно слышал, что где-то на Тверской. Но ведь она во какая, Тверская-то. И как прописана она — не знаем ни вы, ни я. Придется примириться с этим. Вы первый пойдете? Или... — он улыбнулся, опять, с нескрываемым ехидством, — или подождете еще?

— Подожду еще.

— Счастливого. — Он дотронулся до края шляпы и пошел к выходу. Я отвернулся к окну.

Солнца не было. Тротуар. Солдаты.

8. На „Громобое“

Шлюпка ошвартовалась у трапа. Вахтенный мичман, в задраенной на затылок фуражке, хмуро встретил меня, но просветлел сразу, когда я назвал Бреверна.

— К Павлику? Он в кают-компани, наверно. У нас совещание сейчас... Жеребьев, попроси старшего лейтенанта Бреверна.

— Есть.

Матрос медленно пошел ко входу в рубку. Мичман покачал головой.

— Чорт его знает: пришли из плавания — не узнать Кронштадта. Распустилась матросня: не поверите. Приходится меры брать.

— Я — не во время, пожалуй... если идет совещание.

— Да нет, не имеет значения: это насчет стачки. У нас ведь сейчас офицерская стачка.

— Стачка? Вы стали социал-демократами?

Он оглянулся на фалрепных, отходивших от трапа, и засмеялся.

— Стыжусь признаться: никак не могу усвоить, — что это за штука «социал-демократ». У нас троих списали с корабля за брошюрки: кока и двух артиллеристов. Я любопытствовал. Листал, скажу вам, листал: невероятно. Какая-то прибавочная ценность, или

что-то в этом роде. Кому это интересно? Ерунда какая-то... Неужели это можно читать? А вот и Бреверн.

Бреверн был красен. Черные баки казались приклеенными к холеной коже лощеного лица. Он быстро присмотрелся.

— Если не ошибаюсь... у Феди Ячманинова.

Он пожал руку и со вздохом накренил баки.

— Почему он в сущности застрелился? Мне писали, но так неопределенно... В связи с Цусимой? Он ведь коренной морской семьи: не пережил.

— Он мне еще года два назад говорил о самоубийстве.

Бреверн снова вздохнул и оглянул, злым взглядом, пустую палубу.

— Как знать? Может быть, в конце концов, он выбрал лучшую долю... Какие неимоверно подлые времена!

Я достал конверт Магды.

— Зная, что я буду в Кронштадте, Магдалина Густавовна просила обязательно повидать вас и лично передать это.

Тусклые глаза лейтенанта вспыхнули.

— Кузина Магда? Как мне благодарить вас за эту исключительную любезность... Вы разрешите?

Он разорвал конверт и, щурясь, пробежал глазами неровные, по-детски еще косящие, короткие строчки.

— Вы не откажетесь передать, будет свято исполнено, как завет Sainte-Vierge. Удивительная девушка — баронесса Магда, не правда ли? Но я должен еще и еще извиниться перед вами: мы слишком долго стоим у порога: вы не откажетесь сойти в кают-компанию? Командир будет рад пожать вашу руку.

— А вы там... кончили уже? — осторожно спросил мичман.

Бреверн повел плечом.

— Кончили? Разве это от нас зависит. Помяни мое слово, Строев: кончать будем не мы. Постановили продолжать стачку. Но это не решение, потому что это — пассивно. Нам надо взять на себя инициативу действий — тогда будет толк. Я настаивал на активном выступлении, но командир ссылается на какие-то циркуляры штаба.

— Я уже второй раз за те несколько минут, что я на броненосце, слышу о стачке.

Бреверн криво усмехнулся.

— Видите ли, по расписанию, эскадра должна выйти в море, на учебную стрельбу. Мы, офицеры, отказываемся выйти: мы — бастуем.

— Мне неясно...

— Вы не знаете морского устава — в этом вся разгадка. На берегу, до начала кампании — экипажи безоружны: матросам не выдают на руки винтовок; при выходе в море — они получают оружие. Теперь вам понятно?

— На берегу еще можно дышать, — подтвердил мичман. — Этим бестиям не только нечем кусаться, но они сами чувствуют себя под ударом... Но в море — картина меняется: они — хозяева положения.

Мы рискуем оказаться за бортом, как только выйдем в открытое море... Нет, слуга покорный: мы не пойдем.

— Тут такая путаница, — махнул рукой Бреверн. — Мы не хотим выходить, а штаб бомбардирует нас предписаниями, потому что Петербургу — еще более Петергофу — желательно удалить матросов: горючий, видите, элемент. Его величеству будет спокойнее, если их сплавить на воду. Ну, приходится бастовать. Пожалуйста, прошу вас.

Из кают-кампании неся по трапу вверх сдержанный шум многих разгоряченных голосов. Офицеры — тесной кучкой, у конца накрытого белой скатертью, цветами убранного стола. Когда мы вошли, все замолчали.

— Командир, — шепнул Бреверн, под руку подводя меня к плечистому, седому капитану, с круглой, крепкой, под самый корень волос постриженной головой.

Он представил меня. Капитан приоткрыл — усталой, формальной улыбкой — бритые губы.

— Милости просим. Рюмку мадеры... по традиции.

— Традиция нерушима?

— Торопимся допивать, — засмеялся один из офицеров. — Пока матросня не добралась.

— Разве так тревожно?

— «На Громобое» — держимся еще... с похода. Как-никак сжились. А береговые экипажи — распустились, имени нет.

— В сущности, опасности прямой нет, — как будто нехотя проговорил командир. — Коноводы все известны охранному: в казармах много своих людей. Я видел списки — можно отсалютовать жандармерии: чрезвычайно обстоятельно; во всех направлениях разграфлено; и по партиям, и по фракциям... всех мастей. И если взять относительно — их даже не так много.

— Но если полиции известны все активные...

— Почему их не берут? Вот именно, — загорячился Бреверн. — Это именно то, что и я, и другие говорят. Нет, видите ли — тут особая тонкая политика. Оставляют коноводов — арестовывают, понемножечку, «периферию» — по их терминологии. Таким образом, будто бы отпугиваются рядовые, — главы изолируются: в конце концов их можно будет взять без всякого шума.

— По-моему такая система — все равно, что бочку мадеры по капле выпить, начиная с краешка. По капле — через полсутки. Начнешь младенцем — кончишь стариком. Если вообще кончишь: другие раньше выпьют.

По коврику трапа — приглушенные, торопливые шаги.

Вахтенный.

— Митюков и Балц, на нашем катере, с берега, с криком... — Быстро проговорил, слегка задыхаясь, мичман; рука вздрагивала, сдер-

жанной дрожью, у козырька. — Катер идет ходом. Команда собирается к борту. Вызвать караул?

— Пьяные? — медленно приподнялся командир. Серые глаза стали еще спокойнее и тверже.

— Не могу знать.

— Ермоленко, фуражку и кортик, — приказал капитан. — Я посмотрю сам. — Он перевел глаза на вахтенного и сжал губы. — Оставайтесь здесь. Быть может, хорошо, что вы ушли с вахты. Если что-нибудь... Вы будете первый.

По палубе, над нашими головами, протоптал быстрый бег, и диким, стонущим пересвистом залились боцманские дудки:

«Пошел все наверх».

Командир надел фуражку и, уверенно ступая короткими сильными ногами, двинулся к выходу... Побледневший вахтенный схватил его за рукав.

— Пойдите, Василий Иванович... Как же без вас?..

В притихшей кают-компании — сухо стукнули затворы двух — трех револьверов. Бреверн, сидя, — с застывшей небрежной улыбкой смотрел в свой бокал, в каштановую, темную, густую влагу.

— Пошел на бак, — крикнул, в коридоре, совсем близко, чей-то густой и злобный бас. И два молодых, свежих голоса, радостно и быстро отозвались, в разноголосье:

— Есть, пошел на бак.

И опять тихо. Только свистят, надрываясь, вверху — назойливые боцманские дудки.

Я встал.

— Вы разрешите мне выйти?

— Уж не знаю, как лучше будет, — усмехнулся командир. — Может быть, вы пройдете в мою каюту. Мы едва ли сможем дать вам сейчас шлюпку.

— Я пройду на бак, с вашего разрешения.

Он быстро и пристально взглянул на Бреверна.

— На бак? Впрочем... вам виднее... как вам будет угодно. Мы задержимся еще на несколько минут. Лейтенант Шереметов!

Я поднялся на палубу. На баке — сплошной, тесной стеной — матросские бушлаты. Мимо меня, вперегон, пробежали, подвертывая фартуки на ходу, кочегары.

Над толпой — худой и бледный матрос, без шапки, — говорил, взмахивая беспрестанно рукой:

— Навстречу — раз'езд... Офицерский... Остановил. Ты, говорит, растак твою мать, почему шапки не снял — видишь драгуны едут. Я ему: вы ж не сняли — ну, и я не снял. Ты, говорит, так? Спешиться! Бери его. В нагайки, говорит...

Толпа загудела и сжалась плечами. Матрос дрожащими руками вырвал заправленный в брюки край форменки, взбросил его на плечи

и повернулся спиной: нестерпимо ударили в глаза красные вспухшие полосами рубцы на бледной бескровной коже.

Точно картечью хлестнуло по рядам. Головы пригнулись в плечи, взбросились опять — и диким ревом прокатилось по баку, по броненосцу, по рейду — какое-то слово... одно, единое... слитное из тысячи вскриков.

Рядом с высеченным, цепляясь за его голые плечи, матрос в растегнутом бушлате, кричал, плача в надрыв:

— Братцы, да что же они с нами делают!..

Не случай же привел меня на «Громобой»!..

Я тронул за плечо матроса передо мною.

— Дайте пройти, товарищ.

Оглянулся.

— От военно-революционного комитета.

Лицо его испуганно дернулось: он не стронулся с места. Но сосед, блеснув белыми зубами, радостно нажал плечом в толпу, передо мной, с криком:

— Посторонись, братцы. От военно-революционного комитета оратор!

Толпа стихла. Матросы, оглядываясь, расступались. Через головы смотрели мне навстречу, — воспаленные, злобные глаза, того — сеченного.

— Оратор? Брось, братцы! Слыхали мы их, ораторов! Крепче моей спины не скажет. Буде, поговорили... Чего еще... У кого морда не бита—выходи, покажись! Не стыдись, говорю, покажись... ежели без нашивок... То-то! А ежели так,—нам, битым, с небитыми разговору нет. Что мы—псы, хвост поджимать? Покуражились, будет. Теперь наше время. Вавилов! Примай над броненосцем команду.

— Правильно!—крикнул крепкий звенящий голос.—Ни к чему разговор... Вавилова.

— Вавилов!—взрывом криков откликнулись ряды. Над толпой поднялась бородатая, седая голова боцманмата. Я отступил в сторону. Вавилов—член гарнизонного комитета.

Он снял фуражку, помял ее в руках и накрылся.

— Смирно!—вытягиваясь, руки по швам, крикнул рядом со мной матрос... Глаза, как огни... — Смирно!

Вавилов повел глазами по рядам.

— Братцы, товарищи... Есть ли ваша на то воля, чтобы стать нам всем за мирскую правду, за обиду мирскую — до последней крови?

— Есть!—прошелестело по рядам.—Есть. Есть.

— А ежели есть—слушать команду. Не на бунт идем, за право, за свое, вступаемся, по божьему и человеческому закону, как воинской части надлежит.

Он резко выпрямился и сдвинул мохнатые крутые брови.

— Боцмана, свисти к десанту. Комендоры и номера — по орудиям. Катера — к спуску. По ротам разверстаться. Малые десантные орудия — на катера.

— А меня куда, Вавилов?

Разомкнувшаяся-было, на разверстку, толпа снова сжалась... на спокойный, привычный — далеко слышный по рейду — командирский голос.

Без оружия, с георгиевским белым крестом на кителе, заложив руки за спину, капитан стоял — в трех шагах от Вавилова. Офицер и матрос в упор смотрели друг другу в глаза.

— Вам бы уйти, господин командир, — глухо сказал Вавилов. — Мы тут, как в светлый праздник, а с вами... как бы греха на душу кто не взял.

— Уйти? С «Громобоя»? Мне? Ты не первый год плаваешь со мной, Вавилов. Были вместе — и в шторм, и в бою. Кто видел, чтобы я сошел в бурю со шканцев? Не со мной так говорить, старина.

Тяжкая тишина над палубой. Они стоят, попрежнему, глаза в глаза.

— Куда вы собрались?

Боцманмат дрогнул скулами и отвел глаза.

— Драгуны бесчинствуют, — сказал он глухо. — Митюкова избили нагайками в кровь.

Капитан пригнулся — и шагнул вперед. Руки за спиной дрогнули, выпрямились, сжались.

— В кровь? Моих матросов? Спасибо, Вавилов.

Он обнял рукой боцманмата и обернулся к толпе:

— Спасибо, братцы.

Толпа колыхнулась и застыла. Ближайший боцман, вытянувшись, ответил, негромко, накатывая глаза:

— Рады стараться!

Обнявшая Вавилова рука нажала на плечи: он сошел. Капитан стоял теперь один — над рядами.

— Слушать меня! Вы мое слово знаете. На посадку полка — надо три часа: через четыре часа — драгун не будет в Кронштадте. Ни одного. Кроме тех, из раз'езда: тем — место в военной тюрьме. Я сгною их в арестантских ротах. Если мне откажут, я первый — слышите? я первый наведу орудия на город. Командирский вельбот на воду.

Он приостановился, глубоко вдохнул воздух — и чеканно бросил команду:

— Вольно! Разойдись по местам.

Матросы, молча, не глядя друг на друга, расходились. На мостике уже блестели снова золотые погоны вахтенного. Подошли, кучкой, поодаль стоявшие офицеры.

Кто-то тронул меня сзади за рукав.

— Ходу, братишка, правым бортом в башню. Ворочай, пока командир не приметил.

Но он заметил. Бритые губы приоткрылись — опять, как при первой встрече — холодной улыбкой.

Он подошел с офицерами. За собой я слышал быстрые уходящие шаги.

— Вы тоже на берег? Если угодно, я возьму вас на свой катер. Бреверн, прими командование... Я вернусь часа через два. В штабе, думаю, не будут долго ломаться: в сущности, давно пора сменить драгун свежим полком: они и на самом деле разнуздались.

— Укротил-таки, — злобно оглянул Бреверн быстро спускавшихся по трапу на вельбот гребцов.

Капитан брезгливо повел плечами.

— Все равно конец. На что они, «укрощенные»?



В. НАСЕДКИН

* *
* *

Этот облак в отдаленьи—
Он во сне, иль наяву,
Цветом яблони весенней
Окропивший синеву?

Вон еще пушистой грудой
Ветви странные летят
И свисает отовсюду
Белый яблоневый сад.

Видно, правда,—сердце пьяно:
Где-то щелкнул соловей,
Тянет свежестью медвяной
С опрокинутых ветвей.

А в ветвях из каждой щели,
Обрываясь, здесь и там
Золотых лучей качели
Спускаются к глазам...

Солнце, жизнь, случайный жребий
Вы любимы без прикрас.
О долинах и о небе
Я пою который раз.

Но за каждой новой песней,
Радость с сердцем разделя,
Все прекрасней, все чудесней
Открывается земля.



В а х о

Рассказ

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

Шум табунов, мычанье стад
Уж гласом бури заглушались...
И вдруг на долы — дождь и град
Из туч сквозь молний извергались;
Волнами роя крутизны,
Сдвигая камни вековые,
Текли потоки дождевые...

Пушкин, «Кавказский пленник».

I.

Тонкий мальчик стоял без улыбки, чуть согнув ноги в коленях,— не потому, что дрожал, а потому, что привык карабкаться и гнуть ноги в горах,— отведя плечи и локти за спину, бледный и неподвижный в куче крестьян.

Все они, парни и седобородые, старались для него целый месяц, от души старались, а сейчас, когда дело удалось, в глазах их, вместе с преувеличенным доброжелательством, светилась зависть. И голоса выходили из глоток тонкими как ниточки.

Особенно егозил один парень. Вся честь подвига выпала на его долю. Это был тощий красноармеец-отпускник. Долго он ходил по деревне, мешая в работе и приставая к соседям. Винават ли человек, что его сделали отпускником? Много твердили ему, о чем говорить с крестьянами и как учить их. А поучишь, когда сама старая майрик ¹⁾ Закарьян, та, что живет на кладбище, в пещерной дыре, ударила его по руке выше кисти и пробормотала нехорошее слово,—за то, что он хотел показать ей, как по ученым книжкам доят корову! И вот, наконец, работа по плечу отпускника. Вот пришла минута, когда покажет он, отпускник, все свое городское знание и силу.

Сняв шапку и колотя по ней кулаком, словно по барабану, он обводил толпу красноватыми, плохо пригнанными глазками — одним коренным, другим пристяжкой. Ну-ну-ну, сверлил один глаз, — кто захочет это отрицать? Разве я плохо сделал, разве не тащу на себе деревню? Так-так, подмигивал другой сбоку, поглядывая на майрик

¹⁾ Майрик—по-армянски матушка.

Закарьян, стоявшую поодаль, скрестив руки и угрюмо выставив над платком, обмотанным вокруг рта, два тронутых трахомой глаза.

— Тогда я вышел вперед, старики! — вопил парень, то наступая на толпу, то отступая: — вышел и говорю, — обрати, товарищ, вниманье. Ты, говорю, пролетаешь по деревьям на машине, ты сидишь в городе, ты свою смену за глазами держишь, а я есть живая сила на местах. Двинь, товарищ, нашего парня.

— Это псаломщик сказал, — нетвердо возразил старик: — псаломщик сказал и вынес бумагу. Уж ты не сердись, Вахо, твои бумаги мы скрали. Без них ничего бы не вышло.

— Последнее дело бумага! — взвился парень и снова заколотил по шапке, собирая в нее вниманье: — факт есть тот, что я подтвердил этого селькора. Псаломщик ничего не сказал про селькора. Тогда товарищ с машины взял бумагу, начал читать и удивился. Соседу передал и сосед посмотрел на нас. Где он, — спрашивает товарищ: — это поразительный случай. Я говорю: борьба с темными силами деревни, культурный фронт. А псаломщик опять портит. Вахо — говорит — пастух, его сейчас нет, говорит он, — а песни он поет еще лучше, чем пишет. Я ему сделал знак, чтоб молчал. Опиум не должен перед народом говорить.

— То-то ты и поговорил, — иронически вмешался рыжий псаломщик с зубами такими редкими, как лес после рубки: — ты ему фронт, да фронт, а он тебе: оставь, товарищ, в стихах никакого классового сознания, а только одна отсталая природа и беспартийность.

— В городе из него природу выведут! — разозлился парень. — Природа не моя вина! На ваших местах буйвол не поворотится, не то что трактор. Вот шоссе недавно машинкой катали вроде танки. Пой про нее! Отчего не поешь?

Вахо страдальчески двигал веками. Он боялся понять, что случилось. А случилось такое дело:

Секретарь укома, в пропыленном автомобиле шибко катясь к перевалу, вдруг возле самой деревни застопорил. Черный шоффер полез под машину, долго лежал под ней на спине, дергая и ползая ногами во все стороны, как сороконожка в щели, а крестьяне, не торопясь, обступили дорогу. Шли они, густо наползая из землянок, молчаливые, сосредоточенные, с неподвижными лицами и остановились невдалеке, темными кучками, одного защитного цвета с кизяком, что стоит пирамидками возле земляного жилья. Новому человеку показалось бы: нет глупее этих безмолвных и безразличных лиц, безответней этих поджатых губ, бессмысленней этих больных красноватых глаз. Но секретарь укома знал с кем имеет дело. И когда попросил у ближайшей молодухи напиток, та вынесла городской стакан с белой, как известь, жидкостью, — прохладную кислоту мацуна ¹⁾, разбавленного родниковой водой, — и равнодушно сказала:

¹⁾ Мацун — кислое молоко (лактобацилин).

— Зачем не сходишь? Сойди! Хлеб есть, сыр есть.

Это было началом. Каждый, слегка отделяясь от кучки и теряя защитный цвет, стал двигаться прямо к нему, из прорезей бронзового лица устремляя на него внезапно ожившие острые жучки-глаза. Словно облачка от выстрелов, поднимаясь там и сям, вспыхнули отдельные возгласы, а потом, перекинувшись мостиками, загудели вокруг него сразу все:

— Маџчик-грузин... пастух. Складные песни поет, очень складные. Возьми мальчика в город, учи его. Пропадет у нас ни за что!

Недаром Вахо пел песню деревне. Мать и отец его умерли в один день, уйдя на отхожий промысел в Борчалу. А кто из горных деревушек уходит в проклятую Борчалу, непременно подхватит малярю и погибнет с фельдшером или без фельдшера, — это все знают. Вахо застрял в армянской деревушке и вырос в ней. Он стал петь песни, сперва на родном языке, потом на армянском. Псаломщик учил его писать. Он остерегал Вахо от новых слов. Но у Вахо были собственные слова,—не старые и не новые, и всякий раз, как он находил их, псаломщик думал про себя: есть, непременно есть такое слово в старом грапаре¹⁾, быть не может, чтоб не было. Складные песни помогали свадьбам и похоронам. Парни заказывали Вахо стишки, чтоб покорить девушек.

Секретарь укома держал перед собой тетрадку, где острым и нежным почерком, дешевым бескровным карандашом, умевшим только царапать и не давать крови, — бледно стояли такие необычные записи, что даже он почувствовал холод в позвоночнике.

— Взгляни сюда!

Молчаливый спутник секретаря высунул нос из-под платка, куда спасся от солнца и мух. Тетрадь была в желтых пятнах. Толстые, заросшие волосами пальцы потянулись к ней нерешительно, с брезгливостью. Но не успел молчаливый человек прочитать первую страницу, как зажевал собственный ус и побледнел от волнения.

— Это гениально, гениально, — голос его охрип, как бывает от слишком большой неожиданности. Багровый нос, обожженный солнцем, сердито уставился на секретаря: — что ж ты мне ничего не говорил! Нельзя его здесь оставлять!

Волненье, охватившее их, перекинулось в толпу. Ни секретарь, ни его спутник не были знатоками поэзии. Родной язык в жеваных передовицах газеты казался им плоским и маленьким, как искусственный пруд. Но тут словно смерч встал, закрутя воду в столбы, и пошли гулять саженные волны, а пруд превратился в море. Будто от веянья сильного ветра, несущего влагу, волосы их зашевелились и встали,—вот

¹⁾ Грапар—древний армянский язык; он уступил место разговорному языку современности, ашкаралару.

оно настоящее искусство, большое искусство! Сознание может ошибиться, но не ошибается кожа, холодная от волнения. Они переглянулись, ничего не говоря друг другу, а крестьяне внезапно почувствовали знакомую и неприятную мужицкую досаду: так бывало с ними, когда, откопав в земле тусклые кувшины и зелено-красные браслетки, они задешево продавали их городскому человеку в очках, и тот бледнел и поджимал рот совсем как секретарь укома. Вот он, каков Вахо; продешевили паренька!

Мужики, недовольные, уже отодвинулись от машины, со смутным чувством обиды.

Но сейчас, когда Вахо стоял перед ними, подогнув коленки и горячими испуганными глазами газели водил по толпе, он был такой маленький, он так чистосердечно не знал своей ценности, так мало мог сделать сам для себя...

— Они сказали, ты — большой человек, Вахо, — медленно заговорил седобородый, отстраняя рукой тощего отпусника: — за всех нас запоешь перед людьми, прославишь деревню. Тебя осенью возьмут в город на все готовое, пища, одежда, жилье. Учить будут. Они оставили бумагу, — возьми, прочитай, она лежит в сельсовете и за тебя сам председатель положил подпись!

II

Майрик Закарьян одна ничего не сказала. Она пошла впереди толпы к пещерной дыре на кладбище, здесь ночевал у нее, за куль хлеба от деревни, пастух Вахо.

Когдаходишь в земляное жилье со свету, не сразу увидишь, что там есть. Столбы подпирают крышу; утопан пол, как чугунок, земля лоснится от твердости, — пролитая вода стоит, не впитывается. Дыму под крышей! Сгрудились серые клубы у круглой дыры на потолке; горьковатый запах пропитает вам волосы, одежду. К запаху дыма примешался сухой запах глины и земли. Он прочернил кожу на людях: точно песком натерты лица, руки; вдоль мельчайших морщинок и пор, во все углубленья, лег пепел, делая кожу выразительной и разрисованной, как дубовый лист.

Старуха, качая головой, прошла из большого жилья в чуланчик поменьше. Здесь, сквозь дыру в потолке, падал вниз солнечный луч, одинокий и прямой, как палка, и в нем носились, рдея от нерожденной радуги, сотни пылинок. А внизу, в солнечном кругу, под самый луч подобралась жидкая армянская курица с бесперыми лапками, рыла напрасно жесткую землю и бормотала круглым, пестрым цыплятам, катившимся, как шарики, ей под ноги.

Неся перед собой старые руки, словно две сухих ветки, майрик Закарьян нетвердо нашарила остродонный кувшин в углу. Из него пахло острым: здесь хранилась молочная сыворотка для супа. Ходя

из угла в угол и готовя обед, майрик не переставала бормотать что-то себе в платок. Вахо сел у тондыра ¹⁾).

— Ешь, сынок.

Сама она есть не стала, а коричневыми и сучковатыми руками, несоизмеримо большими для худенького старушечьего тела, взяла острое веретено, дала ему щипок, и когда, жужжа и вертясь, оно полетело к полу, стала неторопливо пряхть, горстью выхватывая серую шерсть из мохнатой кудельки.

— Пустое говорят в деревне, сынок,— бормотанье слилось с гуденьем веретена: — кеоса ходит, дурной глаз ходит. Одна я знаю, как отвести дурной глаз. Пусть называют меня мальчишки дэви-майр ²⁾). Старые люди обошли жизнь по кругу. Старые знают, где начинается, где кончается. Ешь, сынок, отчего не ешь?

Вахо сидел на земле, глядя перед собой неподвижными глазами.

— Суп засыпан пшеницей, — глотни раз, само запросится. Ты еще был крошкой, когда мой покойник Сурэн выкопал в поле горшок с монетами. Он принес его сюда на животе, держа руками и подгибаясь. Я потеряла монету землей, она заблестела, Вахо, как солнышко. Тут мы оба точно ополоумели. Всю ночь сидели, сунув ноги в тондыр, и чесали с ним языки, что купим, что продадим, что заведем, что посадим. Люди советовали: зарежь барана, сделай матах ³⁾), полей богу кровью. Нет, отвел кеоса наш ум,— был тут человек плешивый и с нехорошим водяным глазом, торговал у нас горшок, а на утро ни человека, ни горшка, ни золота.

Вахо тихо доел суп и встал с земли. Он плеснул в крынку водой и вышел, помыть ее. Притолка земляного жилья, — деревянная доска, вбитая в глину, — доходила ему до мохнатой шапки. Остановясь под ней, словно в рамке, он в тысячный раз взглянул на убогий и странный мир, курившийся перед ним десятком сизых дымочков над бугорками рыжей и голой земли; стоявший черными пирамидками кизяку; перебежавший дорогу от канавы к канаве длинной блестящей водяной крысой, голубовато-черной в извилах пугливого, мокрого тела; чмокавший внизу сонной струей родника, от которого шли вверх женщины, шурша по камням сухими ногами в длинных белых штанах и сутулясь под остродонным кувшином на плече.

¹⁾ Тондыр—земляной очаг в Армении, где на особых подушках пекут плоский хлеб, лаваш.

²⁾ Дэви-майр—образ из древне-армянской мифологии «мать дэва» (дэв—особый демон); в ходу, как ругательство.

³⁾ Матах—жертвоприношение; до сих пор в армянских деревнях распространены обычай: резать барана и варить его ночью, в ограде какого-нибудь монастыря, чтимого деревней.

III.

— Вахо!

Осторожный кашель обдал его запахом жеванного табака. Из-за угла подходили двое: тот, что поближе, насупил густые с прожелтью, жесткие, распетушенные брови. Крючковатый нос уходил под шею. Рот пропадал под носом, тонкими остриями полумесяца поднимаясь к углам. В руках мужика был кнут, — ремешок с сухой оленьей ножкой вместо кнутовища. Следом за ним, отдуваясь, двигался толстенный Минас, не мужик, — блин на сковороде, зарумяненный по краям и распузыренный на середине.

— Войди в жилье, Вахо! — осторожно сказал первый, выставив из-под носа желтый, одинокий клык.—Иди и ты, Минас, не бойся! Майрик Закарьян не такая женщина, чтоб потерять куль хлеба. Что ты будешь есть тогда, майрик? А ну-ка иди, и чтоб тебя не было на шапку от дома, слышала?

Он сделал движенье, будто швырнул от себя шапку. Перекинув с руки на руку длинную пряжу, майрик Закарьян подхватила веретено и вышла.

— Садись, Вахо. Садись, Минас! — И сам сел первый возле тондыра. Это был самый бедный мужик на деревне, кривой Оник. Но и самый нахальный мужик на деревне был кривой Оник. Никому в голову не приходило, что он мог выдумать. Если кто говорил «три», он отвечал «четыре», говорили «четыре» — отвечал «пять». Ни одно дело не делалось без кривого Оника, и даже сам районный ветеринар, товарищ Домоклетов, называл Оника деревенской чумой.

Толстый Минас сел, растерянно отдуваясь.

— Вот что, Вахо, — начал Оник, брызгая слюной: — деревня поила, кормила тебя, сделала важным барином. Поедешь в город, учиться будешь, сапоги носить будешь. Нехорошо уходить так, без благодарности.

— Я благодарен, Оник, — потупясь, ответил Вахо.

— Из этого муки не смолоть, парень. А вот, что ты можешь сделать. Минас, сам знаешь, добрый мужик. Ты пировал на свадьбе Минасовой дочери, ты сочинил стишки для Лукаша, Минасова зятя. Двор у Минаса — так себе двор. Что такое двор мужика против городского дома? Стадо Минаса, конечно, большое стадо. Сады Минаса, конечно, сады, — как полагается. Но за что обложили Минаса таким налогом? От него нам всем корм и пропитанье. Так я говорю, Минас?

Толстый Минас мотнул головой вниз.

— Зарезать Минаса — деревню зарезать. Нехорошо, неправильно сосчитали налог. Трудно мужику добиться правды. Когда в субботу приедут к тебе из города, ты садись, Вахо, с ними на машину, катайся с ними, пой им песни, говори им складно, расскажи про деревню и про Минаса. Помни, что надо сказать: Минас не такой бога-

тый мужик, у Минаса весь мир кормится, на Минаса батраки не работают, родня работает. Слышишь меня?

Вахо кивнул, и краска хлынула у него от шеи к голубоватым векам, опущенным над широко расставленными большими глазами. — Запомни!

Внушительно ударив его по плечу, кривой Оник поднялся, взял с земли кнутовище и сунул в штаны. Минас, неповоротливо дую себе в усы, поднялся тоже.

Сошла ночь, ущелье стало черно, как колодец. Отвязали на крышах густогривых собак, и тени их шарахнулись по земле. Высыпали звезды.

С непонятым стеснением в душе худенький мальчик прошел к себе на ночлег — старую крышу над кладбищем, где майрик Закарьян насыпала сена. Отсюда, если направо взглянуть, виден стройный профиль полуразрушенной колокольни, построенной у входа в ущелье, и камни под ней, старые, днем красные от железистой окиси, грубые с высеченными крестами и неуклюжим орнаментом. А поглядишь налево, и внизу лежит вся деревня, с темными башнями кизяку и соломы, с тонкой деревянной колоннадой перед жильем, с черными дырами дворов, с лавками, мельницей, садами богача Минаса, с круглой резьбой карниза под его крышей, такой же плоской и пыльной, как у других.

Вахо поворочался на соломе и хотел заснуть. Но вставала луна. Трудно заснуть, когда подождли солому за краем земли, и она горит красным светом. Горит и трещит — в непрерывном цыканьи ночных неспящих сверчков. Но вот выкатилась сияющая, полная, зыбкая и остановилась повыше гор...

Лежа, рука под затылком, подняв колени, глядел Вахо прямо на луну.

А внизу кралась тихими шагами, с монетами на богатой головной повязке, молодая жена Лукаша, Минасова дочка. Сегодня весь день соседки выколачивали у них на дворе жирные мягкие зерна подсолнухов из водянистых чашек. Сидя в кружке и колотя палками, они хохотали и переговаривались. Та, что вынесла секретарю укома стакан с мацуном, говорила о Вахо, и крестьянкам казалось, что никогда они до сих пор не видели и не слышали мальчика-пастуха. Был пастух — стал гордость деревни! Каждая вспоминала про стишок или песенку, пропетые женихом или просто молодчиком. Мать вспоминала, как пели детишки. Все эти песенки, легко, словно сдувая пыльцу с одуванчика, пел в воздух Вахо, не считая и не запоминая их, — и песни носились бабочкой в воздухе, от одного к другому.

— Он сладко говорит, — сказала самая старая, мать восьмерых детей: — так сладко, — и дети повторяют своим ротиком его слова. Никогда я не слышала от Вахо грубого слова. Бывало ругаешься, обколотишь в работе руки, устанешь, — а как пройдет мимо Вахо с песенкой, странно станет и зубы оскалишь. Скучно будет деревне без мальчика!

Одна только хозяйка, жена Лукаша, ничего не говорила и глядела в сторону длинными, как миндалины, глазами. Ей вспоминался воловий затылок Лукаша, его мохнатый рот, тупые глаза — не песенками ли Вахо он заставил ее выйти за него замуж и принять в дом свекровь, злую как медведица? И вот Вахо стал героем, гордостью, чудом деревни! Вахо повезут в город, станут учить, он вернется оттуда с очками и золотыми зубами, как у городских учителей, и кто знает, повернет ли он голову, если все дочери Минаса позовут его в дом?

— Вахо милый, — зашептала жена Лукаша, наползая на мальчика и загораживая огромную рыжую луну: — не дрожи, я тебе ничего не сделаю, только поцелую разок, крепко поцелую за песенки, что ты подарил глупому чорту, Лукашу!

Она вытянула красные губы, нашла рот мальчика и, хотя он отталкивал ее, что было мочи, худой, как тростинка, рукой, поцеловала со всей силой, втянув его дыханье и укусив ему губы. Потом, как пьяная, поползла с крыши, звеня монетками на белом лбу и путаясь в складках юбки.

Мальчик бросил ей вслед горстью сена. Дрожащий от обиды и гнева, он не придумал ничего другого. Горсть не долетела даже до лестницы, а, постояв в воздухе, лишенная жизни и тяжести, вместе с ветром вернулась ему, бессильной щепоткой, в лицо.

IV

Утром на пастушью дудку со всех дворов, в полумраке, начинают выходить, шурша по земле копытами и почесываясь спинами о стены, темные тени. Поднимут рогатую голову, постоят, опять идут. Сипло сопят буйволы, коровы дожевывают ночную жвачку. Ноздри у коров розовые, опухшие, дышать им трудно. За ними трясется мелкота, козы и овцы; на приподнятых задках пыльное, как войлок, руно, ударишь — пыль столбом и рука уйдет в шерсть.

Вахо проследил, все ли в сборе. Последней пришла черная корова Оника. Слившись в стадо на повороте, животные густо пошли вверх по ущелью. Справа и слева, опустив хвосты, носом в землю бежали собаки. Вахо легкий и длинный, вскидывая коленки, носился наперерез козлятам, перепрыгивавшим канаву. Огромная баранья шапка еле держится у него на затылке, ноги в обмотках, сандалии из буйволового кожи тянула и острым шилом буравила по краям майрик Закарьян.

Миновали ущелье, внизу в последний раз мелькнула деревенская колокольня. По углам ее были ниши, берегавшие в себе, как в раковинах, глубокие тени ночи. Но наверху земля начала выкуривать росу, жарко стало, застрекотали десятки ручьев, продираясь через кусты и колючки острыми локоточками.

Вся деревня шла перед Вахо. Жирные буйволы Минаса с ослюнявленными мордами били себя хвостом по бокам. Черная корова Оника

гипнотизировала белыми кругами вокруг глаз. Маленькая желтушка псаломщика не шла — бежала. Тигранян, председатель, так и кивал бородой в собственном козле, желтоглазо и начальственно пучась на семенивших за ним коз. Ягненок майрик Закарьян, непомерно длинноногий, нетвердо скакал, как собачка, возле Вахо.

Пастбище, куда они шли, было верстах в десяти над деревней, у самого истока реки. В узком ложе, среди насыпанных серо-белых кругляков и оторвавшихся обломков скал, крутилась горная речушка, заставляя зеленую влагу в глубоких ямах. Внизу, меж камнями чернела лазейка. Длинная, белесоватая, похожая на восковую, лежала тут шелуха, словно футляр от смычка — змеиная шкура. Вахо часто находил их перед острыми щелями в горах. Он любил змей. В песнях он пел о том, как стареет змея, разносив свою шкуру, как ей становится не по себе, тонким телом в разношенной оболочке. И вот она начинает тревожиться, свернется и развернется, ляжет в кольцах на траву, подпрыгнет из нее в воздух, и вдруг свистя поползет змеиной дорогой, исхоженной предками, пахнувшей змеями, с бледными знаками длинных следов, пока не очутится перед щелью. Вахо видел глаза змей и судорогу, взвивавшую ее тело. Змея не хотела лезть в щель. И все-таки лезла, сцарапывая с себя доношенную шкуру, пока не цеплялась шкура, лопнув, словно бычачий пузырь, за каменный выступ, и змея выходила из щели бледно-розовая, сияющая молодостью, вздрагивая от остроты ощущения жизни...

День все жарче. Стадо разбрелось, обшаривая мокрыми губами пахучие травки. Бараны быстро стригут мордочками, похожими на машинку для стрижки волос, и курдюки их колышутся медленно, от каждого шага. Черная корова легла на траву, не подогнув, а выпятив ноги, торжественным сфинксом, и подняла черную морду с белыми пятнами вокруг глаз. Она тяжело дышала. Солнце вызвало в ней сердцебиенье. Копыта ее чесались.

Вахо знал, что в коровьем теле экстаз. Пора было гнать стадо на водопой. С гортанным криком, прищелкивая кнутом, он носился взад и вперед, пока не согнал стадо в ущелье; оно спустилось по крутизне, тяжело ступило в речные ямы, замутило воду и оцепенело.

Тогда, сев на камушек, он вынул свою драгоценность, тонкий и темный кухонный ножик, одно лезвие без ручки, и стал мастерить себе новую дудку.

Между тем, белая с бурым туча остановилась над ущельем. Белые хлопья стали сворачиваться, а бурые разматываться и падать длинными, тяжелыми дорожками вниз. Солнце исчезло. На секунду остановился ветер. И вдруг с высоты налетела пыль и посыпался вниз мелкий камень. Вахо поднял голову, — быстро, выпученными кругляками, языком тигра, катился на ущелье буро-черный вихрь. Мальчик вскочил и выронил дудку. Шапка слетела от прыжка с затылка. Собаки скулили, уткнув морды между лапами. Шла смертоносная буря с горы

Ляльвар¹⁾, редкая буря, о которой говорили деды. Он знал, что в такую бурю деревья несутся в воздухе гусиным пухом, град бьет виноградники, лужи вздуваются реками, реки водопадами. Но, прежде чем сообразил, что ему делать, круглая туча, исчерканная сотней желтых зигзагов, опрокинулась над ущельем ливнем.

Отчаянным криком Вахо стал гнать стадо из речки на берег и, забегая в воду, толкал изо всех сил горячие тела животных. Но стадо испуганно сбилось и все глубже наседало под ливнем в ямы, где не так било течение. Тогда, содрогаясь от ужаса, он побежал, маленький, тощий, намокший к берегу, таща черную корову за хвост. Но корова не двигалась. И Вахо бежал, не двигаясь с места. И волны бежали не двигаясь. Двигался только берег, шипя, удаляясь, становясь все уже и уже. Речка густела, точно была фонтаном из-под земли. Вода уже дошла коровам до ребер. Блеяли бараны безумным бляньем, их уносило вниз по течению с перебитыми ногами, вывороченными копытцами, розовой пеной у морд, мутным ужасом в стеклянных зрачках. Бессмысленные толстые буйволы падали на колени, разбиваясь о камни. Стадо предсмертным мычаньем зывало к Вахо, весь мир наполнился круглыми, мертвыми градинами, — зрачками животных, с бледной мукой крутившимися в воздухе. Стадо погибло, деревня погибла, добро богачей и бедняков, их хлеб и хлеб их детей в минуту, меньше чем в минуту, крутясь, унеслось в бездну. Вахо закачался от боли из стороны в сторону, как на похоронах. Страшная острота сознания пронзила его: он видел сейчас спиной, как будто в спине был глаз, необыкновенно длинного на песку от вытянутых ног и мокрого руна, мертвого ягненка, поднявшего в кровавом оскале губу над кротчайшими мелкими зубочками. Видел вытянутым пальцем рук перед собой, в кромешной тьме, ревуший огромный поток, где неслись вниз темные тела, то оттягиваясь волной вниз за ноги, то всплывая вверх вздутым белесым брюхом...

— О - а! — закричал Вахо и прыгнул лицом в бездну, с волосами, поднятыми от неистовой силы крика.

Его нашли утром, когда стало тихо, на щебне.

Он лежал с подкинутыми коленками, как при беге, с разметанными руками, ладонями вверх, с головой, свернутой на бок, потому что при падении ему перекутило шею. И только волосы стояли один от другого торчком на голове, точно вздыбившая их сила не хотела разжать мускулов даже в смерти.

¹⁾ Ляльвар — гора в Лорийском уезде. Ежегодно от бурь здесь страшные опустошения. Град губит посевы.

Осенняя поэма

Д. БРОДСКИЙ

Э. Багрицкому

Уже подходит осень,
Пора глухих ночей...

Ж. Лафорг.

Опять с утра покой неиз'яснимый
Прозрачным дымом стынет на душе,
И тело крепнет силой избытой,
И избытой силой закипают
На сердце долгожданные стихи...

Уже на рдяный холод и туманы
В овчинах,—за ленивыми стадами
Выходят спозаранку пастухи,
А вечером на жнивье опустелом
Садится на ночь воронье...

Опять

Неведомые звуки с поднебесья
Доносятся, и что—не разберешь:
То журавлиный клин перелетает,
То у криницы гнется журавель
И ржавые повизгивают ведра,—
И жалостно, и хорошо...

С утра

Я покидаю тесную каморку,
Теперь ничто не трогает меня:
Я знаю только запах травянистый,
Недолгий день, безграничные просторы,
И над просторами вороний грай...

И, задворками выйдя на дорогу,
По высохшим и гладким косограм
Я опускаюсь в голые луга:
Там теплым маревом меня обстанет
Над пашнями струящаяся плавь,
Чтоб, унесенный этой светлой зыбью,

Я затерялся на просторах вольных,
Как воздух, солнцем растворенный..

Ты,

Душа незнавшая, теперь узнаешь
Глухую душу пашен и лугов—
Открытую: в лугах на сотни верст
Раскинуты линиялы стога,
И глыбы голые спешат по пашням
Тебе навстречу, странник и поэт,
И холодом и острою росую,
И светоносной и полднейной плавью
Плывет дыханье осени всемирной:
Прислушивайся к ней, и если ты
Задумаешься, пристально взглядишься
В такую ясность, глубину такую,
То поплывешь блистательной лазурью,
Как высохшее плавает репье...

А вечером, когда закат погаснет,
И синей влагою наляжет сумрак,
Ты под землей услышишь грохот дальний,
Приглянешься: и вот издадека,
Шумящим паром отбивая ход,
Блеснув стремительным отлетом окон,
Неясной линией узкоколейной
Промчится поезд, и во тьме заглохшей,
Увидя семафор зеленоглазый,
И что внутри сторожевая будка
Озарена как будто бы сияньем,
Ты не поймешь и спросишь: почему
Так поздно поезд начал проходить,
Ведь расписание не изменилось?

Так за тобой, осеннее раздолье,
Бреду растроганный весь день, а ночью,
Раскрыв окно на северо-восток,
Гляжу и жду, и гулкий бой минут
Отсчитывает сердце, и стихи,
Витийствуя, хлопочут на душе,
А там, вдали, в пространстве темноты,
Уже вступают многоцветной рябью
Осенние Плеяды...

И опять

Неведомые звуки с поднебесья
Доносятся, и что—не разберешь:
То кажется, что, затемняя звезды,
Невидимый косоугольник снова
Плывет на юг, или:—по шляху шагом
Вытягивающиеся телеги,
Плодами нагруженные, и зычно
Немазанные оси голосят...

Ты, жизни приобщенная всемирной,
Ликуй, душа. Тебе теперь знакомы:
И радость буйная вороньих свадеб,
И тягою осеннего кочевья
Наполненные зори, дни, и ночи.
На пашнях и на жнивье опустелом
На взметах, по изложинам, в бурьянах,
Ты видишь: дикое зверье таится,
Ночей ущербных слышишь голоса,
И волчий вой, и лисий лай и хохот.
Совиный визг, и ястребиный свист
Тебе довлеют жутью первобытной
В покойной заводи земли, застывшей
Прозрачным дымом обнаженной ночи.

Пушкин и мужики¹⁾

П. Е. ЩЕГОЛЕВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Крепостная любовь Пушкина

Эпизоды. (Пельмов уезжает в деревню.—Смерть отца его.—Эпизод крепостной любви).

Из программы к роману «Русский Пелам».
А. Пушкин.

I

Из села Михайловского, где Пушкин отбывал годы ссылки (1824—1826), по прекрасной дороге, вдоль озера, рукой подать в имение Петровское. Здесь, в двадцатых годах прошлого столетия, повелевая своими крепостными рабами, хозяйничал и доживал свои дни помещик Петр Абрамович Ганнибал, старший представитель расплодившейся в Псковской губернии с половины XVIII века «Ганнибаловщины». Шел ему восьмой десяток, и был совершенно черен этот внук владетельного князя в северной Абиссинии, имевшего во второй половине XVII века резиденцию на абиссинском плоскогорье Хамассен, на берегах Мареба, в Логоне, и сын арапа Петра Великого, Ибрагима (Абрама), в детском возрасте взятого в аманаты (заложники) к двору турецкого султана и отсюда выкраденного в арапчата русскому царю. Племянница помещика имения Петровского — Надежда Осиповна Ганнибал — была матерью Пушкина.

С Ганнибалами, родственниками по матери, Пушкин познакомился впервые в 1817 году, когда, сейчас же по окончании обучения в лицее, уехал в Михайловское — имение матери. В 1824 году Пушкин, пребывая в Михайловском уже на положении ссыльного, занялся записками своей жизни и 19 ноября вспомнил первое посещение Петровского: «Вышел из

¹⁾ Для настоящей статьи, являющейся извлечением из моей книги «Пушкин и мужики», я использовал рукописи Пушкина, бумаги вотчинного архива села Болдина, имущественные дела Пушкиных, Сергачского и Лукояновского уездных судов, хранящиеся в Пушкинском доме, и находящиеся в моем распоряжении документы опеки над имуществом А. С. Пушкина.

лица, я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч... но все это нравилось мне недолго. Я любил и доньше люблю шум и толпу и согласен с Вольтером в том... деревня *est le premier*»... На оборотной стороне этого клочка, единственного, уцелевшего от записок Пушкина, веденных в Михайловском, сохранилось несколько строк о посещении деда Ганнибала в Петровском: «...попросил водки. Подали водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести, я не поморщился—и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он опять попросил водки — и повторил это раз пять или шесть до обеда. Принесли... кушанье. Поставили»¹⁾). Анненков дал сочный комментарий к этой записи Пушкина: «Забавно, что водка, которой старый арап потчевал тогда нашего поэта, была собственного изделия хозяина: оттуда и удовольствие его при виде, как молодой родственник умел оценить ее и как развязно с нею справлялся. Генерал-от-артиллерии, по свидетельству слуги его, Михаила Ивановича Калашникова, которого мы еще знали, занимался на покое перегоном водок и настоек, и занимался без усталы, со страстью. Молодой крепостной человек был его помощником в этом деле, но, кроме того, имел еще и другую должность. Обученный через посредство какого-то немца искусству разыгрывать русские песенные и плясовые мотивы на гусях, он погружал вечером старого арапа в слезы или приводил в азарт своей музыкой, а днем помогал ему возводить настойки в известный градус крепости, при чем раз они сожгли свою дистилляцию, вздумав делать в ней нововведения, по проекту самого Петра Абрамовича. Слуга поплатился за чужой неудачный опыт собственной спиной, да и вообще, — прибавлял почтенный старик Михаил Иванович, — когда бывали сердиты Ганнибалы, все без исключения, то людей у них выносили на простынях. Смысл этого крепостного термина достаточно понятен и без комментариев»²⁾).

II

9 августа 1824 года Пушкин прибыл на место своей ссылки — в имение матери, в село Михайловское. Здесь он застал в сборе всю семью — «дражайших» отца и мать, брата Льва, потешного 19-летнего юнца, сестру Ольгу, «27-летнее небесное создание». Пушкины ютились в старом барском доме, одноэтажном, деревянном, на каменном фундаменте. Устраивал и обставлял дом в половине XVIII века самый грозный из Ганнибалов—прадед Пушкина Осип Абрамович. Крепостное хозяйство Пушкиных было незначительно. При селе Михайловском числилось всего около 1.965 десятин земли, в том числе пахотной—848, под покосом — 216, под лесом — 320, под озерами — 471, и на этом пространстве было 80 ревизских душ и около

¹⁾ Цитирую по подлинному автографу, воспроизведенному Анненковым не совсем полно. Находится ныне в т. н. Майковском собрании в рукописн. отдел. библиотеки Российск. Академии Наук.

²⁾ П. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху, 1799—1826, Спб. 1874, стр. 11—12.

100 душ женска полу. Господской запашки было 71 десятина. Дворни в 1825 году при барском доме было всего 29 человек, из них 13 мужчин и 16 женщин. Старые Пушкины были помещиками беспечными и нерадивыми, в хозяйство они не входили и во всем полагались на лиц, ими поставленных и облеченных доверием. А их доверенные не особенно радели о хозяйском интересе и больше думали о собственном обогащении, чем о пополнении хозяйского сундука. В 1824 году приказчиком или, выражаясь высоким штилем, управляющим был Михайло Иванов Калашников, уже известный нам крепостной гуслар и усладитель досугов Петра Ганнибала, у которого он прошел хорошую крепостную школу и, кроме того, научился самогонному делу. В 1824 году ему было 52 года, жил он в Михайловском с семьей.

Калашников был особенно доверенным человеком Сергея Львовича Пушкина. Кроме Калашникова, важным лицом в хозяйственной жизни Михайловского имения была Роза Григорьевна, домоправительница или экономка, поставленная на эту должность матерью Пушкина. Не последняя спица в хозяйственной колеснице была и знаменитая Арина Родионовна, няня Пушкина. Она смотрела за дворовыми девушками, работавшими в барском доме, ткавшими и вышивавшими господские уроки. В старостах во время пребывания Пушкина в Михайловском ходил мужик Архип; через него приводились в подчинение михайловские мужики.

В состоянии крайнего возбуждения, раздраженный и озлобленный, прибыл Пушкин в Михайловское — из шумного города, от моря, от голубого неба полудня — в далекий северный уезд, под пасмурное осеннее небо, в страну докучливого дождя, в глухую деревушку.

... Слезы, муки,
Измена, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилось!

Запутанный клубок чувств обуревал душу Пушкина. Муки ревности, страдания и горести любви, оборванной насильственной рукой, рана самолюбия, глубоко уязвленного, разбитые мечты о свободе, о бегстве за границу — на фоне хмурой реальной, псковской действительности выливаются в безмерное чувство скуки. «Бешенство скуки снедает мое глупое существование», — писал Пушкин княгине В. Ф. Вяземской через два месяца после приезда.

Семейная обстановка, в которую попал Пушкин, совсем не содействовала смягчению настроения, успокоению. «Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменялось». Главная основа семейных раздоров Пушкина с отцом коренилась в полной их отчужденности. П. А. Осипова, отлично знавшая семью Пушкиных, верно заметила: «Причина вечных между ними несогласий есть страшная мысль, которая, не знаю от чего, вселилась с обеих сторон в их умах. Сергей Львович думает, и его ничем нельзя разуверить, что сын его не любит, а Александр уверен, что

отец к нему равнодушен и будто бы не имеет попечения об его благосостоянии». Так оно и было: отец и сын не любили друг друга и просто были весьма равнодушны друг к другу. В 1824 году действие этой основной причины несогласий было усугублено ссыльным, поднадзорным положением Пушкина. Родители Пушкина были крепко испуганы отношением правительства к сыну; они боялись, как бы подозрительное и опасное недружелюбие официальных сфер каким-либо углом не задело их. Сергей Львович, известный в губернии как по «его добронравию», так и «по честности», имел слабость принять от предводителя дворянства поручение смотреть за сыном и давать отчет о его поведении... Понятно, что жизнь в семейном кругу стала в известном смысле адом для Пушкина. «От этого происходит то, что я провожу верхом и в полях все время, что я не в постели». Натянутые отношения привели к грандиозной скандальной сцене между отцом и сыном. Отец громкогласно вопил, что сын его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить, а сын готов был просить по начальству о переводе его из Михайловского в одну из крепостей. Дело могло кончиться плохо для Пушкина, но вмешалась П. А. Осипова, В. А. Жуковский, и, наконец, благоразумие самого Пушкина одержало верх. Семейная склока завершилась полным разрывом отношений отца и сына, и надолго. В сущности, с отцом у Пушкина никакого сближения не произошло. В начале ноября двинулся из Михайловского Лев Пушкин, через несколько дней — сестра Ольга; ее отвез в Петербург приказчик Михайло Иванович. Пушкин перенес на время свою резиденцию в Тригорское к П. А. Осиповой и в Михайловском после отъезда сестры и брата бывал редко. Наконец, 18—19 ноября покинули свое имение и старики Пушкины.

III

Поэт остался один; настало некоторое успокоение его раздраженным нервам. Он возвратился к своим художественным работам, и даже «скука — холодная муза» не помешала расцвету творчества. Жизнь вступала в размеренный круг. Сократились его путешествия в Тригорское, где с нетерпением всегда ждал его женский цветник — сама П. А. Осипова, 42-летняя вдовушка, и девушки, девушки без конца, дочери от первого брака с Вульф — Аннета и Евпраксия, падчерица по второму браку Александра Ивановна, племянницы — Netty (Анна Ивановна, по мужу впоследствии Трувеллер), Анна Петровна Керн. Тригорское и женщины Тригорского прославлены в биографии Пушкина, быть может, в такой мере, какая действительностью не оправдывается. Надо вспомнить трезвое слово Анненкова: «Всех женщин Тригорского Пушкин почтил стихотворными изъяснениями, похвалами, признаниями и проч. Пусть же читатель представит себе деревянный, длинный одноэтажный дом, наполненный всей этой молодежью, весь праздный шум, говор, смех, гремевший в нем круглый день от утра до ночи, и все маленькие интриги, всю борьбу молодых страстей, кипевших в нем без устали. Пушкин был перенесен из азиатского разврата Кишинева прямо в русскую помещичью жизнь, в наш обычный тогда дворянский сельский

быт, который он так превосходно изображал потом. Он был теперь светилом, вокруг которого вращалась вся эта жизнь, и потешался ею, оставаясь постоянно зрителем и наблюдателем ее, даже и тогда, когда все думали, что он без оглядки плывет вместе с нею... С усталой головой являлся он в Тригорское и оставался там по целым суткам и более, приводя тотчас в движение весь этот мир... Пушкин остается хладнокровным зрителем этих скоропроходящих бурь, спокойно и даже насмешливо отвечает на жалобы их жертв и, как ни в чем не бывало, погружается в свои занятия, соображения, чтения».

Но необходимо здесь же отметить, что первые месяцы пребывания в Михайловском Пушкин удалялся в Тригорское не потому, что его уж так влекло туда, а, пожалуй, единственно по той причине, что уж очень тяжела была ему жизнь на лоне семьи. Он спасался в Тригорское от благонамереннейшего родителя, но еще не почувствовал вкуса к тригорским барышням, и его отзывы о них этого времени резки и беспощадны. Так, около 15 октября он писал Вяземской о дочерях П. А. Осиповой, что они довольно дурны во всех отношениях и играют ему Россини; а в начале декабря он доводил до сведения сестры, что ее тригорские приятельницы несносные дуры, кроме матери.

После отъезда родных уединение Пушкина, по его собственному выражению, стало совершенным. Пушкин занял в родительском доме одну комнату, с окном на двор. Вход к нему был прямо из коридора, а в коридор входили через крыльцо. Режим экономии заставил няню Пушкина воздержаться от отапливания остальных комнат дома и между ними большого зала с бильярдом, на котором Пушкин любил играть в два шара. Отапливалась еще одна комната по другую сторону коридора, дверь, против двери комнаты Пушкина. Здесь жила сама няня и здесь же работали на пяльцах крепостные швеи, под ее началом.

В позднюю осень и зиму 1824 года день Пушкина складывался так: «До обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки!.. Каждая есть поэма». Почти то же писал Пушкин через месяц. «Соседей около меня мало, я знаком только с одним семейством (Осиповой, в Тригорском), и то вижу его довольно редко — совершенный Онегин — целый день верхом — вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны. Она единственная моя подруга — и с нею только мне не скучно...».

Но в это время оживляется его переписка, и тон ее меняется. Правда, попадаются еще редкие напоминания о скуке, больше, так сказать, по обязанности ссыльного. Но они оттесняются на задний план энергичными и живыми выражениями чувств. Какой-то новый прилив уверенной бодрости! Ожили вновь литературные интересы. Пушкин засыпает брата, своего постоянного корреспондента и комиссионера, просьбами о книгах, запросами о литературных друзьях. Книги и вещи, о которых писал в это время Пушкин брату, должен был доставить Михайло. Этот михайловский приказчик, отвезший сестру поэта в Петербург, застрял там, был свидетелем знамени-

того наводнения, вернулся только в начале декабря и доставил все благополучно. Только библии и перстня не вручил ему Лев Сергеевич. А Пушкин так просил брата прислать перстень. «Грустно без перстня, рискни с Михайлом», но Лев Сергеевич не рискнул.

IV

В зимнем одиночестве нетопленного барского дома, внимание Онегина — нет, Пушкина (а ведь с себя писал он Онегина!) — потянулось через коридор в комнату няни, к пальцам, над которыми мелькали руки крепостных поданных, и избрало одну из дворовых девушек. Она показалась Онегину, — т.-е. Пушкину (а Онегин был соблазнителем!), — доброй, милой, очень милой, она понравилась Пушкину. Но ведь она была крестьянка. Что ж? Не все ли равно? 8 декабря Пушкин писал приятелю Родзянко, очень плохому поэту, трудившемуся над романтической поэмой «Чуп»: «...Поговорим о поэзии, т.-е. о твоей. Что твоя романтическая поэма Чуп? (Злодей, не мешай мне в моем ремесле — пиши сатиры хоть на меня; не перебивай мне мою романтическую лавочку). Кстати: Баратынский написал поэму (не прогневайся), про Чухонку (и эта Чухонка, говорят, чудо, как мила!) — А я про Цыганку; каково! Подавай же нам скорее свою Чупку — ай да Парнас! ай да Героини! ай да честная кампания! Воображаю, Аполлон, смотря на них, закричит: зачем ведете мне не ту? А какую же тебе надобно, проклятый Феб? Гречанку? Итальянку? Чем их хуже Чухонка или Цыганка (.....) одна — (...)! оживи лучом вдохновения и славы».

Так вот Пушкин и оживил лучем вдохновения и славы милую и добрую крестьянскую девушку, склонившуюся над пальцами. Лицейский друг Пушкина Пущин навестил ссыльного поэта в Михайловском в январе 1825 года и подметил увлечение Пушкина. После первых восторгов радостной встречи друзья обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть, Пущин вспоминает: «Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным его исключительным положением. Оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливые мои мысли, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было. Я в свою очередь моргнул ему, и все было понято без всяких слов. Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились во-свояси. Настало время обеда. Хлопнула пробка, начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей и за «нее». Незаметно полетела в потолок и другая пробка. Попотчевали искрометным няню, а всех других хозяйской наливкой. Все домашние несколько развеселились, кругом нас стало пошумней, праздновали наше свидание».

Кроме этого свидетельства Пущина о начальной стадии крестьянского романа, мы располагаем еще одним, относящимся уже к заключительной

стадии и идущим от самого Пушкина. Роман завершился или был прерван (не знаю, что вернее!) беременностью девушки, и Пушкину пришлось принять меры. В начале мая 1826 года Пушкин отправил подругу к князю Вяземскому, другу и приятелю, с следующим письмом: «Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твоё человеколюбие и дружбу. Приюти её в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино, в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи... При сем с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню, хотя бы в Остафьево¹⁾. Милый мой, мне совестно, ей-богу, но тут уже не до совести!»

Ответ Вяземского на это письмо последовал 10 мая, но он разошелся с новым письмом Пушкина к Вяземскому, письмом, в котором поэт спрашивал приятеля: «Видел ли ты мою Эду? Вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли, что она очень мила?» Стоит привести и заключительные строки письма Пушкина, которые дают поучительный материал для современных размышлений: «Правда ли, что Баратынский женится? Боюсь за его ум. Законная... род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит. Ты, может быть,—исключение. Но и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если лет еще 10 был холостой. Брак холостит душу...».

Вяземский оказался еще рассудительнее Пушкина. Он ответил: «Сей час получил я твоё письмо, но живой чреватой грамоты твоей не видал, а доставлено оно мне твоим человеком. Твоя грамота едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино, куда назначен он твоим отцом управляющим. Какой же способ остановить дочь здесь и для какой пользы? Без ведома отца её сделать этого нельзя, а с ведома его лучше же ей быть при семействе своем. Мой совет—написать тебе полулюбовное, полураскаятельное, полупомещичье письмо блудному твоему тестю, во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда волею божиею ты будешь его барином и тогда сочтешься с ним в хорошем или худом исполнении твоего поручения. Другого средства не вижу, как уладить это по совести, благоразумию и к общей выгоде. Я рад был бы быть восприемником и незаконного твоего Бахчисарайского фонтана, на страх завязать новую классико-романтическую распря хотя бы с Сергеем Львовичем или с певцом Буянова (т.-е. Василием Львовичем Пушкиным), но оно не исполнительно и не удовлетворительно²⁾. Другого делать, кажется, нечего, как то, что я сказал, а во всяком случае мне остановить девушки нет возможности».

Пушкин внял советам друга. 27 мая он писал Вяземскому из Пскова: «Ты прав, любимец муз,—воспользуюсь правами блудного зятя и грядущего барина и письмом улажу все дело. Должен ли я тебе что-нибудь или нет?

¹⁾ Остафьево—имение князя Вяземского.

²⁾ Отец «Эды» был крестьянином родителей Пушкина и по наследству мог перейти в крепость к Пушкину. На это и намекает Вяземский. А беременная Эда принадлежала тоже отцу Пушкина.

Отвечай. Не взял ли с тебя чего-нибудь мой человек, которого я отослал от себя за дурной тон и за дурное поведение?».

Этими свидетельствами и исчерпываются все наши сведения о крестьянском романе Пушкина. К ним, пожалуй, нужно прибавить еще одно, правда, внушающее мне некоторое недоверие по соображениям хронологическим, упоминание, сделанное И. П. Липранди. Он передает слова Льва Пушкина, приурочивая их к 1826 году: «Лев Сергеевич сказал мне, что брат связался в деревне с кем-то и обращается с предметом—уже не стихами, а практической прозой».

V

Вот и все. Но что же нам делать с этими сообщениями? Как нам вставить в биографию поэта этот крестьянский роман? Биографы и исследователи самым решительным образом обходили этот момент жизни Пушкина, просто отмахивались рукой... не то по чувству целомудрия, хотя бы и лицемерному, не то в силу досадливого и неприятного сознания социальной неправды. Впрочем, есть один писатель по пушкинским вопросам, так сказать пушкинист-импрессионист, который вошел в пространный анализ этого романа и пришел к нелепым выводам: это—В. Ф. Ходасевич в его книге «Поэтическое хозяйство Пушкина». О его неосновательных соображениях я еще буду говорить дальше, а пока приведу лишь сделанную им общую характеристику Пушкинского романа: «Можно предположить лишь то, что со стороны Пушкина было легкое увлечение с несомненной чувственной окраской—типичный роман молодого барина с пригожей крепостной девушкой. Вряд ли также будет ошибкою, если допустим, что роман носил некоторый отпечаток сельской идиллии, отчасти во вкусе XVIII столетия, и слегка походил на роман Алексея Ивановича Берестова с переодетой Лизой Муромской в «Барышне-крестьянке». Почти такую же оценку дает и другой писатель по пушкинским вопросам П. К. Губер: «Это был типический крепостной роман,—связь молодого барина с крепостной девкой».

Я никак не могу согласиться с такой характеристикой. Если брат и интимные друзья Пушкина ни словом не обмолвились о крестьянском романе поэта, так только потому, что, коснея в своих дворянских классовых чувствах, они полагали пустяшной и не достойной даже мимолетного упоминания связь барина со своей крепостной и считали, что связь исчерпывается лишь моментом физиологическим и не дает оснований к надстройкам романтическим. А кроме того, сам Пушкин довольно тщательно укрывал от посторонних взоров эту любовную историю, да и в рукописях своих он оставил слишком мало высказываний, относящихся к этому моменту, но все же оставил, и ими следует воспользоваться. Рассказать о жизненной правде в этом эпизоде для Пушкина было бы так же трудно, как писать мемуары. «Писать мемуары заманчиво и приятно. Никого так не любишь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать—можно; быть искренним—невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью—на том, что посторонний прочел бы равнодушно».

Против легкого характера увлечения Пушкина говорит самая длительность связи. Начальный момент романа, по свидетельству Пущина, падает на январь 1825 года или даже на декабрь 1824 года, и только в мае следующего года Пушкин отпускает или отсылает девушку в период беременности, еще незаметной для окружающих. Из сообщения Вяземского можно заключить, что отец и семья, с которыми ехала девушка через Москву в Болдино, еще не знали о грехе дочери. Итак, год с лишком тянулась связь барина с крестьянкой, и никак нельзя характеризовать ее, как легкое увлечение.

Для кого угодно, но не для Пушкина, это увлечение могло быть легким. В поэзии Пушкина совесть говорила властным языком, и мотив раскаяния, покаяния часто звучал в его художественном творчестве. С необычайной силой запечатлен этот мотив в стихотворении «Когда для смертного умолкнет шумный день»...

В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья.
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свисток:—
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

А ведь это он, Пушкин, написал патетический протест против крепостной действительности!

Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества губительный позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца;
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по броздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут;
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея.

Нельзя не подчеркнуть, что в первой части этого стихотворения Пушкин описывает как раз Михайловское таким, каким оно виделось ему с балкона господского дома:

.. Люблю сей темный сад,
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.

Везде передо мной подвижные картины:
 Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
 Где парус рыбака белеет иногда,
 За ними—ряд холмов и нивы полосаты,
 Вдали—рассыпанные хаты,
 На влажных берегах бродящие стада,
 Овины дымные и мельницы крылаты...

В этой обстановке и разыгрывался роман Пушкина с юной крестьянской девой. И обстановка, и социальное неравенство не могли не напоминать Пушкину его же слов о помещичьей прихоти и не могли не усложнить его чувства. Не даром и наблюдательный Пущин отнесся к роману своего друга с большей чуткостью и осторожностью, чем... Ходасевич. Пущин боялся оскорбить Пушкина неуместным намеком, а Пушкин, поняв, что Пущин догадался, улыбнулся значительно. А потом они пили за «нее». И по этим соображениям нельзя свести этот роман к физиологическому инстинкту, оголенному от всякой романтики. Не для помещичьей же прихоти расцветала крестьянская девушка над пальцами, под наблюдением няни? А, может быть, и для прихоти! Может быть, для прихоти только по началу?

Пушкин углублялся в самого себя и писал «Онегина». На рубеже 24 и 25 годов в главе четвертой «Онегина» Пушкин закончил историю деревенского романа Татьяны блистательной отповедью Онегина бедной Татьяне. Татьяна, выслушав урок Онегина, увядает, бледнеет, гаснет, а Онегин? Онегин, как и Пушкин, еще в деревне, и, возвращаясь к Онегину, Пушкин описывает собственную деревенскую жизнь. «В 4-й песне Онегина я изобразил свою жизнь»—признавался Пушкин Вяземскому:

Прогулки, чтение, сон глубокий,
 Лесная тень, журчанье струй,
 Порой белянки черноокой
 Младой и свежий поцелуй,
 Узде послушный конь ретивый,
 Обед довольно прихотливый,
 Бутылка светлого вина,
 Уединенье, тишина...
 Вот жизнь Онегина святая.

По правде жизни, следовало бы дальше показать деревенские интимности и эту самую белянку черноокою, и что вышло у Онегина с этой черноокой белянкой, помимо молодых и свежих поцелуев. Ну, Татьяну отчитал, отвергнул, а белянку соблазнил... но Пушкин предпочел не развивать вскользь брошенного намека.

VI

Нам необходимо заглянуть еще и в финляндскую повесть Баратынского, названную по имени героини «Эдой». Соблазненную девушку, отосланную в Болдино, Пушкин называет «моей Эдой», но что общего между Эдой и девушкой из Михайловского, какие основания были у Пушкина для сравнения? Эда Баратынского—финка, отца простого дочь простая, блистав-

шая красой лица, души красой, «добренькая» Эда: Герой романа—русский офицер. Эда любит гусара, но боится его, боится ему отдаться.—«Нам строго, строго не велят дружить с вами, говорят, что вероломны, зlobны все вы, что вас бежать должны бы девы, что как-то губите вы нас, что пропадешь, когда полюбишь, и ты,—я думала не раз,—ты, может быть, меня погубишь». Поэма — психологическая история обольщения Эды. Герой, не любя, увлекает Эду к падению.

Питомец буйного веселья
В пустыне скучной заключен,
За милой Эдой вздумал он
Поволочиться от безделья.

Герой владел хладным искусством любовной ласки, гордился жалкою наукой обманов:

Едва пора самопонятья
Пришла ему; наперерыв
Влекли его к себе в об'ятья
Супруги, бывшие мужей
Чресчур моложе иль умней.
И жадно пил он наслажденье,
И им повеса молодой
Избаловал воображенье,
Не испытав любви прямой.

Эда уступила хладному искусству, ответила горячей любовью; но гусар ушел в поход, и Эда не вынесла разлуки: «кручина злая ее в могилу низвела». Баратынский заставляет своего героя измениться. Похоть первоначальная превращается в искреннее чувство... Он тронут был ее любовью невинной:

Увы, мучительное чувство
Его тревожило потом!
Не раз гусарским языком
Он проклинал свое искусство;
Но чаще, сердцем увлечен,
Какая дева, думал он,
Ее прелестней в поднебесной?
Душою проще и нежней?
И провиденья перст чудесный
Он признавал во встрече с ней;
Своей подругой неразлучной
Уж зрил ее в мечтах своих;
Уже в тени дерев родных
Вел с'нею век благополучный..

Поэма Баратынского понравилась Пушкину необычайно. Прочел он ее в феврале 1826 года, когда плоды его собственного романа уже сказались. «Что за прелесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт—всякий говорит по своему. А описания финляндской природы! а утро после первой ночи! А сцена с отцом!—чудо!»—писал Пушкин Дельвигу 10 февраля 1827 года. Немного позже, набрасывая в черновой тетради критические заметки о Баратынском, Пушкин старался уяснить, в чем прелесть поэмы, столь замечательной ориги-

нальной своей простотой, и останавливался на изображении Эды. «Перечтите сию простую, восхитительную повесть: вы увидите, с какою глубиною чувства развита в ней женская любовь. Посмотрите на Эду после первого поцелуя предприимчивого обольстителя:

Взор укоризны, даже гнева
Тогда поднять хотела дева,
Но гнева взор не выражал:
Веселость ясная сияла
В ее младенческих очах...

«Она любит, как дитя, радуется его подаркам, резвится с ним, беспечно привыкает к его ласкам... Но время идет, Эда уже не ребенок:

.....
Своею негою страшна
Тебе волшебная весна,
Не слушай птички сладкогласной!
От сна восставшая, с крыльца
К прохладе утренней лица
Не обращай, и в дол прекрасный
Не приходи...

«Какая роскошная черта! Как весь отрывок исполнен неги!».

VII

Аналогия несомненна: Эда и гусар, Пушкин и крестьянская девушка. От изысканных одесских романов, от блистательных светских красавиц, от аляповатых и претенциозных помещичьих дочек—к простой, милой, доброй девушке.

Я признаюсь—вечернею порой
Милее мне смиренная девица—
Послушная, как агнец полевой.

Тема обольщения невинной девушки развита в «Сцене из Фауста» с трагическим углублением. Фауст у Пушкина—герой скучающий и размышляющий: размышленье—скуки семя. Один момент—и Фауст вспомнил чистое пламя любви и чудесный сон первой встречи, но Мефистофель беспощадно разрушает иллюзию Фауста:

Не я ль тебе своим стараньем
Доставил чудо красоты,
И в час полуночи глубокой
С тобою свел ее?

.....
Когда красавица твоя
Была в восторге, в упоенье,
Ты беспокойною душой
Уж погружался в размышленье
(А доказали мы с тобой,
Что размышленье—скуки семя).
И знаешь ли, философ мой,

Что думал ты в такое время,
Когда не думает никто?

Ты думал: агнец мой послушной!
Как жадно я тебя желал!
Как хитро в деве простодушной
Я грезы сердца возмущал!
Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она...
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистой?..
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслаждением,
С неодолимым отвращением...

Так вот на какие трагические, безутешные размышления могло навести Фауста-Онегина-Пушкина разрушение девичьей невинности? Но прихоть—да, скажем, прихоть—удовлетворена, а связь длится, и прихоть перестает быть прихотью, и физиологический инстинкт, как у героя Эды, осложняется переживаниями социального порядка. Какое же место заняла связь с крестьянской девушкой, продолжавшаяся свыше года, в жизни Пушкина— в истории его любовного чувства и в его творчестве? Да заняла ли? На последний вопрос должно ответить утвердительно, хотя бы на основании уже приведенных соображений. Труднее ответить на первый вопрос, определить место.

Чем могло питаться любовное чувство Пушкина в 1825 году, когда, укрытый от всех взоров, развивался его роман в Михайловском? Скажем прямо: Пушкин не был моногамистом, и одновременно он мог питать страсть к нескольким объектам. Вспомним «Дори́ду»:

В ее объятых я негу пил душой;
Восторги быстрые восторгами сменялись,
Желанья гасли вдруг и снова разгорались...
Я таял; но среди неверной темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.

Кавказский пленник чувствовал такую же любовную раздвоенность:

В объятиях подруги страстной
Как тяжело мыслить о другой!

Но раздваивался Пушкин в любовном чувстве не только между действительностью и воспоминанием, но и между сосуществующими объектами вожделения. В 1825 году, кроме Михайловского, такие объекты могли оказаться только в Тригорском.

О романах Пушкина с тригорскими барышнями—да чуть не со всеми— рассказывают все биографы поэта. Биографами в их совокупности взяты под сомнение все существа женского пола свыше 14 лет, пребывавшие в Тригорском. Сама хозяйка, П. А. Осипова, милая, смешная, оригинальная, маленькая полная женщина 43 лет, вдовевшая с февраля 1824 года, и дочери ее—двадцатипятилетняя Анна Николаевна, сантиментальная, тоскующая, страдающая,

болтливая и неглубокая, с растрепанными височками, которые не шли к ее круглому лицу,—и пятнадцатилетняя Евпраксия, на глазах Пушкина расцветавшая из подростка тоже в женщину, с тонкой талией, в золотистых кудрях на полных склонах белых плеч—любви приманчивый фиал,—и девятнадцатилетняя падчерица П. А. Осиповой Александра Ивановна, Алина, девушка пылких чувств и возбуждающегося воображения,—и одна племянница Анна Ивановна, Нетти, нежная, томная, истеричная («вот это женщина!»—слова Пушкина),—и, наконец, другая племянница, Анна Петровна Керн, о которой надо сказать несколько слов особо. Все эти девушки Тригорского отдали дань сердечных увлечений поэту,—«я нравлюсь юной красоте не сытым бешенством желаний»—говорит о себе Пушкин—все они одновременно были влюблены в Пушкина, но он только снисходил, оставался только зрителем и наблюдателем любовного быта Тригорского даже и тогда, когда все думали, что он без оглядки плывет по волнам этого быта. Правда, и он не обошел своим вниманием ни одной из девушек. Если попытаться внести хронологию в любовную историю Тригорского, то надо, кажется, разбить ее на следующие периоды. Любовные фарсы, потехи падают на первый период—на 1824 год: больше смеха, чем пылких чувств. Нетти занимает воображение Пушкина в марте 1825 года, в начале 1826 года Пушкин влюбил в себя Анну Николаевну, летом 1826 года предметом невинных стихов стала Евпраксия, и где-то посредине путешествия в Опочку и речи в уголку вдвоем с пылкой и страстной Сашенькой Осиповой.

В последнее время любовный быт пушкинской эпохи нашел строгого судью в Вересаеве, судью, но не толкователя. С наивностью, неуместной для судьи, положился Вересаев на свидетельские показания Алексея Вульфа, сына Осиповой, приятеля, друга и ученика Пушкина в любовном деле. Действительно, в историю любовных нравов свидетельства Вульфа вносят яркие и поразительные подробности. Откровенно описывал Вульф, в чем состояли его, Вульфа, романы с девушками. Он, видите ли, проводил их через все наслаждения чувственности, но они оставались девушками; он незаметно от платонической идеальности переходил до эпикурейской вещественности, оставляя при этом девушек добродетельными. Врач по специальности, Вересаев отмечает патологические результаты: у Вульфа постоянные головные боли, которые он сам приписывал «густоте крови», а девушка то-и-дело «нездоровая и грустна». И всем методам платонической любви, по мнению Вересаева, обучал Вульфа никто иной, как Пушкин. Но при чем тут Пушкин? Таков любовный быт той эпохи с неподвижным и жестким брачным укладом, когда разрешенный материалистически роман в помещичьей среде влек неминуемый брак со всеми экономическими последствиями. И, кроме того, помещичий сынок, перенимавший с Запада моды, брал оттуда и образцы любовных сближений. Пушкин—сын своего времени, и не приходится серьезно говорить о нем, как о Мефистофеле, а о Вульфе, как о Фаусте. Да, Вульф видел в Пушкине не столько учителя, сколько соперника, и не доказано, что Пушкин в своем обращении с сестрами и кузинами своего ученика в науке нежной страсти шел по тому же пути. По крайней мере, мы не слышим ни об одной его жалобе на «густоту крови».

Вересаев не признал в Вульфе холодного ремесленника любви. Нет сомнения, и Пушкин хорошо знал ремесло любви, но ведь в Михайловском, в эпоху тригорских романов, Пушкин писал:

Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя,
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времен:
Ловласов обветшала слава...

Но ясно, во всяком случае, как бы далеко ни заходил Пушкин в своем любовном быту, тригорские романы (даже и по Вересаеву) не получали физического разрешения, и девичьей чести обитательниц Тригорского урону не было.

Особо надо сказать об увлечении Пушкина, оставившем, по силе чувства, далеко позади все тригорские романы с Анетами, Зизи, Алинами. Летом 1825 года в женском цветнике Тригорского пъявилась еще одна племянница, совершенно прелестная двадцатипятилетняя красавица Анна Петровна Керн, взволновавшая чувственность Пушкина до пределов. «Как можно быть вашим мужем? Я не могу себе составить об этом представления, так же, как и о рае»,—писал он ей. И когда она находилась от него на расстоянии 400 верст, он в воображении переживал страсть. При одной мысли о будущей встрече с ней, у него билось сердце, темнело в глазах и истома овладевала им. И он писал: «Теперь ночь, и ваш образ чудится мне, полный грусти и сладострастной неги,—я будто вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста... Я чувствую себя у ног ваших, сжимаю их, чувствую прикосновение ваших колен,—всю кровь мою отдал бы я за минуту действительности»... Казалось бы, такая страсть в действительности должна бы иметь неизбежное увенчание, но Пушкин вел себя, как 14-летний мальчик, был робок, застенчив и—странная вещь, непонятная вещь!—не довел свою любовную схватку до увенчания, а ведь как легко, без тоски, без думы роковой овладел молодой Вульф своей прелестной кузиной, а ведь к Анне Петровне Керн подходил бы эпитет, данный Н. М. Языковым своей любви: *res publica!* Скажем прямо. Припадок влюбленности, пережитый Пушкиным во время пребывания Керн в Тригорском в июне-июле 1825 года, не нашел физиологического разрешения и дал поразительный эффект только в творчестве: 19 июля Пушкин вручил Керн автограф—«Я помню чудное мгновенье». И только года через три, когда праздник встречи, праздник пробуждения души и упоительного биения сердца стал далекими буднями, и гению чистой красоты был дан эпитет вавилонской блудницы, инстинкт вступил в свои права, и где-то как-то вышел случай, и Пушкин на момент овладел Анной Петровной... с божьей помощью.

... Чувственные возбуждения в Тригорском достигали высоких градусов и не находили здесь разрешения... Страстный темперамент Пушкина, бесшестенство желаний, невероятные взрывы ревности нам известны—особенно

в период жизни на юге. А вот про жизнь его в 1824—1825 годах мы не знаем о таких проявлениях чувственного возбуждения. О припадках ревности, похожих на чуму, мы не слышали за это время. Ревность к Керн была больше в письмах, чем в действительности. Никогда чувственная жизнь Пушкина не протекала в столь нормальных условиях, как в этот год—1825-й. Но здоровая, нормальная любовь, удовлетворявшая его жадную чувственность, была в Михайловском, а не в Тригорском. Здесь, в Михайловском, жила милая и добрая крестьянская девушка, подарившая и девичью честь и все свое чувство человеку, для нее необыкновенному. Ни в одном своем романе Пушкин не был так далек от припадков ревности, как в этом. И любовные отношения с девушкой, невинной как агнец полевой, были совсем свободны от прискучивших особенностей тригорских романов.

Кого не утомят угрозы,
 Моления, клятвы, мнимый страх,
 Записки на шести листах,
 Обманы, сплетни, кольца, слезы,
 Надзоры теток, матерей
 И дружба тяжкая мужей!

VIII

Кстати. Я забыл сказать, что о девушке мы можем сказать больше даже на основании данных, уже нам известных. Мы знаем ее отца. Это не раз упоминавшийся мною доверенный С. Л. Пушкина приказчик села Михайловского Михаил Иванович Калашников. Ведь это он и был назначен С. Л. Пушкиным в управляющие села Болдина. Назначение состоялось в январе 1825 года, а через год с лишним—в мае 1826 года,—это он перевозил свое семейство, а в его составе и свою дочь, в Болдино. Об ее грехе он еще не знал.

К сожалению, я не могу с точностью установить ее имя, но не потерял еще надежды на это. На основании некоторых соображений, которых пока не привожу, назову одно имя и думаю, что будущие расследования оправдают мои предположения... Анна.

Итак, Анютка, Анята, Анна, Анна Михайловна Калашникова...

IX

Роман развивался в отсутствие отца, а покровительницей романа была, конечно, няня, свет Родионовна. Она жила в таком близком общении со своим питомцем, что уж никак не могла не заметить, на кого направлены вождедеющие взоры ее питомца.

Ох, эта Арина Родионовна! Сквозь обволакивающий ее образ идеалистический туман видятся иные черты. Верноподданная не за страх, а за совесть своим господам, крепостная раба, мирволящая, потакающая барским прихотям, в закон себе поставившая их удовлетворение. Ни в чем не могла она отказать своему питомцу. «Любезный друг, я цалую ваши ручки с позволения вашего сто раз и желаю вам то, чего и вы желаете...»—читаем в ее письме,

которое писали под ее диктовку в Тригорском (а тригорские барышни еще от себя поправляли!). Семидесятилетняя старушка любила молодежь, любила поболтать, порассказать о старине в назидание и поучение, не прочь была даже от бокала вина на молодой пирушке.

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей!
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей!

О старой няне идет речь в стихах Пушкина. И Языков воспевал ее и пиры в ее присутствии в комнате Пушкина.

С каким радушием—красою древних лет—
Ты набирала нам затейливый обед!
Сама и водку нам, и брашна подавала,
И соты, и плоды, и вина уставляла
На милой тесноте старинного стола..
Ты занимала нас, добра и весела,
Про стародавних бар пленительным рассказом;
Мы удивлялися почтенным их проказам,
Мы верили тебе,—и смех не прерывал
Твоих бесхитростных суждений и похвал.
Свободно говорил язык словоохотный,
И легкие часы летели беззаботно.

И еще в другом стихотворении Языкова любопытное описание домашнего быта Пушкина:

Вот там—обоями худыми
Где-где прикрытая стена,
Пол нечиненный, два окна
И дверь стеклянная меж ними;
Диван под образом в углу
Да пара стульев; стол украшен
Богатством вин и сельских брашен,
И ты, пришедшая к столу,—
Мы пировали.—Не дичилась
Ты нашей доли—и порой
К своей весне переносилась
Разгоряченную мечтой.
Любила слушать наши хоры,
Живые звуки чуждых стран,
Речей напоры и отпоры
И звон стакана о стакан.

.....
Шумней удалая пирушка.
Садись-ка, добрая старушка,
И с нами бражничай давай.

Длинные зимние вечера Пушкин коротал с подругой своей бедной юности. Она рассказывала ему сказки. Так и кажется (вот для этого предположения у меня нет данных, но уж очень оно напрашивается!), так и кажется, что рядом тут же сидит и дочка приказчика Михайлы, которую Пущин сразу отличил среди крепостных швей. Только при покровительстве няни могла

длиться связь Пушкина с Калашниковой. В конце февраля, в начале марта случилась история, которая, по всей видимости, имеет отношение к интимным делам Пушкина. Он писал в это время брату: «у меня произошла перемена министерства: Розу Григорьевну (экономку, назначенную матерью) я принужден был выгнать за непристойное поведение и слова, которых я не должен был вынести. А то бы она уморила няню, которая начала от нее худеть. Я велел Розе подать мне щеты... Велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления... Впрочем, она мерзавка и воровка. Покамест я принял бразды правления». Конечно, воровство Розы играло последнюю роль, а главное—слова, которые Пушкин не должен был вынести, и обида няне. Ушла Роза, которая могла быть свидетельницей романа. Остались в доме сам барин, да няня, да девушка.

Х.

От работы над записками Пушкин перешел в Михайловском к работе над художественным воплощением исторических событий — над «Борисом Годуновым» Пушкин работал с творческим увлечением, необычайно радостно. Окончив работу, он веселился, как ребенок. Он перечел свою трагедию вслух, один, и бил в ладоши и кричал: «ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!» Создание Бориса Годунова предполагает особые условия творчества: спокойное, удовлетворенное состояние духа, устранение мелких раздражающих моментов и в области интимной спокойное чувство любви, находящей ответное удовлетворение. Окончательная отделка Годунова падает на ноябрь месяц 25 года, а в начале мая, т.-е. через пять месяцев, Анна Калашникова уже стала живой брюхатой грамотой, отосланной к Вяземскому, но особенность ее положения еще не бросалась в глаза.

Пушкин олицетворял свою музу в своих героинях. Между прочим, в восьмой главе «Онегина» муза является уездной барышней, «с печальной думою в очах, с французской книжкой в руках». Я напомним еще одно олицетворение. Пусть оно и заимствовано, но ведь Пушкин относился к переводам вполне субъективно и выбирал оригиналы, созвучные своей жизни и творчеству.

О, боги мирные полей, дубрав и гор,
И гений и стихи ваш любят разговор.
Меж ними я нашел и Музу молодую,
Подругу дней моих невинную, простую—
Но чем-то милую,—не правда ли, друзья?

Набросок не окончен, и если уж искать автобиографических приурочений, то нечего далеко ходить. Ни к кому другому, кроме как к невинной, простой, милой и доброй Анюте Калашниковой, нельзя отнести это приурочение. Оживленная лучом вдохновения и славы, молодая крестьянская девушка, с которой Пушкин жил в 1825 году, оставила обаяние своей невинности и простоты в творчестве Пушкина, хотя бы в спокойной простоте трагедии о Борисе Годунове, в той простоте, к которой, как к идеалу, движется дальше пушкинское творчество.

Перед нами две чашки весов. Бросьте на одну все тригорские романы с совершенно ничтожными, изломанными, исковерканными воспитанием помещицкими дочками и племянницами, а на другую—вот этот крестьянский роман, это сожительство барина с крестьянкой. Боюсь, что тригорская чашка пойдет быстро вверх. Михайловский роман прочнее, здоровее; в нем больше земли.

Одна мелочь из михайловской жизни Пушкина. Если когда-либо Пушкин был «народником», так это в Михайловском. Не стану пользоваться воспоминаниями старожилов; приведу свидетельство, которому можно поверить, свидетельство современное, секретного агента Бошняка, известного предателя по делу декабристов. В июле 1826 года, по поручению начальства, он собрал сведения о Пушкине: «В Новоржеве от хозяина гостиницы Катосова узнал я, что на ярманке Святогорского Успенского монастыря Пушкин был в рубашке, подпоясан розовой лентою, в соломенной широкополой шляпе и с железною тростью в руке... Пробыв целый день в селе Жадрицах у отст. генерал-майора П. С. Пуцина, в общих разговорах узнал я, что иногда видали Пушкина в русской рубашке и в широкополой соломенной шляпе; что Пушкин дружески обходился с крестьянами и брал за руку знакомых, здороваясь с ними; что иногда ездит верхом и, достигнув цели путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу... По прибытии моем в монастырскую слободу, при Святогорском монастыре состоящую, я остановился у богатейшего в оной крестьянина Столарева. На расспросы мои о Пушкине Столарев сказал мне, что Пушкин живет в 3¹/₂ верстах от монастыря, в селе Зуеве (Михайловском), где, кроме церкви и господского строения, нет ни церковно-служительских, ни крестьянских домов... Что Пушкин—отлично-добрый господин, который награждает деньгами за услуги даже собственных своих людей; ведет себя весьма просто и никого не обижает; ни с кем не знается и ведет жизнь весьма уединенную. Слышно о нем только от людей его, которые не могут нахвалиться своим барином».

Вот каким народолюбием заразился Пушкин в Михайловском. И в 4-й главе он описал наряд Онегина, иными словами, свой собственный наряд:

Носил он русскую рубашку,
Платок шелковый кушаком,
Армяк татарский нараспашку
И шапку с белым козырьком—
И только. Сим убором чудным,
Безнравственным и безрассудным,
Была весьма огорчена
Его соседка Дурина,
А с ней Мизинчиков...

Дворянам-помещикам не нравился наряд Пушкина. Наряд шокировал их, но крестьянской девице Анне Михайловне Калашниковой, должно быть, нравился, и «барин-крестьянин» овладел ее любовным вниманием.

XI

Роман оборвался в мае 1926 года. Калашникова была в обременении; а тут вышло так, что она должна была переезжать вместе с семьей в Болдино, куда за год до этого ее отец, крепостной человек Н. О. Пушкиной, был назначен управляющим. Таким образом, у нас нет даже оснований к утверждению, что Пушкин отсылал ее по собственной инициативе. Правда, он попытался-было воспользоваться ее переездом и отвратить тот срам, который вот-вот должен был упасть на ее голову. Но князь Вяземский не вошел по существу в интимное дело своего друга и оказался просто-на-просто хладнокровным и рассудительным рабовладельцем и посоветовал Пушкину войти в сношение с отцом девушки. Почувствовав нежелание князя впутываться в это дело, Пушкин отмахнулся от него: «ты прав—письмом улажу все дело». И опять у нас нет данных, писал ли Пушкин отцу девушки.

Переходим к дальнейшей истории крепостного романа Пушкина.

«Какова была дальнейшая судьба этого семейства, проезжавшего в мае 1826 года из Михайловского в Болдино, мы не знаем.

«Дожила ли героиня истории до родов, благополучно ли родила мальчика или девочку, где после жила и долго ли, что случилось с ребенком—ничего не известно. Ни в переписке Пушкина, ни в рассказах и бумагах его современников обо всем этом нет больше и намека, даже имя ее не сохранилось—и мать, и ребенок как в воду канули». Эти слова принадлежат В. Ф. Ходасевичу. Он поставил ряд вопросов, заявил, что для ответов на эти вопросы нет данных, но не удержался при этом заявлении, пошел дальше, вступил в соблазнительную и опасную область предположений и покатился по наклонной плоскости. Вот фантастическая история, рассказанная им. Ходасевичу показалось, что судьба девушки, соблазненной Пушкиным, дала тему для «Русалки». «Если Пушкин взялся за русалку, говорит он, значит она ему была не сюжетно, а внутренне важна и близка, значит с этим сюжетом было для него связано нечто более интимное и существенное, чем намерение только состязаться с Краснопольским, автором «Днепровской русалки». Скажу прямо—«Русалка», как весь Пушкин, глубоко автобиографична, она отражает историю с той девушкой, которую поэт «неосторожно обрюхатил». «Русалка»—это и есть та беременная девушка, которую отослали рожать в Болдино князь Вяземский и сам Пушкин».

«Отсылая девушку из Михайловского, Пушкин так или иначе собирался заботиться о будущем малютке, если это будет мальчик, между тем никаких следов подобной заботы мы не встречаем в дальнейшем ни у самого Пушкина, ни у кого-либо из близких людей. Даже допустив, что младенец оказался девочкой, а Пушкин был так жесток, что не проявлял никакого внимания, то все же удивительно это бесследное исчезновение ребенка и матери. Если, наконец,—как ни трудно это допустить,—ребенок с матерью, живя в Болдине, ничем никогда не напоминали о своем существовании, то придется допустить нечто еще более невероятное—психологическую возможность для Пушкина-жениха в 1830 году, перед самой свадьбой, отправиться для осеннего вдохновения в это самое Болдино, где живет его собственный ребенок

со своей матерью. Несомненно, что если бы возможность такой встречи существовала, то Пушкин в Болдино не поехал бы. Между тем, он поехал. Решительно не мыслимо допустить, чтобы Пушкин в 1834 году мог мечтать переселиться с женой и детьми в то самое Болдино, где в качестве какой-нибудь птичницы живет его бывшая любовница и дворовым мальчиком бегают его сын. Конечно, ни этой женщины, ни ребенка в Болдине давно уже не было.

«Как ни тяжело это высказать, все же я полагаю,—пишет Ходасевич,—что девушка погибла либо еще до прибытия в Болдино, либо вскоре после этого. Возможно, что она покончила с собой, может быть, именно традиционным способом обманутых девушек, столько раз нашедшим себе отражение в народных песнях и книжной литературе—она утопилась».

Раз утопилась, Ходасевич уже считает себя в полном праве поставить вопрос о мрачной трагедии в жизни Пушкина, о муках совести, призывавшей его к раскаянию, о преступлении, совершенном Пушкиным. По советским, например, законам в настоящее время Пушкин мог бы быть привлечен к судебной ответственности по ст. 154 или даже 153 уголовного кодекса. Ходасевич все же полагает, что Пушкин понес наказание за свою вину, искупив ее самой огненной мукой совести. «Лучше, пожалуй, знать, как впоследствии терзался и казнил себя Пушкин, нежели думать, что вся эта история была ему ни по чем»,—поучает нас Ходасевич.

Так вот какое откровение дано нам Ходасевичем. Откровение, как известно, не нуждается в доказательствах, и их нет, конечно, у нашего фантаста. В своих заключениях он опирается всего-на-всего на произведенное им выяснение (даже не исследование!) творческих приемов Пушкина. Никаких подтверждений фактического характера, никаких новых данных у Ходасевича нет. И даже отсутствует главная улика—нет трупа девушки.

Преступление Пушкина, конечно, результат досужего вымысла и распущенного воображения Ходасевича. Но редко случается такое разительное несовпадение вымысла с действительностью. «То, чего не было»—подобающее заглавие рассказу Ходасевича.

На самом деле все было проще, обошлось без преступления, и крепостной роман Пушкина получил довольно прозаическое развитие¹⁾. Я перехожу к рассказу о том, как сложились у Пушкина отношения, вытекавшие из эпизода крепостной любви. Мне придется войти в подробности помещичьего быта и крепостного хозяйства, которые, смею думать, и сами по себе имеют интерес.

(Окончание следует.)

¹⁾ Не лишнее отметить, что крепостной роман, как литературная тема, занимал Пушкина. В одном из набросков «Русского Пелама» отмечен эпизод из истории Пельмова: «Уезжает в деревню — смерть отца его — эпизод крепостной любви».

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Шахматы без короля

(О Пильняке)

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

— Да как же ты играешь так?

— А что?

— Да где же твой король?

Ищут короля. Короля нет на шахматной доске: король вместо пробки воткнут в пивную бутылку.

(Б. Пильняк, Мать-лачеха).

Среди ранних произведений Пильняка есть рассказ «Вещи». Если читать его после «Голого года», «Машин и волков», «Повестей о черном хлебе»—старомодным и странным покажется это краткое повествование об одинокой женщине, покидающей гнездо, где без смысла прожита долгая жизнь.

Пильняк с сочувствием и любовно рассказывает нам, как прощально стояла она в черном платье, в седых буклях, с тремя пожелтевшими листками в тонких пальцах, сжатых золотом колец и браслета... За стенами дома стучали лопахинские топоры, а над рассказом веяли Чеховская, Зайцевская грусть, увядание, печаль.

Меня, помню, удивили эти «Вещи», такие странные для автора «Голого года» и «Третьей столицы». Я думал: рассказ случаен, литературная реминисценция, дань прошлому. Но в «Лесной даче», написанной после революции, мы встречаем тех же «уходящих» людей. Они, оказывается, не редкие гости в творчестве нашего писателя. Мы сталкиваемся с ними в рассказе «Смертельное манит», и в «Тысяче лет», в «Польни», «При дверях», в «Наследниках», в «Двух рассказах», в «Иване да Марье», в «Смертях» и в некоторых других. Перед нами проходит длинная галерея «бывших», «ненужных» людей! Некоторая часть этих произведений включена в «Голый год»—крупнейшее создание Пильняка. Они вошли, таким образом, органической частью

в творчество его революционного периода, эти ненужные люди. При этом именно они, как художественные образы, более других убедительны, лучше прочих удались автору, точно вот эти люди и есть для него самые близкие, лучше других знакомые, раскрывшие ему свое «тайное тайных». Удалась автору и атмосфера, их окружающая—увяданье, вырождение, смерть. «Вещи», «Лесная дача», «Тысяча лет», «Смерти» — здесь все звенит «музыкой прошлого».

«Почему нельзя вернуть романтический осмнадцатый век и можно лишь грустить о халатах и трубках?»

Нас несколько не волнуют эти печальные повести. Многие из них не самостоятельны,—таковы вообще ранние вещи Пильняка: Чехов, Бунин, Борис Зайцев—вот источники, из которых пил автор «Лесной дачи». Зависимость эта, разумеется, не случайна. Не случайны и «уходящие люди», больше других привлекшие внимание Пильняка.

Вошел Пильняк в литературу—когда история занесла над старой интеллигенцией свою тяжкую руку: аллегория «Вишневого сада» приобретала для нее грозный и катастрофический характер.

Можно было предположить, что, наследник Чехова, Бунина, Зайцева, Пильняк окажется художником старой интеллигенции в период ее исторической катастрофы. У него все данные для этого: Пильняк с ног до головы интеллигент старой выучки, выросший в атмосфере предреволюционного брожения мысли, впитавший краски, звуки и запахи русской интеллигентской культуры, ее навыки и традиции.

Если из всех книг, что написал Борис Пильняк, выделить рассказы, посвященные потерпевшим кораблекрушение, мы получим собрание, объединенное единством настроений. Этим произведениям общи композиционные приемы—простое, ясное, без ломки и смешения планов, развертывание сюжета, живой диалог, короткая фраза, не обрываемая на полуслове, без бормотанья, без ребусов и загадок, без туманностей и намеков, которых не разгадает (да и не станет разгадывать) читатель.

Эти произведения, продолжающие традиционные линии нашей старой литературы, проходят через все творчество Пильняка, как бы перемежаясь такими «трудными» его вещами, как «Голый год», «Третья столица», «Повести о черном хлебе».

Здесь перед нами несколько старомодный, не лишенный сентиментальности художник интеллигентской души, поэт уходящих людей, живописец сумерек, осенней листвы, закатов и восходов, тонкий интерпретатор музыки прошлого, сам связанный с прошлым, лишь хронологически перешагнувший великую историческую дату.

Но есть другой Пильняк, не похожий на первого. Этот рвет традиции, опрокидывает каноны: увлечен разрушительным хаосом социальной борьбы. Именно этому второму лику обязан Пильняк славой. Все, что сделано им наиболее замечательного, вышло из революции, связано с нею, именно ей обязано своим существованием. Революция много дала Пильняку. Значит ли это, что в его лице она приобрела своего художника?

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Ветер, ветер...

А. Б л о к, Двенадцать.

Метель—О-го-го! Метель!

Б. П и л ь н я к, Метель.

— Метель. Сосны. Поляна. Страхи.

Шоояя, шо-ояя, шооояя...

Гвинуу, гаауу, гвииинууу,

гвииинуууу, гаауу.

И:—

Гла-вбумм!

Гла-вбумм!!

Гу-вуз! Гуу-вууз!...

Шоооя, гвиуу, гаауу...

Гла-вбуммм!!!

Б. П и л ь н я к, Голый год.

О Пильняке писали много. Вряд ли другой советский писатель вызывал одновременно столь противоречивые оценки, как Пильняк. Одни считают его не только писателем эпохи революции, но и революционным писателем. Другие, напротив, убеждены, что именно реакция водит его пером. В таланте Пильняка мало кто сомневался. Но его революционность возбуждала большие сомнения.

Можно без труда, с помощью «парочки цитат» доказать, что перед нами хулигатель революции, враг рабочего класса, идеолог попятного движения. С такой же легкостью, при помощи другой «парочки цитат» из тех же самых книг Пильняка, можно убедить в противном: вот писатель-революционер, апологет «кожаных курток». Такова убедительность цитаты, если дергать ее механически. «Цитата—дышло—куда хочешь, туда и воротишь».

Нет необходимости пояснять, что обе оценки—неверны каждая в отдельности, ибо основаны на статическом изучении Пильняка. Они игнорируют противоречивость его творчества, вытекающую из противоречивости его социальной природы. Только взглянув на него в движении—можно правильно осветить картину этого творчества.

Отличие Пильняка от писателей старого поколения, ушибленных революцией, прежде всего, в том, что революция не повергла его в отчаяние. Напротив. Он встретил ее так, будто ее-то ему и не хватало.

Правда, произошло это не сразу. Был период раздумья. В эпоху этих раздумий он и вслушивался в «музыку прошлого», сочувственно следя за судьбой своих обреченных героев. Но в то время, как многих «стариков» потянуло прочь от революции, Пильняка повлекло ей навстречу—он был молод, а революция полна непреодолимой романтики. Она разгромила старый уклад жизни, его и восхитила вихревая сила разрушения. Метель делается излюбленным его мотивом. В хаосе снежной вьюги разворачивается ткань его революционного творчества. Пильняк прислушивается к ее свисту—и временами кажется, будто, вслед за Федором Михайловичем Достоевским, он готов был услышать в ее вое какие-то бесовские, дьявольские голоса. Стихия Достоевского оказалась, однако, чуждой нашему писателю. Он не пошел дальше игры ветровыми созвучьями—Гвииину, Га-ау, Гу-вуз.

Но метель занеистовствовала на его страницах. Для Пильняка характерно отсутствие чувства меры. Нигде эта черта не сказалась более ярко, чем здесь. Невыносимо порою в тысячу первый раз читать о «метели» и о «метельной, метелиной внучке». Он написал даже целый рассказ «Метель» — в котором «метелят метелицу» и предлагают «играть в метелицу», заметелила метель на каждой странице этого произведения — кружит и плачет в «Третьей столице», «При дверях», и в «Голом годе» — она ворвалась в творчество Пильняка, морозная, вихревая, гибельная, метель революции, октябрьская метель. Подобно героине рассказа «При дверях» ему «необыкновенно хорошо» в метели, «когда крутится, гудит и поет все». В пооктябрьской русской литературе я не знаю другого, за исключением Блока, писателя, который с таким пафосом воспел бы порывистый ветер революции.

В этом мотиве Пильняк продолжает поэтическую традицию русского скифства, оборванную смертью Блока. Кокетничали скифством многие — не всем оно оказалось по плечу. Замятин, например, один из талантливейших «скифов», более других кокетничавший своим скифством, не выдержал испытания огнем и железом революции: скифство оказалось гримом, из-под которого выглянули самодовольные черты традиционного русского интеллигента, с склонностью к вегетарианству и чисто британским уважением к вековым традициям. Как увидим ниже, с широко раскрытым ртом взирает на британские традиции и Борис Пильняк. Но его уважение к традициям возникло позднее. Оно не было в нем, следовательно, органическим.

Скифство — последняя романтическая формация русской самобытности, романтика деклассированной интеллигенции, эстетизм революции, поэзия силы, пусть жестокой, звериной, первобытной.

Скиф не ищет смысла революции. Ему чужда также организованная целеустремленность борьбы — она просто вне его сознания, им не улавливается — как не улавливается ее классовая подоплека, ее движущие силы. Но зато — ах, как хорошо!

Ветер, ветер
на всем божьем свете.

Скифская романтика нашла в Пильняке своего великолепного выразителя. Его первоначальное приятие революции было эстетическим. Он отдавался упоению вихрем, катастрофой, гибельным восторгом:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья.

Поэт метели — он воспел еще и волка, второй, уже не космический, а звериный лик революции. Волк! — вот неожиданный герой «Октября», как он показан нам «глазами Пильняка».

Иногда Пильняку не в шутку мерещилось, что именно «волк» победительно грядет из метельного хаоса революции. Не потому ли неустанно рыщут они по его рассказам? Даже целое произведение «Волки» написано как будто с единственной задачей показать, как побеждает волк, и как бессилен человек, «принявший романтику городской, машинной, рабочей революции».

Романтика городской, машинной, рабочей революции и романтика скифства, волчья романтика — по Пильняку противоборствуют в революции. Все симпатии нашего автора были сначала на стороне волка — иначе какой бы он был скиф «с раскрытыми и жадными очами»! Ведь, это автор, Борис Пильняк, говорит нам в названном выше рассказе: «волк, прекрасная романтика, вьюжная, страшная, как бунт Стеньки Разина». Это он, анархист тысяча девятьсот осмнадцатого года, пьяный от ветра, видел в волке романтику революции...

«В семнадцатом году вновь загулял по России Степан Разин, враждебный городам, государственности, поездом, загромил Россию, запел старинные песни, встряхнул старинными поверьями, зажег лучину, поезда повалил под откосы, перехворал сыпным тифом, убежал с фронтов, кинул все — это большевик, мужик. Веселая над Россией и страшная прошлась метель, провыла, прометелила, прогоготала, все хотела разбить».

Читатель не должен пугаться: такова революция — «глазами Пильняка». Картина эта говорит не только о революции и не столько о ней, сколько об авторе картины. Ибо можно перефразировать известное изречение: «Скажи мне, что нашел ты в революции, и я скажу тебе, кто ты».

Потому-то, когда читаем мы в повестях и рассказах Пильняка о метельных метелях, о великолепной волчьей романтике, разиновщине, а также о прекрасном осмнадцатом веке,—перед нами возникает облик интеллигента романтика, ничего не понявшего в том, что происходило вокруг, плененного красной фразой о волке, романтическом будто бы символе Октября. Метель замутила все, что происходило перед его глазами, закружила, затуманила, опьянила, и нет поэтому ничего удивительного, что, увидя в волке романтику пролетарской революции (волк-Разин-мужик-большевик), Борис Пильняк создал картину, которая его самого повергла в великое смущение.

Но здесь позвольте сделать небольшое отступление.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В одной из своих статей тов. Воронский заметил: Пильняк—писатель физиологический. Это метко. Но, все же, в Пильняке больше зоологии, чем физиологии — не случайно ведь лучшим произведением его является «В овраге». Никогда Пильняк не достигал таких вершин изобразительности, как в этом рассказе, сжатом и сильном, экспрессивном, мощном и примитивном, как природа...

Пильняк превосходно ощущает звериную подоснову человека. Оттого-то животные процессы занимают такое видное место в его творчестве. В человеке он видит зверя, а зверь для него прекрасен—молодой, сильный и хищный. Хорошо все, что от природы,—и прекрасней всего—весна «буйная, обильная» с веселым половодьем желаний — «непреложное», «самое главное».

Отсюда и эротика Пильняка, поистине зоологическая, удушливая и тяжкая, корнями уходящая в природу, в «мать-сыру землю», которую можно или любить, или проклинать, но власть которой непреоборима.

Зверь и человек, зверь в человеке — такова основа пильняковского воззрения на мир. Попробуйте проанализировать любой человеческий облик, как его рисует Пильняк, — вы увидите, как подчеркнуты, как оттенены черты зоологические, биологические, физиологические. Монахиня Ольга из «Волков», Васена из «Тысячи лет», Аленка из «Лесной дачи», Марья Табунница из «Машин и волков» и много других — все они похожи на крепкого, хищного зверя, — «молодого звереныша» с «звериными мягкими губами». Грань между человеком и зверем временами стирается начисто — тогда человек становится на четвереньки, воет волком и грызет зубами горло побежденному врагу («Машины и волки»). Ч е л о в е к о - в о л к и, сколько их рыщет вместе с волками по страницам Пильняка! Их облики, инстинкты, их подчиненность тяжелой власти земли, пола, крови — ни в чем не отличаются их от зверей, которые грызутся в «В овраге». Не случайно этот рассказ получил позднее название: «Целая жизнь». О зверях ли написана эта вещь, где побеждает сильный и хищный, на фоне «равнодушной» природы, сияющей «вечною красою»?

У Пильняка есть большая повесть об ученой на север экспедиции. Ее составили высоко-квалифицированные люди, герои, рыцари науки. Они испытывают множество лишений, они идут на гибель — во имя науки — вот, казалось бы, апофеоз человека! Но в экспедиции среди участников — женщина, ученый химик. Вокруг нее закипела борьба самцов. Среди конкурентов, готовых перегрызть сопернику горло, был ее товарищ по университету. В ученой экспедиции — лучший человеческий отбор! — разыгрывается картина, которую мы видели в «В овраге», — разницы, оказывается, нет; зверь выполз из логова, он не был укрощен. Чтобы спасти экспедицию, чтобы спасти ученых от взаимоистребления, самку надо убить. Ученый химик, Елизавета Александровна, была застрелена как животное.

В этом эпизоде, едва ли не центральном в «Заволочьи», чувствуется глубочайшее убеждение автора в неистребимой стихийной власти животной природы, матери-сырой земли, которая тянет к себе крепкими, невидимыми, смертельными нитями. Пол, тайна пола, так же как весна, рождение и смерть — «непреложное», «самое главное».

В зоологическом свете этой философии нас не удивляет то знаменитое место из рассказа «Иван да Марья», где Ксения Ордынина, княжна, большевичка и чекистка, признается, что она иногда «до боли», «физически реально» чувствует, осязает, «как весь мир, вся культура, все человечество, все вещи, стулья, кресла, комоды, платья — пронизаны полом, нет, не точно, пронизаны половыми органами, даже не род, нация, государство, а вот носовой платок, хлеб, ремень» и даже «вся революция».

Когда критики и читатели удивленно раскрыли глаза и приписали это сногшибательное ощущение самому автору — последний, пожав плечами, заметил, что не берет на себя ответственности за все высказывания своих героев.

Но будто бы философия Ордыниной — ее собственная философия? Ведь в таком случае бывшую княжну следует признать автором многих произведений, вышедших под псевдонимом Бориса Пильняка.

Прыжок от пола к революции — весьма для него характерен. Пол-природа-зверь, но ведь и революция, по его мнению, восстание зверя, волк, вышедший на свободу, человек, сбросивший узду культуры, истории, государства. Волк и революция в представлении Пильняка связаны неразрывно, и если он заговорит, например, о с'езде советов, то добавит в скобках: с'езд советов у меня только, чтобы сказать о волках («Иван да Марья»). И разве случайно российская равнина, охваченная революцией, представляется ему «волчьей пустыней — мы ведь знаем, как с революцией расплодился и зарыскали повсюду волки — прекрасна романтика революции».

Социология революции пришла к Пильняку позднее. Прежде, чем обернуться к нему стороной социальной, она сверкнула в глаза нашему писателю стороной зоологической, разбойной, волчьей, мужичьим бунтом», бессмысленным и беспощадным». Иначе и быть не могло, если на волчьих равнинах российских живут дикари, именуемые русским крестьянином («Иван да Марья»). Дикарь — это и есть волк, только двуногий, каждую минуту способный завывать и стать на четвереньки. Но вот это именно и прельщало вначале нашего скифа: самобытность какова! И если вы желаете взглянуть на революцию с точки зрения скифа, прислушайтесь к тому, что рассказывает в «Голом годе» знахарь Егорка:

— Ходила Россия под татарами—была татарская ига. Ходила Россия под немцами—была немецкая ига. Россия сама себе умная. Немец—он умный, да ум-то у него дурак,—про ватеры припасен. Говорю на собрании: нет никакого интернационала, а есть народная русская революция, бунт и большеничего. По образу Степана Тимофеевича.—«А Карла Марксов?»—спрашивают.—Немец, говорю, а стало быть дурак.—«А Ленин?»—Ленин, говорю, из мужиков, большевик, а вы должно коммуны: должно, говорю, трезвонить от освобождения ига! Мужикам землю! Купцов—вон! Помещиков—вон, шкурники! Учредилку—вон, а надо совет на землю, чтобы все приходили, кто хочет, и под небом решали. Чай—вон, кофей—вон, брага. Чтобы была вера и правда. Столица—Москва. Верь во что хошь, хоть в чурбана. А коммунистов—тоже вон!—большевики, говорю, сами обойдутся!

Не смейтесь—это философия революции, как ее, по Пильняку, понимал «сам» народ. Вместе с тем, она смахивает на философию, которую развивает в своих произведениях автор «Голого года», не случайно же он говорит о себе:—«Я—в сущности анархист, определяющий себя полушутливо-полусерьез, как большевик, но не коммунист» («Три брата»). В те дни, когда писал он эти строки, художник, вероятно, считал себя подлинным выразителем народной стихии, мужичьего бунта, скифской романтики. Ему и в самом деле мерещилось освобождение каких-то исторических, национальных, исконно-русских основ, от наслоений послепетровского периода. Скифство—декадентство славянофильства. По-декадентски выходило, что коммунизм—это машинная, организованная, городская Европа, а большевизм—наше, мужичье, волчье, расейское, скифское, азиатское. «Утверждаю, что коммунизма в России нет, в России—большевики»,—пишет Андрей Людоговский («Санкт-Питер-бурх»). «Большевизм» же, «народная революция»—против коммунизма, против города, против чугунки, против Европы. В метельные дни:

это было так прельстительно для скифского романтика, что он готов был посмеяться над задачами, которые ставили себе «коммунысты».

«Последнее слово науки! Величайшая в мире радиостанция. Вся Россия триангулируется—первая в мире—вся! Ни одного безграмотного! Всероссийская сеть метеорологических станций! Всероссийская сеть здравниц и домов отдыха! В деревне Акатьево—электричество крестьянам! Победа на трудовом фронте—люберецкие рабочие погрузили пять вагонов дров!» («Иван да Марья»).

Это звучит как пародия—не правда ли? Наш автор поясняет поспешно: «Это, конечно, пишу не я, автор. Это гудит «Гудок» Цектрана».

Но позвольте, уважаемый! Разве «Гудок» Цектрана гудел напрасно? Будто кроме волков ничего не оказалось на необозримых равнинах российских? Ни электростанций, здравниц и ни одной победы на трудовом фронте?

Этот вопрос мы оставим сейчас безответным. Мы к нему возвратимся. А пока продолжим наше знакомство с волчьим миром Бориса Пильняка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

От медведя ты побежишь,
Но, встретив на пути бушующее море,
К пасти зверя пойдешь опять.

Шекспир, Буря.

По мере роста революции сквозь восторженно-скифскую декламацию, в рассказах и повестях Пильняка, все сильнее стал проглядывать самый подлинный испуг. Все это сказки и беллетристика—«прекрасная романтика» в образе волка. Кокетливой романтики хватило не на долго. «Ах, метель! ах, волки!—ах, хорошо! ах, прекрасно!»—Таковыми штучками можно было забавляться до той поры, пока революция испепеляющим дыханием не коснулась наших романтиков. Но лишь только она дохнула им в лицо огнем своих пожарищ, эстетика сменилась страхом—тогда-то вот революция и показалась им сплошным бунтом, разбоем и поножовщиной, тогда-то и поползли мурашки по спине нашего романтика. В повести «Мать-сыра земля» и следов от скифской романтики не осталось. Она дает такую отвратную картину дикого быта, что коммунист Некульев непрерывно испытывает «гусиный страх» бессознательно, инстинктивно, невольно. «Дичь, срам, мерзость»—так в письме определяет он «Расею». «Дикарство, ужас, чорт знает, что такое». Повесть эта—одно из наиболее ярких произведений Пильняка, показывает, как «быстро, стремительно, бессмысленно» бежал Некульев из мира, где царит волк, когда-то прекрасный символ революции. Тогда-то в отчаянии, в ужасе («волк—прекрасная романтика наша») вспомнил наш романтик о Европе, о том мире, где волк в клетке, не рыщет по метельным равнинам, где нет этого проклятия смерти. Скиф наш не выдержал своего нахрапного варварства: его ужаснул «душный, смертный плоти запах». Подобно Замятину, и Пильняк последовал исконной интеллигентско-дворянской традиции. Не может российский интеллигент без покаяния—даже если он—скиф. А покаявшись—скиф протянул руки к так называемой куль-

туре, к европейской цивилизации. Рассказ «Старый сыр», посвященный этому противопоставлению—Европа и Азия—говорит о том, что прекрасная волчья романтика истлела, испепелилась, исчезла. Правда, до «Старого сыра» Пильняк написал «Третью столицу»—произведение, говорившее о «закате Европы». Но таков путь нашего художника: прямым его назвать никак нельзя.

«Третья столица»—вся в противопоставлении нашей рассейской, народной, разиновской революции—Европе, перекультурной, умирающей, разлагающейся. Критика отметила, что над «Третьей столицей» витает тень Шпенглера. Это правда. «Закат Европы»—таков лейтмотив повести. Автор как будто согласен с Робертом Смитом, который убежден, что «они, европейцы, переживают сейчас чрезвычайную эпоху, когда центр мировой цивилизации уходит из Европы», где воля «хотеть» ослабела, иссякает, зато она «до судороги напряжена в России». Европа умирает—Россия поднимается, «Европа и Россия—два мира». Автор не верит в Европу, он, казалось бы, должен верить в Россию? Но вот—позвольте привести выдержку, чтобы показать, какую предстала Россия людям, едущим из Европы.

«И Себеж встретил метелью, сумерками, грязью, шумом мешочников, воплями и матерщиною на станции. Метельные стервы кружились во мраке, лизали, слизывали керосиновые светы. Забоцали винтовками, в вагоны влезли русские солдаты. Американец вышел на минуту, попал ногою в человеческий помет, на шпалах, и никак не мог растолковать, волнуясь, проводнику, чтоб ему продезинфицировали башмаки. Задубасили поленом в стену, проорали, что поезд не пойдет до завтра, осадили на запасный путь, снова завопили, побежали мешочники с мешками, баба кричала:—«Дунька, Дунька, гуртуйси здесь!»—у пассажиров тихо спрашивали: «Спирту не продаешь ли?»—Метель казалась несурзадной, снег шел сырой, на запасном, в тупике, когда толпа мешочников умчалась с воем,—стало слышно, как воеет ветер, гудит в колесах, в тендере, как шарит сиротливо снег по стенам, у окон, шарахаясь и замирая. Американцы говорили о заносах в прериях. Приходившие стряхивали мокрый снег. В вагонах стало холодно и сыро, новый примешался—над всей Россией веющий—запах аммиака, триметиламина, пота. Был поздний час, за полночь никто не понимал, ложиться спать, аль нет?—

— И тогда—пришли и сказали, что—в театре культпросвета комсомола—митинг, предложили сходить.—Вот и все.—Во мраке—первый русский—сразу покатился под колеса, сорвавшись с кучи снега, сваленной на шпалы, встал и сматерщинил добродушно. Пошли в метель. У водокачки промочили ноги и слушали, как мирно льет вода из рукава, забывтая быть завернутой. Не один, не два, а многие понесли на башмаках удушливые запахи. Англичанин освещал себе путь электрическим фонариком. В вокзале на полу, вповалку, мужчины, женщины и дети, лежали пассажиры. Был уже час за полночь. Когда спросили, где комсомол, рукой махнули в темноту, сказали:—Вон там.—Нешь не знаешь?—Долго искали, путаясь в шпалах, поленицах и мраке...

Барак (у входа у барака была лужа, и каждый попадал в нее во мраке) был сбит из фанеры, подпирался изнутри столбами. В бараке был, в сущности, мрак. Плечо в плечо, в безмолвии, толпились люди. На сцене, на столе, коптила трехлинейная лампенка,—под стрешни в фанерном потолке вырывался ветер, и свет у лампы вздрагивал. На заднем плане на сцене висел красный шелковый плакат: «Да здравствует Великая Рабочая и Крестьянская Русская Революция». У лампы за столом сидели мужики в шинелях и овчинных куртках. Театр из фанеры во мраке походил на пещеру. Говорил мужик в шинели,— не важно, что он говорил:—Товарищи! Потому как вы приехали из Америки, этот митинг мы собрали, чтоб ознакомить вас, приехавших из Америки, где, сказывают, у каждого рабочего по автомобилю, а у крестьянина—по трактору. У нас, товарищи, скажу прямо, ничего подобного нету. У нас, товарищи, кто имеет пуд картошки про запас,—спокойный человек. Для вас не секрет, товарищи, что на Поволожья люди друг друга едят. У нас колоссальная разруха.—Н-но,—товарищи,—нам это не страшно, потому что у нас наша власть, мы сами себе хозяева. И нам известно, почему вы приехали из Америки, хоть у нас свиного сала и нет, не то—чтобы кататься на автомобилях. У нас теперь власть трудовых советов, а для заграницы у нас припасен Третий Интернационал. Мы всех, товарищи, зовем итти с нами и работать, нно,—товарищи,—врагов наших мы беспощадно расстреливаем.—Вот, товарищи, какие дизгазы и проблемы стоят перед нами.

Что-то такое, так, гораздо длиннее, говорил солдат. Люди, плечо в плечо, стояли безмолвно. К солдатским словам примешивался вой ветра. Лампенка чадила, но глаз привык ко мраку, и лица кругом были строги. Театр был похож на пещеру. Солдат кончил. Вот и все.

Не надо иметь большую проницательность, чтобы увидеть, каким пессимизмом веет от этого «нового мира», противопоставленного закату Европы.

«Россия вшивая, сектантская, распоя, распоя упорная», миру выкинула Третий Интернационал, себе же уредила «большевицкую смуту, людоедство, национальное нищенство».

Она кричит что-то человечеству, «сектантская, подвижническая, азиатская Россия, изнывая в голоде, бунтах, людоедстве, смуте, разрухе,—кричит миру, и Кремлем, и всеми своими массами, стенами, и реками, и областями, губерниями, уездами, волостями».

Но что кричит миру Россия? Чего хочет Россия? Этого ответа нет на страницах «Третьей столицы». А ведь в ответе все дело.

В Европе расплодилось крысы—квадрильоны штук, но в России расплодилось волки, и Россию ела белая вошь (девять миллионов пудов!). С Россией или с Европой наш автор? В «Третьей столице» он как будто против Европы—но с Россией ли, которая, выкинув Третий Интернационал, себе оставила «людоедство, смуту,—национальное нищенство»?

«Третья столица»—вещь большого недоумения и великого колебания—оттого так красноречив вопросительный знак: «Европа или Россия?». Не по-

тому ли Емельян Емельянович Разин, российский интеллигент, скиф, узлом связавший в себе традиции Степана Разина и Емельяна Пугачева, метеленкой, в одну ночь, как сумасшедший, собрался и бежал из своего города куда глаза глядят—к чорту—от метели?..

То была Россия, откуда бежал Емельян Емельянович Разин. В ней, как и тысячу лет назад, говорит нам автор, весной девушки и парни устраивают игрища и моления языческим богам, в ней лгут все, и коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, «вся нация русская»; за стеной в Кремле люди, уверовавшие в «Третий Интернационал», а у ворот Кремля сторожевые «в костюмах, как древние скифы».

«К т о з н а е т?»—задает вопрос мистер Смит—и не дает ответа. Он и в самом деле не знает. А з н а е т л и н а ш а в т о р? Он уверяет нас, что «видел иное, мерил иным масштабом. Новая горела свеча Яблочкова, от которой рябило в глазах—шестой уже год». Конечно, Пильняк верит, что все живое «как земля веснами, умирая, обновляется вновь и вновь»—так о б н о в и т с я и Россия. Н о о б н о в и л а с ь л и? На вопрос этот не отвечает повесть, странная и смутная, в которой все сдвинуто, остранено, все планы перемещены, где четырнадцатый век в'езжает в двадцатый, где повествование перепутано, тысяча сюжетных нитей самых разнообразных не связаны в клубок, где все мотивы перерваны и клубятся туманы, словно умышленно напускаемые автором, чтобы замести следы, запутать, сбить с пути. Он уверяет нас: «я в е р ю». Но почему вера его не внушает доверия?

Где-то Европа, Маркс, научный социализм,—а здесь тысячелетние поверья, древность, заговоры, суеверие, лучина, непроезжие дороги, разбойники, волки, вошь, клоп, грязь...

В первый, скифский, период своего увлечения революцией метель мешала Пильняку видеть наше «рабское прошлое». Ему даже мерещилось иногда, что это «прошлое» далеко не рабское,—а прекрасный осьмнадцатый век! Но...

идет и проходит май,
идет и проходит июнь,
идет и проходит август.

Это читаем мы у Пильняка. В другом месте он добавил, что «проходит и октябрь». Все проходит. Прошел и метельный запой нашего скифа.

«Старый сыр» отделен от «Третьей столицы» промежутком около года. Это был для Пильняка год покаяния. Будущий исследователь выяснит досконально, какие обстоятельства произвели существенные перемены во взглядах нашего автора. Быть может, заграничная поездка, совершенная незадолго до того? «...В Англии у меня осталось очень много друзей, которые очень многое переродили во мне»—этим признанием обрываются «Английские рассказы». Как бы там ни было, мы констатируем, что в «Старом сыре» он прощается с шпенглеровским тезисом о «закате». «Гибель европейской культуры» теряет в его глазах свое правдоподобие. Напротив: в повести звучит нота «гордости и благодарности за человеческую, духовную культуру», сохраненную в стране Диккенса, богатой древними традициями, где монументально высятся Вестминстер и Британский музей. А Россия? В России дороги заброшены, воют юлки, ночи черны, а степи бескрайны, здесь истребляют людей,

как насекомых—такой страшной в России кажется ему человеческая жизнь, древняя, зоологическая, незащитная, — и русскому интеллигенту, вчера славословившему прекрасную романтику волка, Лондон начинает казаться фантастическим городом, Китежем градом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Обращение к «цивилизации», к Вестминстеру и Британскому музею от российских степей и волков знаменовало отказ от скифской романтики. Это не значит, что до английского путешествия Пильняк был стопроцентным, так сказать, скифом. Интеллигенция дала крайне мало цельных фигур. Пильняк—не из их числа. Даже в скифский период его тревожили сомнения. Волчья романтика отражена еще в «Голом годе»,—но и здесь звучат уже ноты недоумения. Compliments «кожаным курткам», которые «энегрично функцируют», как будто противоречат скифским симпатиям автора. Но—только на первый взгляд. В славословиях этих автор не забывал упомянуть, что «Карла Маркса никто из них не читал и что про них сказал поэт Петр Орешин: «Или—воля голытьбе, или—в поле на столбе!». Так что особого доверия эти «кожаные люди» не возбуждают: неприкрытые махновцы, либо интеллигенты с лимонадом психологии, подобные Некульеву, либо авантюристы вроде Ксении Ордыниной, а то просто ряженые, подставные лица, вроде Архипова. А ведь, казалось бы, писатель—горожанин, на глазах которого существовали организационные центры революции—Ленинград, Кремль,—Пильняк мог из хаоса первых разрушительных лет выделить подлинный, коммунистический, большевистский, организующий тип. Но в том-то и дело, что кроме метели и буйства он первое время ничего в революции не заметил, до большевиков ли было, когда воспевал он прекрасную романтику лесного зверя? Лишь позднее, очухавшись от романтически-метельного запоя, Пильняк стал присматриваться к хаосу, кружившемуся в его потрясенном сознании. И вот тут-то с бо-о-льшим запозданием Пильняк увидел, как в вихревую эту метель, безгосударственную, кровавую, удалую—вмешалась, вплелась «черная чья-то рука, жесткая, бескровная, стальная, государственная—пять судорожно сжатых пальцев, черных, в копоти, сжимающих все до судороги». Рука эта взяла «под микитки и Россию, и русскую метелицу и стала строить государственность русскую, новую» («Волки»).

«Черная рука пролетария» оказалась спасительной и для Пильняка. В творчестве, отразившем хаос и хлябь разрушительной полосы, появился (наконец-то!) железный, организующий мотив. Против «волка» выступает «машина», претендующая запереть зверя в клетку. За «зверем»—древня, стихия, степи, мужичий бунт, разиновщина, непроезжие дороги, грязь и кровь. За «машиной»—город, пролетарий, система, что-то от Европы, от культуры, от Британского музея. Если говорить о Пильняке—попутчике пролетарской революции, попутничество его рождалось вместе с появлением «машины», как организатора и вождя против волчьего разлива. Скифство, если его перевести на язык девятнадцатого года, было ведь чистопробной махновщиной, разукрашенной, разумеется, романтическими цветами. Но какой же Махно попутчик!

И надо было Пильняку пройти сквозь скифскую романтику и понюхать, чем она на деле пахнет, чтобы спешно броситься к «машине», к руке пролетария, пусть «жесткой и черной», но единственной, которая может защитить, выручить, спасти.

«Железо» появляется у Пильняка не сразу. Ему предшествует мотив покоя, небытия, смерти, который как бы возникал из метели, закружившей Россию. Для Пильняка, как для многих буржуазных интеллигентов 1917—1918 гг., вопреки романтической декламации, характерны не только страх, но и неверие в революцию.

Когда пришла суровая эпоха военного коммунизма с продкарточками, с заград- и продотрядами, первый восторг метельных лет как рукой сняло. Пильняк увидел остановившиеся заводы, заколоченные магазины, пустые амбары—испуг тогда побелил его щеки. Из метели, из раскованной стихии надвигались китайская неподвижность, небытие, смерть.

Это показано Пильняком на Канавине, ярмарочной части Нижнего. «Мертвый город»—вот что оставила от Канавина революция.

И вот—это удивило самого Пильняка—«и вот иная воля возродила Макарьев, иные люди». Возрождение становилось фактом. Неподвижность, небытие, китайщина—оказались призраком: Возрождалась действительная жизнь.

Пильняк не улавливал социально-обусловленной закономерности революции, ее классового смысла, ее всемирно-исторической роли. Все в ней казалось ему стихийным, слепым, кружащимся по воле никому не ведомых законов—не ведьмовское ли то навождение?—Лишь после того, как метель стала стихать, «иные люди» заново отстроили Канавино, возрождали заводы, затерли следы разрушений, когда вновь запахло твердым бытом, вещами и порядком—Пильняк, один из первых, почувствовал перемену: тогда-то вот он стал замечать, что в метельном хаосе чья-то «черная рука» руководит событиями.

«Голый год»—самое значительное произведение Пильняка, в котором отразил он свое представление о революции в ее первый разрушительный период. «Не дымят трубы, молчит домна, молчат цеха—в цехах мгла и снег». В нем больше старины, чем новизны, догнивают Ордынины, рыщут волки. Но уже здесь с изумлением увидел он, как «ожил» завод, «удивительно просто, в силу экономической необходимости». Тут, очевидно, и появилась «машина»—как элемент, противоборствующий волчьей романтике. М а ш и н а п о б е ж д а е т—это Пильняку сделалось очевидным. С к и ф с к о й р о м а н т и к е, метели и хаосу, первому лейтмотиву его повестей, противопоставляется р о м а н т и к а м а ш и н ы, воля организованной стихии. Волка, рыскающего по равнинам, сменяет завод, надвигающийся на деревню.

Но Пильняк не был бы Пильняком, если бы в своем новом увлечении машиной не попытался метафизировать ее, опутать покровами тайны, чуть ли не мистики. Машина начинает походить на старого пильняковского волка. Тогда читаем мы размышления его о том, что, «конечно, машина—метафизика и, конечно, машина больше бога строит мир», «конечно, метафизика, конечно, мистика, где поп—инженер, а рабочие—служки у бога» и так далее в том же духе.

Испуг перед волком сменился испугом перед машиной. Станный писатель—он никак не может без испуга. Скиф, анархист, он повергается ниц сначала перед волком, теперь—перед машиной в страхе, в боязни, и вот ему кажется, что машина, созданная человеком, стала «сильнее его воли»—и градом по крыше тарабаня́т риторические вопросы—не новая ли каторга человеку его машина, и не новый ли бог, при котором человек должен трудиться, забыв о звездах?—и другие, в том же роде.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Метельность» умственного зрения автора наложила свою печать не только на тематику его вещей. Она отразилась в их языке, в композиции, в образности. Пильняк—самый сумбурный, самый нестройный и неясный писатель современности. В его революционных вещах все перепутано, перемешано, сдвинуто, передвинуто, поставлено на голову, опрокинуто—как в калейдоскопе. Хаос, столь любезный его сердцу романтика, он, как прием, перенес в композицию своих произведений. Метельность, т.-е. совершеннейший беспорядок, он сделал принципом творчества. Оттого-то смещение планов его любимое дело, ни в чем не зная меры, он смещает и перемещает их где только можно, доводя изложение до бреда, как в «Санкт-Питер-бурхе». По той же причине прием остранения свирепствует на его страницах, придавая многим из них крайне странный вид. Он возлюбил самые экстравагантные штучки, изобретенные формалистами, и как только зашла речь об обнажении приема—Пильняк стал обнажать прием и так и этак, кокетничая им и новорачивая во все стороны—совсем не замечая, что читатель уже давно не таращит глаза, перестал кричать караул, а позевывает, собираясь лечь спать.

В произведениях Пильняка много бытового материала—он располагает несомненным знанием некоего «коломенского» уголка русской земли. Но было бы рискованно всерьез назвать его бытописателем—так все в нем разворочено, смещено, остранено и включено в вихревое обрамление, игнорирующее какой бы то ни было быт. Он умеет передать материальную, шершавую поверхность вещей—у него множество блестящих по реализму страниц—но реалистом его нельзя назвать без оговорок. Импрессионизм его восприятий, символизм и аллегоризм некоторых его образов делают смутным и как бы разбавленным его реалистическое письмо. Да и сам он лучше свои «пильняковские» вещи склонен считать «отнюдь не реалистическими». Он не располагает каким-нибудь единым приемом письма, нет даже приема, который можно было бы считать господствующим—оттого-то Пильняк кажется изломанным писателем. Он калейдоскопичен. Хаотическое состояние его идеологии отразилось в хаотизме его художественного облика.

Замутила метель творческие методы Пильняка, и сколько ухищрений испробовано им, чтобы показать, какой он революционер в прозе и как он издевается над традициями и как он ломает старые формы. Но разрыв с традициями не шел по пути изобретательства: новой формы Пильняк, как известно, не создал. Он лишь «по-скифски» обращался со старой, механически кроша ее на кусочки, механически же комбинируя из осколков

и обломков неорганизованное и хаотическое целое. Все это привело к тому, что он безнадежно замутил целый ряд своих произведений: ножницы—плохой инструмент в руках художника, особенно если они режут не только свое, но и чужое. Трансплантация отдельных отрезков, эпизодов, изречений, наблюдений из одних повестей в другие, внедрение одних и тех же осколков в разные места одного и того же произведения не дают того полезного эффекта, на какой рассчитывал автор. Его композиционные эксперименты неудачны сплошь—эти эксперименты и отталкивают читателя. Такие вещи, как «Голый год», «Мать-мачеха», «Метель», «Мать-сыра земля», заключающие в себе прекрасные страницы, испорчены сумбуром, внесенным автором в композицию. Самое опасное в революции для писателя заключалось именно в том, чтобы разрушительная стихия ее не разрушила хорошего умения делать хорошие вещи. Это именно с Пильняком и произошло. Нельзя отрицать большого интереса в его композиционных попытках передать динамику революции, ее многообразное движение, хаос метельных лет. Но ведь в искусстве попытки—ничто, достижения—все. А ведь именно в области композиции за Пильняком не числится больших побед, как бы интересны ни были его отдельные эксперименты. Самым последним экспериментом является книга «Машины и волки». Это единственный известный мне случай, когда писатель пытается сделать новое, лучшее произведение—из всех своих предшествовавших—исключительно с помощью ножниц и клея. «Машины и волки» — хрестоматия, в которую внесено столько композиционного кокетства, дерзания, глубокомыслия, что замысел автора создать качественно новое из старых своих вещей виден на каждой странице. Эта книга—энциклопедия композиционных приемов Пильняка, а также полное собрание его наблюдений, философических размышлений, теорий, раздумий, загадок, извеченных из ранее написанных им сочинений. Получилась книга, сумбурнее которой Пильняк еще не создавал, менее других убедительная; более других темная—не дающая к тому же ничего нового сравнительно с тем, что мы знаем о Пильняке. Больше всего желая быть оригинальным, Пильняк явно зависит от известных образцов. Л. Троцкий заметил как-то, что он пишет черным по Белому—это было справедливо и зло. Но не только по Белому пишет Пильняк—он пишет также по Замятину, по Ремизову, даже по В. В. Розанову («сладчайшая», «духовнейшая тайна материнства» в «Голом годе») — я не говорю уже о попытках перемигнуться с Ф. М. Достоевским—литературная энциклопедия, а не писатель! У Пильняка в «Иване да Марье» есть риторический вопрос: «Что бы было,—спрашивает он себя,—если бы на палитре индивидуальностей поручить Достоевскому приготовить краски для Москвы, пользуясь тюбиками психик Аполлинария Васнецова, Чурляниса, Бохса (не Босха ли? Вяч. П.) и, конечно, Ленина, Троцкого, Луначарского? «Впрочем,—добавляет он,—я не поручил бы это Достоевскому». Да Достоевский отверг бы такое предложение—заметим мы вскользь: старик не был эклектиком! А вот Пильняк рискнул: перетирая на своей палитре «тюбики психик Ремизова, Белого, Замятина, Достоевского и других—он с удовлетворением может сказать, что из всех писателей нашей эпохи—он, Пильняк, самый какофонический.

Столь же неровен Пильняк, как живописец. У него есть превосходные вещи. Еще больше у него отдельных хороших страниц—среди хаоса и сумбура они возникают, как цветы из развалин. Но в лучших своих страницах Пильняк не застрахован от срывов.

«Рассвет был синий, ясный, морозный»—читаем мы в «Голом годе». Это очень не плохо. Но в рассказе «При дверях» мы встречаем «с и н и е сумерки», воздух за окнами «с и н е л морозно», мрак «с и н и й» и вновь «с и н и е сумерки»—синий цвет стал терять свою синеву. Чем дальше читаем мы Пильняка, тем назойливее мелькают «с и н и е хрустальные дали» («Голой год») и «простор с и н и х льдов» («Наследники»), и «с и н и е вечерние тени» («Голой год»), и «с и н и е соломенные дымки», и много раз «с и н и й купол неба» («Тысяча лет»), и вновь «с и н е е небо» («Смерти»), и опять «осенние с и н и е сумерки», и «с и н и й дымок в комнатах» («Смерти») и т. д., и т. д. «Утро пришло с и н и м мертвецом»,—читаем мы в рассказе «Метель», а на другой странице это же утро пришло «с и н и м снегом», какая цветная однотонность! Можно было бы подумать, что «синева»—результат зрительного своеобразия нашего автора. Такое предположение было бы неосновательным. Палитра нашего художника оказывается небогатой. Это проявляется не только в том, что он видит небо синим независимо от того, весеннее оно или осеннее. Это сказывается в однообразии всех его описаний вообще. Если небо, и даль, и туманы, и дым, и льды, и лунный свет, даже огни—кажутся ему синими, то других средств для изображения воздушных далей он не находит кроме хрусталя. Этот хрусталь мы встречаем в рассказе «Смертельное манит» («рассветы в июне хрустальны») и в рассказе «Смерти» («в призрачных далях над землей разлит хрусталь»), и в романе «Голой год» («безмерно далеки были дали синие, хрустальные») — какое пристрастие к хрусталу!

В «Голом годе» мы читаем: «серыми ключьями летит снег. Серой фатой стала изморозь»,—нас радует эта морозная туманность. Но когда эту самую туманность (хорошего понемногу!) мы встречаем на следующей странице, мы настораживаемся. Что это? «Прием»? От богатства это или от бедности? А такие «повторы» у Пильняка весьма часты: «серую, нечистую мутью начался рассвет и ползли по улице сырые туманы»—эти слова мы находим много раз под-ряд, на нескольких страницах: сказанные однажды, они теряют образность, поскольку превращаются в трафарет, рассованный автором в соответственные (о, разумеется, в соответственные!) места своего дальнейшего повествования. Кисть художника подменяется ножницами закройщика. Когда в «Голом годе» мы читаем в одном месте про «б е з м е р н у ю усталость», а в другом—про «б е з м е р н о сладкую боль», а в третьем месте о том, как одному герою «хотелось быть сильным б е з м е р н о», а в четвертом про «б е з м е р н о е безразличие»—нам кажется безмерной неосторожность художника, неумеренно затирающего один и тот же эпитет. «Затирание» эпитета встречается у Пильняка чаще, чем надо. Если в одном месте он щегольнет аллитерацией «зноит знойное солнце», с инструментовкой на Н—то будьте покойны,—Пильняк не успокоится, покуда многочисленным пользованием не убьет прелесть этой удачной находки: тогда уже без удо-

вольствия будем читать: «знойное небо льетзнойное марево; знойное небо залито голубым и бездонным, цветет день солнцем и зноем» и «знойное небо изливалознойное марево» и «солнце проходилознойное» и вновь «знойный день». Странное дело, автор не замечает, что убивает знойность своего описания. Когда в «Голом годе» мы прочитали о том, как над городом подымалось солнце «всегда прекрасное, всегда необыкновенное»; а несколько страниц спустя «над миром, над городом шел июнь всегда прекрасный, всегда необыкновенный», мы перестаем верить в «необыкновенную» красоту июня и сердимся на автора, когда в третьем месте находим «пожар всегда прекрасен; всегда необыкновенен». Определение заштамповалось.

Пильняк небрежен к языку—таков упрек, который мы бросаем этому художнику. Он увлекается мелочами и жертвует главным. Его привлекает звуковая инструментовка слов, он ищет удачных созвучий и нередко находит их, но играет с ними, пока они не перестанут звучать. Порой ему изменяет вкус—тогда на страницах мы встречаем «безумье и муку, желтую муку лампад». «Безумье и мука», непереносные в единственном числе, на протяжении пяти строк повторяются дважды; и еще больше убеждают взыскательного читателя в том, что со вкусом дело у Пильняка обстоит не совсем ладно («При дверях»). Он не замечает, что «обескрыленные крылья» («Мать-мачеха») — плохи, что «руки женщин, пропахших телом» («Наследники»), не убедительны, что нельзя писать «выстрел грянул громко» («При дверях»), потому что «тихо грянуть» из ружья никак нельзя; он ошибается также, когда уверяет, будто можно положить руки «не на талию, а на подмышки» («При дверях»); неправ он также, когда рассказывает, будто «диван был завален меховыми шубами», и повторяет это дважды, но кому же не известно, что шуб не меховых не бывает. В рассказе «При дверях» мы читаем, как Камынин «лег на диван и заснул с лицом ясным и тихим и с губами, попрежнему судорожно скорченными». И вновь недоверие обуревают нас: если губы судорожно (попрежнему!) скорчены, то как лицо может быть ясным и тихим? А в книге «Россия в полете» он уверяет, будто в избе потолок был так низок, что ему нельзя было даже выпрямиться; автор «задевал за потолок плечами» — хотя это можно делать только потеряв голову. Вот как изображается им одна из героинь рассказа «При дверях»: «Груды как чаша, глаза как миндаль и как у каменного аримана волосы, и косами на грудь, и лицо и тело почти квадратные, почти каменные». — Не правда ли, какая внушительная, тяжелая, неподвижная фигура! Понятно изумление читателя, когда это образное описание автор уничтожает следующей строкой — «и легкие, как у цирковой наездницы».

Все это говорит о невнимательности к слову, о поверхностном отношении к нему, о том, что автор увлекается его оболочкой, звуковой стороной, «бряцальной словентой», не всегда соподчиняя друг другу «бряцальную» внешность и смысловую функцию слова. Тогда-то и появляется у Пильняка «писцовая истерика», «не оберрирующий» взгляд, истерика «конденсированная в пузырьке жидкостей («Иван да Марья»), тогда поезд начинает «эпилепсировать» и стоянки превращаются в «истерику» («Иван да Марья»), тогда

случайное наблюдение кому—таторы, а кому—ляторы—приобретает некий тайный смысл, почти мистический, который следует раскрывать внутренним зрением. Все это раздражает, заставляет сердиться на автора, утеравшего чувство самокритики.

Только анестезией этого чувства можно объяснить появление на его страницах анекдотиков, вроде: «Ни зги не видать, как у негра в желудке в двенадцать часов ночи»—ведь это поднято с тротуара! Нельзя после Маринетти и Маяковского писать: «Дом привешен за трубу к небесной тверди» («Метель»). Не убеждают «дохлый месяц», или «луна, похожая на китайца», которая делается то «стеклянной» и «маленькой», то «скорбным диском» или же «слезливой». По желанию можно пользоваться луной дохлой, или китайцем, или скорбным диском. Ничего в картине от этого не изменится потому, что образ луны не органичен, не подсказан пейзажем, характером картины, рисуемой художником. Он просто выдуман, взят «с потолка»—оттого так бессилён и слаб.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Да не примет читатель эти строки—как умаление таланта автора «Голого года». Пильняк — один из самых талантливых писателей, выдвинутых нашим временем. Но неровен, хаотичен и не отшлифован этот талант. Пильняк написал что-то свыше восьми об'ёмистых томов—но про него все еще хочется сказать «молодой», «начинающий», «подающий надежды» — так много в нем не установившегося, не перебродившего, неустойчивого. Он еще в будущем, в «завтрашнем дне», многое в его литературной судьбе зависит от того, сумеет ли он взять себя крепко в «железные» рукавицы воли, — победит ли идеологическую неустойчивость, колебательное положение между двух берегов—справа налево—и слева направо.

Если бы Пильняк, мелкобуржуазный романтик, знал с первых шагов, где правда, — в реакции или в революции, — его творчество было бы иным. Оно могло быть реакционным или революционным — но оно было бы ясным и прозрачным. Этой-то правды он не знал, ее он искал, плутая и спотыкаясь, меняя путь, кружась «овощинкою в кипятке», в поисках Китежа града, находя его и теряя, оттого-то красный маяк в «Ледоходе» то «умирает», то «возрождается». Когда Китеж мерещится ему впереди—в голубых туманах будущего, романтизм его делается революционным. Прекрасный рассказ «Срегапза»—едва ли не лучшее произведение, созданное этой струей в творчестве Пильняка. Здесь «Московский Кремль» кажется герою рассказа «таким же прекрасным, как мамыны сказки».

Но бывает, когда град Китеж перемещается назад, в прошлое, в «прекрасный осьмнадцатый век», либо к берегам Великой Британии — тогда возникает перед нами второй лик Пильняка романтика, лик реакционный. В колебании этом и рождаются противопоставления: Европа или Россия, реакция или революция, старая культура или волчий разлив.

Эти колебания характеризуют интеллигентскую природу Пильняка.

Творчество его есть в образах развернутая картина борьбы, которую вели в сознании мелкобуржуазного интеллигента революции и реакция,

будущее и прошлое, век двадцатый с романтическим «осьмнадцатым» веком. Оттого-то страницы Пильняка неровны, беспокойны, хаотичны — в них нет ничего твердого, все колеблется, зыблется, рассыпается и вновь возникает в попытках утверждения. В них видна воля к приятию революции — подтачиваемая и низвергаемая сомнениями. Вера в них борется с неверием, и ни та, ни другая не могут похвастать твердой и окончательной победой. Оттого двоедушен, двусмыслен, двупланен «Голый год» — лучшее из революционных произведений Пильняка. Не приходится удивляться тому, что читатель не всегда мог решить, каково же отношение автора к революции? Утверждал он ее или развенчивал? Приветствовал или осуждал? Вина лежала не на читателе. Сам автор, если бы его в те дни, когда писал он этот роман, неожиданно спросили:

— Веришь ли ты в революцию?

в замешательстве ответил бы:

— Я? Я... хочу верить в революцию...

Ибо в тот, в голый год — он ее не принимал и не отвергал, а раздумывал, размышлял, колебался, вместе со своим соратником, Иваном Александровичем Непомнящим, собирал «факты», «материалы», «наблюдения», преимущественно «белую вошь» (9 миллионов пудов!) — и все не мог решить: кричать «осанна» или «распни!» Иногда склонялся к тому, чтобы благословить революцию «черненькую», такую, какова она есть, с кровью и порохом, с грязью и темнотой, необузданную, вшивую, «выкинувшую» миру Третий Интернационал. Иногда же его тянуло в противную сторону, то ли в допетровскую Русь, то ли к «старому сыру», к вековой, буржуазной культуре. Он как будто с теми, кто идет вперед, в «завтра», но в то же время как будто с теми, кто тянет назад, в прошлое. Среди революционеров он кажется иногда реакционным. В реакционном стане его объявили бы революционером. Такова судьба всякого, кто не умеет решать таких вопросов сразу: или там, или здесь. Именно поэтому творчество Пильняка вызывает противоречивые оценки.

Двойственность его произведений, неустойчивость его социальных воззрений характерны для целого слоя мелкобуржуазных интеллигентов, которые уже вышли из «тупика», но еще не вошли крепким звеном в революционную современность. Их привлекает и отталкивает революция, они ее любят и ненавидят, хулят и славословят, ждут от нее чудес и не могут примириться с ее терниями. Они все еще между двух берегов, ближе к левому, чем к «правому» — но еще не ступили обеими ногами на его раскаленную почву. Пильняк не может сделаться «народником», даже «мужиковствующим». Какой же Пильняк «народник», когда по спине его бегут гусиные мурашки перед лицом этого самого «мужика»? Страшен для него мужик; но и пролетариат пугает его своей «железной» силой — ведь писатель наш все-таки «анархист», «романтик», немножко мистик, немножко метафизик — а пролетариат истребляет всякую мистику и метафизику, и какой бы Пильняк был мелкобуржуазный интеллигент, если бы не оторопел перед организующей силой «железа». Страшен ему пролетариат — оттого-то

он шарит глазами по сторонам — нет ли еще какой-нибудь пристани, около которой можно бросить якорь.

«В России только две силы — устами инженера Форста размышляет наш автор: — обыватель и коммунист. Кто победит? Ясно, если победит обыватель — Россия погибла. Но пришел нэп. Нэп не есть ни коммунист, ни обыватель: нэп есть реальный учет, нэп есть то, когда государство поняло, что ноги не могут расти из подмышек, как говорит Греков. Нэп есть будни, нэп победил романтику пролетария, оставив ее ласточкой — миру. Кто из двух сил — коммунист или обыватель — возьмет нэп? — Пока на нэп сел обыватель, негодяй. Россия попрежнему безграмотна и голодает. Каков приход — таков и поп, — власть в России страшна. Но это — в вертикальном разрезе, в моментальной фотографии. Россия живет ни настоящим, ни прошлым — Россия живет будущим.

Стало быть —

— Да.

— Только труд, только накопление ценностей спасут Россию. Все остальное пустяки».

Так из метели, из хаоса, из революции по Пильняку рождается быт, накопление ценностей. Это и есть станция, дальше которой он, повидимому, ехать не желает. Но, ведь, это станция, на которую держит путь русский национализм, деревенские кулачки, хозяйственные профессора, устряловщина. Зигзагообразен, однако, путь нашего писателя. От «волчьей» романтики — к романтике «пролетария» — а отсюда без пересадки к «образцовому хозяйству Форст, Греков и К°».

Инженер Форст — деляга, немец, современный Штольц. Но и Обломовых наших обломала революция. Нынешние Обломы далеко не прежние. От обломовщины они сохранили лишь мизантропию — но от Форста отставать не желают и вместе с Форстом хотят «дело делать», т.-е. накапливать ценности. Рядом с Форстом мы встречаем у Пильняка Дмитрия Павловича Грекова (он же Росчиславский) — также современный человек, прошедший огонь, воду и трубы революции. Греков даже научился кое-чему: он мечтает о будущем, когда человечество освободится от кабалы необходимости, когда невиданная революция перестроит мир — «Весь земной шар будет садом, ибо не будет пахотных полей. Лошадь, корова и курица будут только в зверинцах, ибо их уничтожит машина. Все это совершит гений, культура и пролетариат», — так говорит Греков («Черный хлеб»). Но это его, так сказать, программа-максимум. А минимум? Минимум по Грекову — в «образцовом хозяйстве», которое он создаст своими собственными руками. Никому он не должен, со всеми расплатился — к чорту! Довольно! «За плуг!» Строить «свое» хозяйство.

— А Россия? — задают Грекову вопрос.

— А чорт с ней, с Россией. Пусть, как хотят. Через пять лет у меня будет образцовый хутор, это та лепта, которую я дам России. Но я никому не должен. Это две мои заповеди.

Так романтика мелкобуржуазного интеллигента превращается в простейшее «накопление ценностей».

Но неужто это и есть путь нашего писателя? Ведь это значило бы, что он перестал быть попутчиком революции, потому что мы давно перемахнули станцию, на которой строит «собственное хозяйство» гражданин Греков. Разве не воздвигается в нашей стране хозяйство социалистическое?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

С таким вопросом я развернул одну из последних книжек Пильняка «Россия в полете». Я прочитал ее залпом—превосходная книжка—одна из лучших, написанных этим писателем. Она прозрачна и ясна; лишена туманов и философии; ее композиция четка и мысли не спутаны. Это потому, что в ней писатель признался: «наши (т.-е. пилота и автора) головы были в блестящем порядке».

Автор решил отправиться в далекое воздушное путешествие на железной птице. Полет требует, чтобы каждый винт, рычаг, гайка были на месте. Но гайка, рычаг, винт—послушны человеку, поскольку он сам в порядке. Наш автор (под влиянием машины) привел в порядок свои рычаги, гайки, винты, с удовольствием (впервые!) заметил, что «голова его ясна»—и—удивительное дело!—этот полет, совершенный с ясной головой над Россией, впервые показал ему ее лик, которого он не видел никогда, который казался ему невероятным. Он летел над бескрайними равнинами—еще недавно по ним рыскали вошки, с обрезам бродили дикие мужики, и в исполкомах сидели те же дикие люди, пахло романтическим «осьмнадцатым» веком—а вот где-то в пермских лесах Пильняка встретили делегаты от населения (куда девались дикари и почему нет волков?)—оркестр гудел в лесу «Интернационалом». Пионеры приветствовали их с руками над головой: «всегда готов»—это в пермских-то лесах! и (слушайте, слушайте!)—

«Вахламов именем экипажа самолета приветствовал рабочих от тысячи рабочих Москвы и от миллионов друзей Воздухфлота. И тогда десяток ораторов приветствовали нас: в нашем лице приветствовались революция, братство рабочих, братство рабочих всего мира, революция во всем мире, воля к прекрасному, воля к культуре, к знанию, к победам,—к победам всюду».—Это в пермских лесах, на волчьих равнинах России, где еще вчера побеждал волк! Где же она, пугачевская, вьюжная, исконно русская, прекрасная, наша разиновская романтика? Что случилось с нею и с автором мрачнейших повестей о дикости расейской, взвесившим всероссийскую белую вошь (9 миллионов пудов!), чуть-чуть не пожравшую великую нашу революционную страну. Его не узнать, он преобразился («голова наша в порядке»), и вот мы читаем такие удивительные строки:

«Каждый раз на таких митингах я думал о том, какая огромная воля спаяла сейчас безвольную обыкновенно Россию» и так далее, в том же недоуменно восторженном духе.

Он был в той самой стране, где, по словам Некульева, дичь, срам, мерзость, дикарство, ужас, чорт знает что такое; а на крыло аэроплана взобрался ребенок и приветствовал его от юных пионеров,—

— а крестьянин Борисов делал доклад о полете,

— а пермские комсомольцы, качая, подбрасывали его на воздух,—и это было около Перми, и где-то в «Осе», и еще в других местах,

— и наш Борис Пильняк сожалеет, что ему 30 лет, иначе он обязательно сделался бы пионером,—вся Россия—волчьи равнины—стала казаться ему домом юности, и вот здесь-то он понял (**наконец-то!**), что «мы (**мы??!!!**), москвичи, я, писатель—не дооценивали России».

«Я думал о том,—пишет он,—что мне этот полет дал не меньше, чем любая университетская дисциплина наук»...

Таков переворот, происшедший в нашем авторе после того, как он побывал в Перми, в Усть-Сысольске и в других местах, на настоящей, а не сочиненной русской земле. Ему показалось даже, что он нашел «ключ» к русской действительности, которым он откроет все двери —

— и когда он писал эти заключительные строки—ему в голову не пришла мысль, что, ведь, значит (так выходит по логике) до полета писал он «без ключа».

Не оттого ли так неясна была его голова, вместилище романтического тумана?

Это похоже на правду. Перед лицом позднего просветления нашего художника мы постигаем причины, обусловившие романтическую мрачность его картин, неустойчивость его равновесия между машинами и волками.

На пути рождаются дерзкие мысли. Почему не предположить, что автор, написавши несколько книг о России, о волчьих равнинах, о диком русском мужике, выкинувшем миру Третий Интернационал, а себе оставившем вшивую избу, лучину и сектантство,—

что этот русский писатель писал о России, не зная России, ведь Никола на-Посадьях—не Россия—

или, точнее, однажды, в девятнадцатый «голый год», увидевший ее из теплушки.

Т е п л у ш к а!—Вот уголок революции, досконально изученный автором «Голого года»... Он не видел фронта и не знает настоящей борьбы. Она осталась в стороне и не нашла действительного отражения в его книгах. Даже Красной армии нет на его страницах. Он увидел лишь борьбу за «черный хлеб». С теплушкой об'ехал он нищую Россию и нет ничего удивительного, что именно теплушка оказалась лучшим из всего, что показал нам Пильняк. Л. Троцкий метко подчеркнул эту его заслугу. Теплушка в самом деле вышла великолепной—беда лишь в том, что писатель теплушку отождествил с Россией, и сам поверил этому отождествлению—а, поверив, загрустил—«Боже, как страшна наша Россия»—и вот это отождествление теплушки с революционной страной и сузило размах его описаний, обеднило материал его повестей и романов.

В революционной части своих писаний Пильняк не богат разнообразием: достаточно прочесть «Голоый год» или «Мать-сыра земля», чтобы представить себе мотивы его революционных произведений, их унылый пафос, однотонные и темные краски. Он обманул всех, прикинувшись живописцем революции, потому что революции-то он не знал—ее-то ему увидеть и не удалось, а все, что увидел он в теплушке и что разрисовал мрачными крас-

ками—это ведь не революция, а всего только ее хвост—если смотреть на революцию сзади.

Его предал, его выдал с головой, наконец, его собственный жилет, превосходный, двойной жилет, который рано или поздно попадет в музей. «Те годы,—вспоминает Пильняк в «Повестях о черном хлебе»,—были величайшей романтикой, величайшей радостью, величайшей правдой и верой. Ведь каждый, как реликвий, хранит тот жилет, в котором возил он пшено,—и, вспоминая о днях отошедших, грустит».

Ах! Жилет интеллигента, странствовавшего в теплушках за пшеном!— вот она реальная подоснова мрачной волчьей романтики, бросившая свет на картины революции.

Мелкобуржуазный созерцатель, пассажир теплушки, сохранивший как «реликвию» заветный двойной жилет великолепного девятнадцатого года, Пильняк по-своему, с этой ограниченной точки зрения, отразил революцию—оттого она так хаотична, сумбурна, несуразна, оттого так много в ней волчьей жути—ибо где же, как не в теплушке—человек человеку волк! Но именно поэтому от взора Пильняка ускользнула не волчья героическая сторона гражданской войны, которая ведь воспета нашими поэтами и прозаиками, которая была и которая, разумеется, останется векам, как память о том, что двигало вперед, побуждало к борьбе, преодолевало хаос и разрушение.

От Пильняка можно ждать сюрпризов, и нельзя с уверенностью сказать: каково будет его новое произведение—плохо или хорошо, революционно или реакционно. Последнее время он как будто твердо повернул налево. Это очень хорошо. Но насколько тверд он будет в таком решении? Читатель в нем неуверен. Уверен ли в себе сам писатель?

Нельзя сомневаться: он не распутал всех узлов, какие завязаны им в его книгах. А размах его произведений поистине вселенский. Его темы широки—на узких он мириться не хочет. Писатель с «уездной» точкой зрения—он хочет одним оком окинуть весь мир с его прошлым, настоящим и будущим—тут-то и не хватает ему точки зрения.

«Там впереди—синие вершины Великого Хингана. Здесь—Китай. Там—Монголия. Там дальше—Урал и Россия, огромная земля многих народов, ушедших в справедливость. Там, дальше, Европа, Англия» («Большое сердце»). Что же из этого?—спросит читатель—и ничего путного не сумеет ответить наш автор—мы ведь читали и «Заволочье», и «Английские рассказы», и «Рассказ о ключах и глине», и «Китайскую повесть», и «Корни японского солнца». Все торопливо, продумано наспех, местами прекрасно и увлекательно, частенько неверно, напутано, плохо сочинено. Последние годы наш автор стал бродяжить—он бегаёт «по планете» без устали—Европа, Азия, Британия, Палестина, Япония, Китай, Северный полюс—не от себя ли пытается убежать автор? Каждая поездка рождает новую вещь—но разве эти «скитальческие произведения прибавили что-нибудь к тому, что написал он раньше? И в новейших своих произведениях Пильняк все ещё не преодолел хаоса, не осилил смысла того, что видит вокруг,

попрежнему неясный, смутный, раздерганный, — Пильняк-Темный, как следовало бы определить его писательский лик.

При всем обилии идей, которыми швыряется он в своих произведениях, ему не хватает основной, главной, центральной идеи, которая победила бы хаос, все еще раскованный в его сознании. Он не знает еще твердо, с кем он, с правыми или с левыми? С машинами или с волками? С «коммунистами» или с «большевиками»? Или, быть может, с превосходнейшим спецом-инженером Форстом? А жизнь требует: или - или. Есть, конечно, третий путь: бежать на Северный полюс, в Китай, на Сандвичевы острова, в Турцию, на кулички. Но этот путь — уводит от борьбы. Когда же люди боролись, улепетьвая? В нынешних же условиях отказ от борьбы означает творческую смерть. Только один выход есть для писателя, который хочет быть человеком своего времени: с революцией, за революцию, вместе с рабочим классом. В таком решении есть великая и творческая идея. Ее-то и не хватает нашему автору. Оттого-то он и напоминает игрока, о котором идет речь в эпиграфе, поставленном в начале статьи.

«— Да как же ты играешь так?

— А что?

— Да где же твой король?

Ищут короля. Короля нет на шахматной доске»...



Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

1. Г. ЛЕЛЕВИЧ „Улялаевщина.“ — 2. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. Лирика ума (М. Светлов). 3. Е. ЛУНДБЕРГ. Леонард Франк как представитель реализма.—С. ДАЛИН. По деревням и городам китайским.

1. „УЛЯЛАЕВЩИНА“ *)

Г. Лелевич

Вслед за «Рекордами» вышло из печати крупнейшее произведение Ильи Сельвинского «Улялаевщина». Непривычно в наши дни видеть на титульном листе книжки подзаголовок «эпопея». Непривычно читать стихотворное произведение в 148 страниц. Уже один смелый размах автора, проявившего себя оригинальным, талантливым и революционным поэтом, заставляет отнестись к поэме серьезно и внимательно, тем более, что и тема не менее значительна, чем размах оформления.

Участники улялаевского движения представляют собой весьма пестрое и разношерстное собрание:

Тут были гунны-верблюжники из Азии,
Крестьяне с онучами и козьей шкурой.
Суровые Дюма-отцовцы южных гимназий,
Керекские прапоры и волки Шкуро.

Приведа эти строки, К. Локс ²⁾ пишет: «Траги-комические приключения этой странной компании изображены с достаточной полнотой и несомненным юмором. Это ералаш и ерунда, занимательная страничка революции, которую теперь забавно вспомнить, хотя в свое время вовсе не забавно

было ее переживать». Свести фабулу поэмы к «приключениям этой странной компании», увидеть в теме «ералаш и ерунду, занимательную страничку революции», значит слона-то и не приметить», значит скользнуть по поверхности поэмы.

В том-то и дело, что Сельвинский сумел за пестрым внешним обликом событий прощупать основную классовую природу изображаемого движения, что ни мшуря идеологических мотивировок бунта, ни смешанность персонального состава участников последнего не обманули поэта, не скрыли от него подлинного лица Улялаевщины. Внешне—

Вождь анархистов Серга Улялаев
Иде на войну за народны права.

А по существу—

...Улялаев за белых.
В драке за землю он их ненавидел—
Но все обошлось в самом лучшем виде,
И теперь мешали красные. И он не
терпел их.

И верно: у него теперь барское хозяйство.
Голландки, сименталки, молочные
козлицы,
А эти придут—заорут «да здравствует»,
И сдавай на учет и жди реквизиций.

Так фразеология заправи́л Улялаевщины переводится на язык социоло-

¹⁾ Илья Сельвинский, Улялаевщина. Эпопея. Изд. «Круг». М. 1927 г.

²⁾ К. Локс, «Эпопея Сельвинского», «Красная Новь» № 3, 1927 г.

гни: из-за черных знамен анархии выглядит озерелое лицо взбесившегося собственника.

Подлинная тема «Улялаевщины» — трагедия крестьянской стихии, ополчившейся против пролетарского руководства и втянутой в водоворот предательских авантюр. Это противопоставление стихийного бунта и организованной революции, собственного разгула и социалистического строительства показывается и другой своей стороной — противоречием между отсталостью, азиатчиной и культурным организационным нажимом. Таким образом, Сельвинский разработал тему взаимоотношений города и деревни, пролетариата и крестьянства, «железного гостя» и «деревянной Руси», поезда и «красногривого жеребенка», — тему, являющуюся, по правильному замечанию т. Вяч. Полонского («Критические заметки об Артеме Веселом»), одним из важнейших мотивов современной литературы. И симпатии Сельвинского в этом противоборстве двух начал совершенно определены: вся поэма, это — гимн победе организатора и строителя над бунтарем.

Беда в том, что, сюжетно развертывая картину этой борьбы и художественно персонифицируя борющиеся силы, Сельвинский не сумел творчески показать ту социальную силу, которая обеспечила торжество любезной сердцу поэта организованности. «Ночной завод в астме машин и митинге труб» лишь изредка маячит на страницах поэмы, оставаясь символической абстракцией и ни разу не облекаясь в осязаемую плоть конкретных образов. Правда, Сельвинский дал яркий и удачный эскиз члена ревкома, молотобойца Четыхи. Но в то время, как эскизы остальных действующих лиц постепенно выросли в рельефные и динамические портреты, образ Четыхи так и остался мимолетной тенью, наброском, мелькнувшим и быстро затерявшимся.

Разбушевавшееся собственническое море не только разбивается о гранит пролетарской диктатуры. Улялаевщини губят и внутренние противоре-

чия. Замечательна картина вооруженной схватки в стане улялаевцев между интеллигентами-прапорщиками и матросней:

Керенские прапоры все видели у столика.
Черное пиво сопело ноздрями,
Но никто из них не тронулся, и только
Ломали пальцы — и всем было странно.

Но матрос ворочался. Присел на бруствер.
Треснул спичкой — и рыжий ужал
Лизнул сафьян «Истории Искусства»,
Грезуфой короной яростно жужжа.

Керенские прапоры страдали от сплина.
Что это все? Грабеж или ересь?
Липовые командиры рыскали карьеры-с,
Но какая тут карьера, если нет
дисциплины?

С печальными глазами, не в силах
отстраниться,
Но, по-демагожки растягиваясь ртом,
Смотрели, как в пламени роскошный том
Пепелился, от боли листовая страничка.

Ганзейская шхуна. Вот кошка и пинчер.
Вот натормот и Бордо.
И листнулись вдруг глаза Леонардо-
да-Винчи
Над струистой золотистой бородой.

Один из них не вынес. Шарапнулся
руками,

Но рыжий язык стер.
Дергая ртом, он булыжный камень
С яростью брызнул в костер.

Прапоры захлопали: брависсимо, Краузе!
Но вдруг из гурта, где одувался зубр,
Кто-то, облапив музыкальный маузер,
Вдарил огнем в зубы.

Поручик Краузе. Рванулся пробор.
Устоял на нбгах. — «Господа офицеры!..»
Поручик Краузе. Руку в борт,
Левой как на дуэли цели.

Бац. Офицеры заняли кафе
И под прикрытием мрамора и стульев
Уже — (бац-бац) — своротили лафет
И пустили стакан в нарезное дуло.

Но тут — матроса. Но тут — мужики
Под мат и галдеж в киргизские орды,
Дзээ... заскулил орудийный шкиф,
И в панике шпана ударила из города.

Заунывно отвыв, разорвался выстрел.
Загремела шрапнель, ковыряя тумбы.
И, оторопев, отрезвевшая лумпьярь
Принимала на штык остервенелых
гимназистов.

И сразу каждый так или иначе
Понял, что это неспроста бой —
— «Да здравствует Леонардо-да-Винчи!
— Интелигузию беи!..»

Эти взаимно враждебные силы, не позволяющие улялаевской банде пре-

вратиться в монолит, в мощный кулак, персонифицированы в галлерее типовой руководителей мятежа. Галерея эта богата, разнообразна, интересна, показана убедительно, врезывается в память. Сам Серга Улялаев — кулачек-казак, с хитрецей и коварством, авантюрист с железной волей, необузданными страстями и неистраченной нежностью. Князь Кутузов-Мамашев — маленький восточный деспот, весь насыщенный предательством. Дылда — бездумный удалец и рубака, с крестьянским нутром. Зверус — кадровый царский офицер, безыдейнейший карьерист, торгующий своей шпагой и мечтающий о королевской корооне «в какой-нибудь Кахетии». Наконец, «теоретики анархизма»: Штейн — эсер, притворяющийся анархистом, яркий образчик духовной опустошенности, искатель приключений, и циник, духовный родственник Савинкова; Свобода — наивный и искреннейший миссионер анархии, неисправимый старый мечтатель, беспочвенный и бессильный повлиять на массу. Такова пестрая верхушка улялаевского движения.

Этой группе героев противостоит группа красных: упомянутый Четыха, типичный представитель партизанского периода революции, матрос Лошадиных и Гай — вторая (первая — Улялаев) стержневая фигура эпопей. Гай — комнатный интеллигент, веселый жуир «декадентского севера», ставший организатором, лектором, оратором большевистской партии, «как стержень, обвитый проводами партии и пролетариата». Неврастеник и романтик, перемалывающий себя на мельнице гражданской войны. Тип реальный и любопытный, но в ряд ли подходящий для олицетворения противостоящих Улялаевщине.

Прекрасно очерчен образ Таты — вдовы фабриканта Морозова, убитого в дни Октября, затем жены Улялаева и предмета любви Гая, светской красавицы, пустой, эгонистичной, но женственной и обольстительной. Запоминается фигура профессора Щедрина, человека «не от мира сего», кристаллически-чистого представителя старой академической науки.

Ценно, что лепя эти фигуры, Сель-

винский умело сочетал классовое с индивидуальным, создал образы, и символизирующие ту или иную социальную категорию, и, одновременно, дышащие подлинной психологической правдой живых людей. Но в этой обширной галлерее типов, как отмечалось, отсутствует самый главный. И этот пробел делает натянутым торжество организованности над стихией, выявленное в главе 9 эпопей. Упомянувшийся выше Штейн, после разгрома улялаевцев, уже в дни мирного строительства нелегально приезжает в Москву. Здесь он убеждается в окончательном своем поражении, встретившись с поэтом-конструктивистом Барабановым, выдвигающим в творчестве лозунги: «Организация, плановость, вещность!» Проникновение этих принципов даже в поэзию воспринимается Штейном, как смертный приговор над теми силами, на которые он рассчитывал в борьбе с большевизмом:

Искусство — громоздко. Оно только
отмечает.

Значит это в воздухе. Значит это властит.

Что-ж, пожалуй, для Штейна это, действительно, убедительнее всего. Но вряд ли это так же убедительно и для читателя.

В поэме немало незабываемых по жизненности и выпуклости картин. Такова картина работы Ревкома. Такова замечательная сцена нападения бандитов на поезд в главе пятой:

Обер-кондуктор поймал себя на том,
Что забыл свое имя, но вспомнил:
«Б. Воев».

А с ним и этажерки, чеховский том,
Муху, раздавленную на обоях,

Пунцовый абажур над лампой, женой
Спитый из тюля, чтоб было красиво —
А тут — степуга, ветра, «онин» — боже мой,
Какая неудобная наша Россия.

Но смазчик крикнул: «Эй, вы, там,
а ну-каси!

Скоро расстрел-то? А то до утра
Надо-б еще перестукать буквы
Да подвентить кое-где буфера».

Смазчик! Здорово! Сердце пружит —
Всем стало весело, вкусно и тесно.
Есть ребята, с которыми жить
И погибать бывает чудесно...

Сельвинский подал прекрасный пример — как надо собирать материал для эпических полотен о революции. Он пользуется и печатными источниками, и устными рассказами, и легендами, и даже ходячими анекдотами. В основе дневника Маруськи (глава 7 поэмы) лежит безусловно известный дневник жены Махно, Фредоры Гаснюк. Спасенные Гаяя при встрече с вражеским разведом путем предъявления... анализа мочи, вместо бумаг, заимствовано из популярного анекдота.

Разнообразие жизненного материала соответствует разнообразие словесного материала и приемов оформления. Выдвинутый конструктивистами плодотворный принцип перенесения в поэзию приемов прозаического повествования нашел в «Улялаевщине» наиболее полное и яркое выражение. Мы встречаем в поэме: дневники, песни, письма, политические доклады, литературные споры, военные приказы, стихи поэта Барабанова и т. д. Оригинальный ритм стиха местами отличается подлинной виртуозностью (например, пользующееся широкой известностью начало главы 3 — «Ехали казаки»). Когда этого требует тематика, Сельвинский мастерски пользуется и украинской, и киргизской речью, и воровским жаргоном. Но особенно охотно он, как и в лирике, вводит в эпос, — в зависимости от содержания, — типичнейшие обороты деловой и научной речи. Особенно характерны рассуждения Штейна о поэзии в главе 5, военные теории Звержа в главе 7 или выдержка из приказа в главе 8:

Означенный корпус именовать ЧОН
Присвоением прав армии.

Все вагоны — цветные, товарные,
Груженные тарой, также кирпичом,

Освободить под ответ чека,
Представить фамилии двух кандидатов
Посты командарм комиссар тчк
Командующий Ю.-В. группы (дата).

Вообще, научные обороты в поэзии Сельвинского заслуживают серьезнейшего внимания, ибо это — далеко не только словесный прием. Валерий Брюсов пытался в свое время привить русской поэзии идеи Рене Гиля о «научной поэзии». Этот

ценный опыт не мог вполне удалиться Брюсову, так как для органического художественного претворения современных научных проблем необходимо стройное и целостное научное миропонимание, а Брюсов всю жизнь стремился к такому миропониманию, так и не овладев этой «силой птицей». Сельвинский высоко поднял знамя «научной поэзии», выпавшее из окоченевших рук Брюсова. Он смело и размашисто касается разнообразнейших проблем и отраслей современной науки, крепко увязывая эти экскурсы с основным тематическим и идейным стержнем произведения. Любопытно, что Сельвинский, вслед за Николаем Морозовым (но, конечно, с несравненно большим талантом), рискует следовать в своих стихах... законам Коперника. Как никак, а в современной поэзии солнце продолжает ходить над неподвижной землей! Помимо косности мифологических традиций, это объясняется также трудностью конкретной образной передачи абстрактного понятия вращения земли вокруг солнца. Но у Сельвинского —

И, черкнув горизонтом таинственный

град

Из красного солнца и сизого дыма,
Земля опускала восточный край
Торжественно-неудержимо.

И далее —

По телу солнца черной чертой
Величественно земля оседала.

Сельвинский своевременно ставит перед нами задачу критического пересмотра теории Рене Гиля, имеющей немаловажное значение для современной поэзии и могущей реализоваться в полном объеме лишь в творчестве пролетарских и близких к ним поэтов.

«Улялаевщина» — содержательна, динамична, красочна, монументальна. Но этой монументальности вряд ли соответствует резко-импрессионистическая манера, в которой написана поэма. Чрезмерная сложность образов и их количественное «перепроизводство» нередко превращают те или иные места поэмы в ребусы и разбивают цельность впечатлений. То, что приемлемо в небольших лирических стихотворениях

(и то в меру и не всегда), решительно не годится в эпопею. Речь идет не о призывах к примитивности и капониическим формам стиха, а о подчинении отдельных образов и приемов художественному целому.

Сельвинский шагает уверенно и решительно. Он—один из немногих современных поэтов, которому по плечам груз социального эпоса. Он не

боится идеологических и технических трудностей революционной поэтической работы наших дней. Но ему необходимо творчески приблизиться к живому рабочему классу, преодолеть чрезмерную изысканность и сложность стиля. У нас нет оснований сомневаться, что в дальнейшем своем творческом развитии Сельвинский справится и с этими задачами.

2. ЛИРИКА УМА

(М. Светлов)

С. Пакентрейгер

Бойкое нынче слово «упадочничество» стало похоже на резиновый мешок, куда без разбору валят всех прозаиков и поэтов, чуждых риторического, упрощенного оптимизма—одной из разновидностей творческой мимикрии, бесплодной для читательского ума, чувства и воображения, но весьма полезной для феерической и быстролетной популярности.

На прокрустово ложе упадочничества очень старательно, очень рьяно тащили одно время и молодого конспиратора иронии—Михаила Светлова.

Но вот появился маленький сборник лирических стихов Светлова, заряженных мыслями, как винтовка на боевом взводе патронами, и горе-хирурги не отваживаются больше вырезать «упадочнические» и «пораженные» куски мяса из живого тела поэзии Светлова.

Потому что в ином, язвительном слове молодого поэта больше наступательной, революционной, воинственной бодрости, выношенной и выстраданной, чем во многих звонких урлялюющих словах громкоговорителей и резонаторов механического оптимизма.

Общезвестно, что если вы взорвете пироксилиновую шашку, то соседние близлежащие шашки тоже взорвутся. Это—явление так называемый детонации. Поэтические строки Светлова обладают этим энергичным свойством детонировать, взрывать чувства и мысли читателя. Они лирическим ходом своим срывают ум и воображение с путей инерции, будят историческую и интимную память читателя, заново

заряжают и вооружают его классовые пристрастия, его гражданские устремления.

Именно самое неподвижное и инертное круг человеческих чувств—Светлов взрывает порохом гражданской мысли, и они получают иное, более глубокое русло. Он обладает тонким даром интимизировать самые большие, самые глубокие социальные чувства. Вот почему его строки вызывают детонацию, врываются в самые потаенные, самые скрытые уголки человеческой психики.

Одновременно он самые обычные интимные чувства, приковывающие человека к настоящему, маленькому тесному узкому кругу близких людей, к уюту, к работе, к миру умеет окутать такой грозовой атмосферой, что заставляет слышать, как звучит их преображенный голос, их напряженный, возрожденный зов во имя большого человеческого будущего. Он умеет включить самые незначительные переживания в такую оправу, что они становятся отголосками больших коллективных гражданских чувств.

Он рядом образов, музыкальных ходов, игрой молодой страстной иронической мысли конспирирует свои лирические мотивы и потом неожиданно, захватывая читателя врасплох, раскрывает тайну своей революционной конспирации.

Вот это сложное, тонкое, увлекательное, поэтическое маневрирование приводит к тому, что акты его мысли, так сказать, на глазах, перед умствен-

так искры поэтической мысли Светлова текут по строкам, чтобы, коснувшись ума читателя, вызвать взрыв мыслей, призвать его к сотворчеству. В этом и заключается значительная сила маленького потенциально-богатого сборника Светлова, у которого в каждом стихе словам тесно, а мыслям просторно. При чем эти мысли того активного порядка, которые помогают формированию и обогащению индивидуальности, дисциплинируют характер, бодрят волю и организуют внутренний мир человека.

Светлов в подлинном смысле слова молодой создатель духовных ценностей. Он не заставляет обязательно принимать созданное им, но побуждает вас самих творить, проверять, перестраивать, обогащать и усложнять свою психику.

Есть поэты, которые побеждают и завоевывают вас. Есть поэты, которые лишают вас инициативы. Вы не спорите с ними. Вы покоряетесь им или отвергаете их. Поэзия Светлова заставляет вас самих быть поэтом, собирать свою личную жизнь, личный опыт и конденсировать их в творческие акты, остающиеся в вашем внутреннем мире, как завоевания собственной мысли, воображения и чувств.

Это качество Светловской лирики давать неограниченный простор творчеству самого читателя,—самое ценное и самое плодотворное качество подлинной лирики,—вряд ли можно назвать упадочническим.

Молодой внимательный и острый взор поэта схватывает историческое зерно в каждодневных обычных фигурах и их переживаниях, и они вырастают в образы большой значимости. Он берет их в перспективе прошлого и в поле зрения будущего, и потому от его стихов остается аромат историзма, сдобренного либо мстительной, либо иронической мыслью. Это сказывается не только в трактовке тем и мотивов, но подчас и в подборе формы. Есть у него и своя поэтическая родословная. Он оттачивает свой ум, свое восприятие, свои подходы к жизни на уме самого гениального конспиратора и революционера иронии — на уме Гёйне.

Он умеет схватывать необыкновенное в обыкновенном, праздничное в будничном, подвижническое в работе, героическое в труде. Его рабфаковки—это «наши Жанны». Они

...ремешком
Подносывали пиннели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели.
И так же горят они теперь,
Склонившись
...сестры родней
Над испсанной тетрадкой.
(«Рабфаковка»).

Это ли не ослепительный ответ тем банальным упадочникам, которые на жизнь нашей молодежи поглядывают из кареты прошлого и плетут словесные узоры вокруг половой «проблемы», а в лучшем случае выражают свой сантиментальный восторг тому, что молодежь наша приобщается к «вечным» ценностям культуры?

Только тайное, равное, товарищеское чувство могло вызвать такие нежные строки, лишенные одописной восторженности:

Мягким голосом сон зовет,
Ты откликнулась, ты уснула,
Платье серенькое твое—
Неподвижно на спинке стула.

Так интимно, так искренно о «наших Жаннах» может говорить только юноша из той же среды, одаренный умным сердцем.

То же умное сердце продиктовало Светлову утренние, зоревые стихи о мечтателе-красноармейце, умершем с песней о Гренаде на устах во имя восхода новой жизни, чтобы

Отряд не заметил
Потери бойца,
И «Яблочко» — песню
дошел до конца
(«Гренада»).

Вряд ли временное прощание поэта с «грамматикой боя и языком батарей» и призыв не тужить о песнях, ибо

Новые песни придумала жизнь...

можно назвать упадочническими.

Серьезный и умный взор поэта упирается однако и в тягостные, ночные пережитки прошлого, в рецидиве зооло-

гических вспышек. Его ухо слышит темный зов предков. И своей очищающей и воинственной иронией он распинаяет «усатых тигров» и «разбойных прадедов». Он знает, что нельзя выключить себя из цепи ушедших и приходящих поколений. Он знает, что борьба с «звериным образом» предков во имя свободных внуков дает человеку возможность «почувствовать свой высокий рост» («Теплушка»).

Но из ночей прошлого приходят порой и пленительные призраки со скорбью о том, что паше настоящее далеко еще от тех времен, когда человек окончательно выпрямится, что «неизбывные муки» рабства и нищеты еще горбят и уродуют строителей духовной и материальной жизни. И тут Светлов подчас изменяет духу своей оптимистической, своей светлой покоряющей иронии и сгущенным ядом сарказма ранит подчас самого себя.

Он вновь, однако, обретает мощное противоядие, когда обращается к образу своей «страны боевой», ставшей, как башня света, надеждой всему угнетенному миру.

И в героическом рассказе «своем» «Медный интеллигент», звенящем стоном борьбы, скорбью об утрате Ленина и пафосом неистребимой веры в победу труда, он разгоняет все ночные

исторические призраки и ловит потоки света с башни «страны боевой»:

Видишь, как нагнулась тьма
Слушать шаг идущих тысяч...
Это строят новые дома —
Терема плененных электричеств.
Как знамена, вскидывая искры,
Возрожденно Волхов гудит...
Петр!

Это только присказка,
Сказка еще впереди.

Не в пример многим современным поэтам Светлов потратил немало усилий, чтобы найти самого себя и высказать самого себя. У него нет ни одного слова, сказанного с чужого голоса. Наделенный зрячими чувствами, он переплавляет их в дальноразличные мысли. Напряженную тетиву чувств он оснащает острыми стрелами мысли. Он нашел легкие скрипичные формулы для передачи романтизма гражданских битв, определение стиля и души нашей эпохи, поставившей ставку на жестокую силу, для определения скрытного лица врага, для гнева. зарубежних собратьев, для сверкающей иронии над суетливыми барабанными выкриками, сопровождавшими идейную литературную борьбу наших дней и, наконец, для монументального лирического рассказа, облитого горечью и скорбью потери, о споре двух реформаторов России — Петра и Ленина.

3. ЛЕОНАРД ФРАНК КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕАЛИЗМА

Е. Лундберг

Романтизм в самых разнообразных его видах искони свойственен немецкой литературе. На многие десятилетия и, пожалуй, века он расползается, подобно нечаянно пролитому красочному пятну, далеко за пределы романтической школы—как литературного и философского явления. Романтизм проявляет в равной степени как склонность к легкому вырождению, так и необычайную устойчивость, если не идей, то манер. Можно утверждать, что идеи романтизма давным давно загнаны капиталистической и воинствующей Германней в один из самых далеких углов литературы, зато манеры романтизма, мелькая, пере-

дались от художественной литературы—газете, фельетону, политической передовице и даже хронике происшествий. Быть слегка романтическим по стилю и по жесту—является для пишущего и говорящего немца своего рода требованием хорошего тона. Строгий и четкий реализм плохо приживается в Германии. Здесь гораздо легче согласовать меркантильную сущность с романтической жестикюляцией, чем дать произведение строго аналитические или правдиво отражающие действительность.

Эта склонность к романтическому жесту еще резче, чем на литературе, отразилась на театре. Театр немецкий

в упадке, и здесь бесплодная и безыдейная приподнятость сказывается, быть может, особенно обнаженно и безвкусно. Холодная декламация классической трагедии сделалась столь же бесхарактерной, как и предпосылки романтизма, полагающего ценность вещей не в непосредственно воспринимаемом, а в символическом и несказанном. На сценическую технику современного немецкого актера эти осколки классицизма и романтизма обрушиваются, точно мертвая лавина. Актер этот не пробился ни к подлинному переживанию, ни к подлинной «биомеханике». Он эклектически пытается собрать все, что попадетсЯ под руки, в своей либо ходульной, либо слащавой игре. Отдельные исключения не в счет. Я говорю о господствующем типе актера, как и об основном тоне текущей немецкой драматургии. Даже такой острый драматический памфлетист, как Карл Штернгейм, не свободен от указанных выше недостатков. Грани школ и направлений стерты в немецком театре, а это всегда признак бессилия и реакции.

В ряду современных немецких прозаиков наиболее значительными сейчас следует признать трех—А. Дёбелина, К. Эйнштейна и Л. Франка. Каждый из них занимает определенную позицию, каждый из них растет, не создавая школы, и каждый из них так или иначе платит деньгИ исконному немецкому романтизму, пытаясь сбросить его ярмо и все-таки сгибая под ним упрямо шею.

Наиболее традиционен из трех переименованных—А. Дёбелин. Это тяжелый и серьезный любитель романтического слова, пишущий так длинно, так тяжеломерно и так по-немецки веско, что его произведения почти не поддаются переводу на иностранные языки. В произведениях Дёбелина—своеобразное сочетание творческой силы и бессилия. Выдумка его как-то чрезмерно сложна, фраза чрезмерно пышна и приподнята—чтобы быть проявлениями подлинной творческой силы. Фабулу он заимствует то у истории Китая, то у мечты о будущем, то у немецкой современности, но каждый раз уходит от отправной своей точки

к стилистической нагроможденности, к описанию деталей.

Резко противоположен Дёбелину—Карл Эйнштейн. Биография его чрезвычайно бурна и в хорошем значении этого слова романтична. Он был на войне, бросил солдатчину, нарочито, рискуя многим, ушел от нее в сумишедший дом, стал коммунистом, был ближайшим сподвижником Карла Либкнехта, пережил опасности контрреволюций, занялся, кроме художественной литературы, искусством Африки, написал антихристианскую пьесу, сожженную немецкой цензурой, открыто высказывал, Франции все свои симпатии в самые напряженные политические моменты. Такова биография Эйнштейна, напоминающая чертами своими классические образцы биографий беспокойных гениев—Sturm'a и Drang'a. И вот писатель с подобной биографией в литературе стремится к сухости, к сжатости, к своеобразно-острому протоколизму.

У Карла Эйнштейна «дурной глаз», по крестьянскому поверью—посмотрит и сглазит своего героя. Он не без цинизма подходит к человеческим переживаниям. Одна из любимейших его задач в художественной литературе—вырвать из сложного комплекса человеческих переживаний какие-нибудь частности и на них построить выдуманного, «своего» человека, и вовсе не в идеальном виде. Его выдуманные герои, выдуманные чувства, выдуманные ситуации остры, убийственны для идеалистических представлений о человеке и тесно сплетены с физиологией, экономикой, простейшими из человеческих обычаев, навыков или традиций. Эйнштейн в «Бабукене», в «Злой вести», в «Девушках в деревне» и др. является своеобразным романтиком наизнанку, ибо силы, подталкивающие его к принятым им методам изображения, несомненно, романтиски-бурливы и романтически окрашены.

И вот наряду с этими двумя мастерами слова—ровно, твердо и неуклонно растет реалистическое—в нашем смысле этого слова—дарование Леонарда Франка. Первые литературные шаги Франка—его роман «Разбойничья

шайка» еще довольно близок к немецкой традиции. Роман этот был очень горячо принят и в Германии и во Франции — а последнее не так часто выпадает на долю немецких писателей. Объясняется это тем, что в «Разбойничьей шайке» силен бунтарский элемент, что, кроме литературных достоинств этого произведения, привлекло к себе внимание Барбюса и его интернационалистически настроенных единомышленников.

Даже по фабуле Л. Франк выдержал в «Разбойничьей шайке» старую немецкую традицию. В романе есть страницы, напоминающие приключенческую поэзию поры романтизма. Эта исконная манера немецких писателей — брать мелочи повседневной действительности и проектировать их на огромное полотно, преувеличивая их в десятки раз, — полностью дана в романе, правда, без уклонов к потустороннему, к религиозности и мечтательности. Наоборот, уже в этом первом своем произведении Леонард Франк тщательно разрабатывает фон или социальную среду.

Кучка ребят в небольшом старинном городке Вюрцбурге, начитавшись приключенческой литературы, образовали шайку, и живут таинственной, чрезвычайно по существу невинной жизнью в развалинах и крепостных рвах вюрцбургского замка. Как ни невинна их игра — она напоминает трусливым мелким буржуа, среди ничтожных событий его убогой жизни, о совсем других временах и других нравах. Мещане боятся того, что опасные игры начались неспроста и что рядом с ними, с их периной, лавочкой и кухней, может зародиться новая вольная жизнь, которая сметет их благополучие. И вот веселая игра приводит ребят к все нарастающему конфликту со взрослыми, с семьями, наконец, со школою, а через школу и с государством — с этим, по словам Ницше, «самым холодным из всех чудовищ». В лице учителя Магера ребята находят беспощадного врага, ибо школа является наиболее рьяной, тупой и злобной защитницей интересов противных им стихий — семьи, государства и бездарной мещанской рассудительности. Учи-

тель Магер не только реально-действующая фигура в романе. Образ его разрастается и становится как бы воплощением той враждебной юности силы, которая не становится перед тем, чтобы раздавить непокорные ему существования.

«Разбойничья шайка» несомненно бунтарский роман. В нем не только рассечена на слои вся ткань современного германского общества, и с беспощадной ясностью показано строение этого общества, — в нем есть и гнев и отвращение, пожалуй, даже отвращения больше, чем гнева. Ибо в ту пору своей деятельности Франк еще думал, что каждый бунтарь должен так или иначе погибнуть. Оттого, вместо романтики действия, он продолжает немецкую традицию — романтику размышлений, романтику бесплодных протестов и романтику широких обобщений. Учитель Магер дается в виде гигантского фантома не только затем, чтобы оживировать право убийства молодым поэтом того, кто мешает ему жить, но и затем, чтобы морально казнить мещанское государство.

Угнетенные чувствуют нависший над ними тяжелый пресс то сильнее, то слабее. Но он действует неизменно, деформируя характеры и судьбы. В этом прелесть и мастерство романа. В нем человеческая жизнь отражена от начала до конца. Юные разбойники становятся старше и, как и полагается людям мирного времени и немецкой провинции, переходят в лагерь врагов, мещан, филистеров, вековых дезертиров мысли и совести. И вот приходит день, когда один из таких дезертиров юношеской шайки протягивает руку самому учителю Магеру, враждебная сила которого так велика, что он даже тридцать лет спустя является всем знавшим его во сне точно отвратительный кошмар. Так разражается в пределах маленького городка эта моральная катастрофа.

Двое «разбойников» пытаются спастись от нее средствами, не представляющими собою ничего нового. Один из них уходит в монастырь. Другой еще пытается биться в одиночку и тянется к живой жизни, но все-таки попадает в сети мещанства и кончает

жизнь самоубийством. В заключительной части романа читатель еще раз встречается с уцелевшими членами шайки все на той же замковой горе. От юных дней не осталось ничего, кроме воспоминаний. Рвы обвалились еще больше, многие из прежних товарищей канули в неизвестность. Один из последних, поэт, сводит счеты с фантомом искалеченной юности — с учителем. И здесь опять в реалистической ткани романа мы находим сильные отзвуки романтических традиций — мысли и манеры. Учитель проигноу во все углы сознания своих питомцев, все отравил, искалечил, обессилил — и вот поэт убивает этого врага свободной жизни, не чувствуя ни раскаяния, ни страха перед карающей рукою государства.

Сцена суда над поэтом дана необычайно сильно и именно в этой сцене заложено зерно будущих произведений Франка-обличителя. Судья, как водится, не умеет найти связи между явлениями, да и не хотят видеть правду жизни, освещая ее так, как это чужно для сохранения существующего порядка.

Поэт приговорен к смертной казни. Он проводит дни ожидания ее, проходит через все ступени тюремного ужаса.

Немецкие критики, с большою долею правоты, сравнивают эти страницы Л. Франка со страницами «Последнего дня приговоренного» В. Гюго. Действительно их роднит не только внимание к частностям, — к часам и дням приговоренного, — по и лейтмотив переживаний и героя и самого автора: приговоренного убивает общество, но нрав преступник, а не судья и не палач. Его убивает общество — но есть где-то рядом другая правота, и все дело только в том, чтобы перевести эту правоту из состояния статического в состояние динамическое. Так в романтическом бунтаре Л. Франке через острое чувство действительности куется будущий непримиримый враг немецкого и общеевропейского мецданства.

Следующее литературно-общественное выступление Л. Франка было направлено против войны. Нужно хорошо знать атмосферу осажденной кре-

пости, воцарившуюся на долгие годы в Германии, чтобы реально представить себе, какое мужество и какая сила убеждения нужны были для такого выступления — не только духовного, но и физического мужества, как мы это видели на примере Карла Либкнехта. Сборник антивоенных новелл Леонарда Франка произвел впечатление разорвавшейся гранаты. История ресторанского лакея, сын которого был убит на войне, дана Франком с потрясающей простотою. Лакей начинает понимать, что все мелочи быта, вплоть до детских игрушек и школы, пронизаны заранее поставленными буржуазным обществом заданиями — приучить к убийству и насилию. Лакей видит это с тою последнею ясностью, после которой ему уже нет возврата к фальши старого мира; он становится во главе демонстрации, требующей конца кровопролития.

Сборник антивоенных новелл Л. Франка носил определенный политический характер, но не преследовал никакой определенной политической цели. В нем было больше непосредственного чувства, чем какой бы то ни было программности. Аналитик здесь останавливается на полудороге. Акцент уже перенесен с личной воли на сверхличную необходимость. Пафос действующих лиц не столько в борьбе за свободу, сколько в борьбе с велениями общества и государства, коверкающими индивидуальную жизнь.

«Свобода» «Разбойничьей шайки» начинает казаться Л. Франку чем-то негативным. Понятие свободы он подменяет понятием иного, не вчерашнего, устройства жизни. Так же, как и в общественном гнете, в котором он до сих пор отличал только мешанскую косность, он начинает различать очертания групповых и классовых интересов. Очень характерно и еще одно изменение в тоне Л. Франка, происшедшее за годы войны. Прежде — он обращался к человеку вообще, к человеку уединенному и себе доверяющему. Теперь — он обращается к какой-то общности, к какой-то группе, т.-е. делит общество на группы уже не по нормальному или эстетическому, а по какому-то другому, более реальному,

более действительному, хотя и не совсем еще осознанному принципу.

Тревоги и тиски войны выковали нового Франка. Его неизменно склонные к борьбе мужские и женские персонажи исподволь переродились. Иную стала и манера письма Франка. Стиль его теперь—еще точнее, манера изображения—до крайности скупая, анализ внутренних состояний героев—резкий и сверлящий. С необычайным напряжением строит он свою новеллу. «В последнем вагоне». В вагоне собраны люди из различных слоев общества, с несхожими биографиями и разными мировоззрениями. И вдруг над ними разражается железнодорожная катастрофа. Маски падают. Привычный мир поставлен вверх дном. И дальше, в других произведениях Франк заботливо готовит всяческие неприятности своим мещанским маскам. Он подталкивает, тревожит и унижает буржуа, где только можно. Л. Франку яснее становятся веки пути к социализму. Трясина мещанства у него не так, как раньше, неизменно победительна. Что-то расшаталось, что-то колеблется у самого основания. В новелле «Мост судьбы» появляется девушка, которая рвет с отцовским домом и хочет совсем новой, не знакомой женщинам ее круга жизни. Ее судьба—судьба современной немецкой женщины, ибо нет женщины в Европе более отсталой и более сдавленной традициями, чем средняя немецкая женщина.

Франк вводит в литературу экономические факторы, следя за тем, как они определяют самые тонкие разветвления чувств. Его талант—талант аналитика внутренней жизни челове-

ка и обусловливающих ее факторов—с каждым произведением становится все смелее.

Герои Леонарда Франка—всегда гонимые, непонятые люди. В первых его произведениях они обычно погибали и проходили через жизнь, не оставляя следа. В последних произведениях они не только выбирают, но и утверждают свой путь, и совершенно не считаются с тем: вызывают ли их дела и намерения сочувствие окружающих или не вызывают. Они твердо знают, что общественная жизнь сегодняшнего дня построена на ложных основаниях, что враги неправы и что удача скорее придет, если не уступать своего места в жизни, чем если бежать от поля сражения.

Развитие Леонарда Франка еще не завершено. Франк принадлежит к числу немногих немецких писателей, которые не боятся стоять лицом к лицу с жизнью и в ней черпать свои идеи и образы. Он обходит фабрики, канцелярии, бюро и мастерские ремесленников и открывает повсюду все новые и новые конфликты. Чувство кровной связи с борющимся, с нуждой, с запросами дня—как летний ливень в лесу и в поле—увеличивает силы этого острого и полноправного дарования.

Франк—настоящий пролетарий в своем искусстве. Железная дисциплина и строгая самокритика—отличительные черты его творчества. Когда вышла в свет его «Разбойничья шайка», ему было уже тридцать два года. Так много времени прошло от юности писателя, пока он решился выпустить в свет первую свою вещь. А за время войны он издал всего один роман «Бюргеры» и три очень маленьких новеллы.

4. ПО ДЕРЕВНЯМ и ГОРОДАМ КИТАЙСКИМ

Сергей Далин

Окончание 1)

3. Кан-Чжоу

Наступил час, когда мы расстались с маленьким Нанканом.

1) См. «Новый Мир», № 9.

Снова поля, скалистые берега реки Кан-цзяна, деревни, волости. Здесь широко процветает рыбный промысел, и для этой цели приручены пингины, которые являются фактическими рыбо-

ловами. На четырех длинных и связанных бамбуковых стволах выплывает крестьянин. В середине он стоит сам с веслом, на одном конце корзина для пойманной рыбы, на другом конце — пингвины. Прирученный пингвин ныряет, ловит в свой перевязанный зоб рыбу и подплывает к плоту. Здесь рыба вытаскивает из зоба рыбу, а кричащий пингвин мчитя снова на охоту.

Местами встречали бурлаков, тащивших баржи против течения реки. Шли уже восьмой день, а до Кан-чжоу, где мы должны были пересечь в лодки, еще оставалось два перехода.

Не столько усталость, сколько голод давал себя чувствовать. Ели мы только при выходе в путь и на ночевках. Есть в пути в харчевнях избегали, ибо нужно было оберегаться, чтобы не заболеть в пути, а между тем в районах, по которым проходили, были неоднократные случаи холеры. От холеры погиб на фронте один из лучших китайских коммунистов, работавший в армии, товарищ Яновский, лишь только прибывший из Москвы, где он учился в коммунистическом университете трудящихся Востока. Шли и питались в пути земляными орехами, сладким картофелем и мандаринами, но иногда голод настолько давал себя чувствовать, что становилось невозможно идти дальше. Тогда летели к протопам все предосторожности, и мы вместе с кули залезали в грязные харчевни, вооружались палочками и мучились с ними над рисом и разными лепешками.

Рис здесь в деревнях употребляется самый плохой, с отрубями, и цвет отваренного риса поэтому розовый. Но крестьяне даже и такого риса не едят: они ищут рисовый отвар, в котором плавают разваренные рисовые зерна. К этому прибавляется своего улова рыба — и вот вся крестьянская трапеза. Нечего, конечно, говорить о том, что чай здесь употребляется вместо сырой воды.

На ночевку в какую-то волость пришли поздно и остановились в полицейском участке. В участке было сравнительно тепло, полицейские ухаживали за нами до того, что порой прямо становилось неудобно. Это были старье сунчуанфановские полицейские, кото-

рые жалованья вообще не получают, ибо редко когда его платят, а живут они на взятки, вымогательства и т. п. доходы.

Мы шутили по поводу редкого случая, когда за коммунистами так ухаживали полицейские, которые из кожи лезли вон, чтобы как-нибудь да угодить нам.

Полицейские таскали нам жратву, и мы добивались от них приглашения хозяина того «ресторана», откуда они тащили всевозможные обильные блюда. Хозяина мы так и не добились, а появился какой-то «мальчик из ресторана», которому мы уплатили за ужин. Мальчик дальше полицейских не ушел.

Но вот и последний переход. Мы подходили на следующий день к Кан-чжоу. Кан-чжоу — это административный центр целого района, который объединяет несколько уездов.

Административное деление китайской провинции несколько отличается от нашего деления. Объясняется это, конечно, большим количеством населения в провинциях и большим количеством довольно крупно населенных пунктов. В одном Гуандуне население составляет 30 миллионов человек, т. е. больше населения всей Англии. Первичной административной единицей является деревня, за ней волость, уезд или, вернее, полуезд (по-китайски «сьен» — город), вроде Нанкана, далее следует департамент, который объединяет несколько таких уездов (по-китайски «чжоу» — город), каким и является Кан-чжоу, к которому мы подошли, затем более крупное объединение — префектура («фу» — город), порой с подпрефектурами («тин») и, наконец, столица провинции.

Уже за десять ли от Кан-чжоу, при какой-то речной переправе, была организована массовая встреча правительства и, главным образом, русских советников (ого-кувын). На реке стояли разукрашенные джонки, которые салютовали нам канонадой пороховых кракеров. На другой стороне рядами стояли делегации общественных организаций Кан-чжоу и расположенных здесь войск. И самым отрадным было наличие здесь отряда красных пик. Это были молодые парни, одетые в черные

с перламутровыми пуговицами костюмы, с пиками, у острия которых были прикреплены красные кисти. «Красные пики» имели вид грозный и воинственный.

В сопровождении этих делегаций мы тронулись гуськом по узкой дороге в Кан-чжоу. Скоро уж была слышна приветственная музыка и рев кракеров. Здесь была самая массовая, самая восторженная встреча, включавшая даже союз нищих и слепых. Массы требовали, чтобы гости остались здесь на несколько дней. Два дня здесь были непрерывные митинги. Здесь наощупь чувствовался революционный подъем и энтузиазм.

Мы остановились в местной гостинице и здесь столкнулись с картинками из гоголевского «Ревнзора».

Местные власти, приготовившие к нашему приходу европейский обед с хлебом, которого мы давно уже не видели и который оказался сдобным, пришли во время обеда представляться. Вот зашли двое, пустившие в нас зарядом улыбок и протянувшие каждому из нас свои визитные карточки. Это были плоть от плоти Добчинский и Бобчинский, к которым приехал ревизор. Властвовали они здесь и при Сун Чуанфане, а сейчас пришли к нам с огромными красными бантами. Один был высокий, худой. Другой — маленький, толстый.

Прислуживали за столом снова полицейские, и когда какой-нибудь полицейский, никогда не бывший в такой роли, неуклюже разливал тарелку с супом, Бобчинский и Добчинский, тесно друг к другу прижавшись, новым зарядом улыбок извинялись и одновременно, чтобы не было заметно нашему глазу, тумачили кулаком или ногой провинившегося полицейского.

По городу были расклеены и распространялись специальные летучки в честь Бородина (Бао-кув'ин) и русских советников. Подобные листовки, именно в честь русских, выпущенные гоминдановскими и рабочими организациями, распространялись в каждом городке. Мы поражились, что о Баокувыне знали не только в городках, но чуть ли не во всех деревнях Гуандуна, Цзянси, Хубея и Хунани. Боро-

дин превратился в китайскую фигуру, популярную среди самых широких масс.

Здесь, в Кан-чжоу, его рвали на части, вызывали на митинги. На одном из таких митингов, кажется специально солдатском, на котором присутствовали и другие члены правительства и ЦК гоминдана, и который происходил в одном из стариннейших в Китае парков, командир дивизии рассказал легенду про одно старое дерево, разбросившее в парке свои огромные ветви.

Дерево это — единственный в Китае представитель исчезнувшей породы. По преданию, оно стоит здесь много сотен лет и славится по всему Китаю своим редким, но ослепительным цветением.

Однажды какой-то богдыхан решил посетить Кан-чжоу со специальной целью посмотреть чарующие цветы этого дерева. Он прибыл сюда и, пока он здесь восторгался деревом, в столице произошел переворот и богдыхан лишился престола.

Командир рассказывал эту легенду без всякой задней мысли, но один из министров сделал немедленный вывод: если хочешь властвовать — не покидай столицу.

Мысли всех присутствующих унеслись в оставленный Кантон, и на лицах министров заиграли тени беспокойства.

Вещая легенда: дело это было в конце ноября, а в декабре правительство потеряло Кантон в результате внутреннего переворота.

Кан-чжоу — довольно большой торговый городок. Он в несколько раз больше Нанкана, и когда идешь по его улицам, то создается впечатление, что это городок сплошных лавок и ремесленников. Все же за последнее время и здесь все пошло под Европу. Выросла целая улица с европейскими трехэтажными домами, где помещаются крупные магазины и рестораны. Вообще кирпич, цемент и бетон здесь в моде. Здесь не трудно узнать, где спрятаны богатства, где живет буржуазия по выстроенным, правда, в полукитайском стиле, крепким, бетоном облитым одноэтажным палатам, спрятанным за такими же крепкими воротами. Здесь имеются крупные банкиры-ростовщики, перед которыми пресмыкаются местные вла-

сти. В Кан-чжоу имеется не более и не менее, как 1.400 торгово-промышленных предприятий. В магазинах кан-чжоуских найдете уже не поддельные, а действительно иностранные товары; здесь есть специальные аптеки иностранных лекарств, здесь много вывесок на английском языке, хотя, если иностранец заглянет сюда раз в три года, то это уже большое событие в городе. Вывеска на иностранном языке является здесь символом солидности фирмы, равно как устраивать друг другу банкеты с иностранными блюдами, тарелками, ножами, вилками и ложками стало здесь признаком хорошего тона, и эту роскошь допускают себе только люди богатые и чиновники. Раз появилась в городе такая потребность, то появился огромный трехэтажный, только что выстроенный ресторан с иностранной кухней. Любовь к иностранному товару, иностранной кухне, иностранным манерам проникла в купеческо-чиновничью среду даже таких городков, как Кан-чжоу.

Здесь мы поняли природу наклонностей Чан Кай-ши и других министров. Чан Кай-ши по-английски не говорит, был лишь несколько месяцев в Европе и как раз в той ее части, где «все наобороте», он был в 1923 году в Москве. Чан Кай-ши был и сейчас пытается играть в революционного националиста, и этот Чан Кай-ши тяготеет к китайским обычаям и явно предпочитает европейский дом и английский стол.

Кан-чжоу является городом не только торговым, но и кустарной промышленности. Мы лазили по этим кустарным мастерским и разевали рты от удивления перед способами производства. Вот, например, текстильное производство. Такие мастерские ничем особенным не выделяются. Станки деревянные и напоминают наши в деревне, во всяком случае мало от них отличаются. Тканье идет в особые красивые мастерские. Способ окраски здесь дотошный. Примитивные глиняные чаны, натуральное индиго, посредством которого по особому китайскому способу окрашивают ткань в синий цвет. Имеются здесь и иностранные краски различных цветов. Краше-

ная ткань подвергается потом полированию, наводится глянец. И эта процедура заставляла нас изумляться. В помещении, куда свет проникает только через дверь, в земляной пол вкопан большой прямоугольный камень с овальной выемкой, поверхность которой тщательно отполирована. Над ним па трапедии, при помощи каната, висит такой же огромный камень, овалом выпуклый соответственно выемке в нижнем камне. Крашеная ткань наматывается на крепкую круглую палку и кладется в выемку. Верхний камень опускается на эту катушку ткани. Молодой парень становится ногами на оба конца верхнего камня и, держась руками за столбы трапедии, начинает попеременными движениями ног раскачивать камень. Камень, лежащий на катушке, плавно передвигается из стороны в сторону, а катушка ткани полируется таким образом обоими полированными камнями. Катанье ногами камня представляет собой адский труд, а между тем рабочий этот работает 11—12 часов в сутки.

Характер и степень развития промыслов в Кан-чжоу можно опять-таки определить по рабочему движению. Здесь за два месяца, которые прошли с момента занятия городка национально-революционной армией, организовалось уже 13 рабочих союзов. Рабочие других профессий находились в стадии организации. К декабрю 1926 года были организованы следующие рабочие союзы:

ткачей	820	чел.
парикмахеров	200	"
портных	902	"
сапожников	200	"
строительных рабочих	500	"
чулочников	200	"
табачников	230	"
рисочистильщиков	600	"
плотников	600	"
лодочников	1.000	"
приказчиков табачных лавок	190	"
рабочих пороховых хлопущек	190	"
зонточников	30	"

Таким образом, в декабре рабочие союзы уже объединяли около 5.600 рабочих, но эта цифра является лишь частью общего количества рабочих в

Кан-чжоу, которое исчисляется вместе с кули не менее, чем в 10.000 человек.

В рабочие союзы входят, как и в Нанкане, хозяева, и, несмотря на это, союзы провели уже целый ряд забастовок, в результате которых рабочий день был ограничен 11—12 часами, а заработная плата поднялась в среднем до 15—20 центов в день.

Гоминдановская организация во всем уезде насчитывала 400 членов, из которых 300 находились в городе. Городская организация состоит, главным образом, из учащихся средних школ. В организации их 150 человек, далее идут торговые служащие — 30 человек, затем чиновники, вступившие в организацию по принуждению, в том числе 4 дженгри. Рабочих в организации только 3 человека. В комитете нам сообщили, что в последнее время наблюдается приток членов, записывающихся в организацию в целях получения чиновничьих мест. Организационный комитет партии (выборного комитета в наше время еще не было) состоял из 7 человек, из которых 4 чиновника, 1 дженгри и 2 адвоката. Председателем бюро состоял директор канчжоуского торгово-промышленного комитета.

Характерно, что купечество группировалось здесь вокруг правой, фашистской организации, издающей здесь ежедневную газету «Кан-Нан Син бо», с тиражем 800 экземпляров. Редактором этой газеты является учитель местной педагогической школы. Газета вела пропаганду против СССР, утверждала, что только первый принцип Сун Ят-сена (национализм) правилен, вела травлю союза учащихся, как красного. Редактор был связан с исключенными правыми гоминдановцами в Шанхае, от которых получал статьи для своей газеты, временно закрытой в день нашего прихода в Кан-чжоу.

С этой группой тесно связаны несколько членов организационного комитета гоминдана.

Во всем уезде в наше время имелось только 9 коммунистов, трое из них были местными рабочими, остальные прибыли из центра для работы. Это очень активная группа, которая продельывает здесь большую работу, в особенности в области печатной пропаганды.

Начальник уезда здесь новый, назначенный командованием национально-революционной армии. Нам дали такую его характеристику: к гоминдановской работе относится безразлично, но не мешает вести работу. Всюду на местах власть осталась старая и по-прежнему в городе процветают опиумокурильни, игорные и публичные дома, находящиеся в руках местных дженгри.

Мы уходили из Кан-чжоу под впечатлением рабочего митинга, устроенного местной организацией компартии. Митинг состоялся в храме Будды поздно вечером, когда все лавки в городе были уже закрыты. Большой храм был набит до отказа. На стене висели красные знамена с пролетарскими лозунгами. Тусклый свет керосиновых ламп едва освещал лица рабочих. Здесь были пожилые рабочие, но в первых рядах сидела молодежь, ученики.

Рабочие пришли сюда прямо с работы, в рабочих костюмах. Лица были усталые, угрюмые и недоверчивые.

Выступал с докладом приехавший с нами старый китайский коммунист, но интеллигент и по-европейски одетый. Носил он, кажется, даже русские сапоги, которые вызывали у впереди сидящих, вечно босых ребят, большое любопытство.

Когда он выступил, рабочие насторожились и отнеслись к нему весьма недоверчиво, насупили брови, — одним словом, «не наш человек».

Докладчик оказался блестящим агитатором, втягивавшим аудиторию в реплики. Начались первые возгласы: «хоу-хоу» (хорошо, хорошо), и постепенно лица рабочих стали проясняться. Докладчик кончил доклад, сопровождаемый бурей аплодисментов и возгласами «хоу-хоу».

Это был другой мир. Здесь не было этих надоевших слащавых улыбок и поклонов, этой торговли у каждой двери по вопросу о том, кому первому пройти, не было лицемерных речей о верности принципам Коммунистического Интернационала с одновременным присматриванием и выноживанием — нельзя ли купить подешевле виллу в Кулине.

Здесь было сперва недоверие, и в этом недоверии была большая сила,

прорвавшаяся потом в этих возгласах «хсу-хоу».

Это был Китай завтрашнего дня.

В Кан-чжоу кончился наш пешеходный путь. Мы пересаживались здесь в лодки. Позади были десять дней перехода по Гуандуню и южной части Цзянси. Сейчас поняли мы одну из причин, почему иностранному империализму не удалось превратить Китай в полную колонию.

Спасли от этого Китай и его пути-дороги. Десять дней мы шли гуськом по узким тропинкам, которые являлись великим путем из Кантона в Цзянси. Тропинки были настолько узки, что идти вдвоем рядом нельзя было. По обеим сторонам тропинок лежали залитые водой болотистые рисовые поля. Когда дорога уходила в горы, то она представляла собой высеченные в камнях уступы. Мостов через реки не было, переправляться нужно было на лодках. Через речки был положен по зыбким подпоркам ряд тонких жердей. При нашем переходе по этим перекладинам дело редко кончалось благополучно. Один раз кто-то упал в воду вместе со следовавшим с нами пони. Завоевать такой Китай, такую огромную страну иностранный империализм не мог. Узкие тропинки не позволяют действовать большими войсковыми соединениями, что лежит в основе европейской военной тактики. Сила войскового соединения расплывается здесь на жидкие цепи солдат, следующих друг за другом гуськом, что дает возможность перебить легко целые армии. Никакую, даже легкую, артиллерию здесь не протацишь, никакого фронта здесь не развернешь.

Здесь возможна только партизанская война, которую иностранные империалистические армии вести никогда не смогут. Поэтому интервенция в Китае ограничивается с севера Манчжурией с Пекином, с центра — долиной реки Янгце, от Шанхая до Ханькоу, и с юга — только Кантоном. Слабое место интервенции заключается в том, что, не имея возможности действовать в глубине страны, при затянувшихся условиях она неизбежно превращается в самоблокаду. Вот почему иностранная интервенция в Китае возможна в

ограниченных пределах, за которыми иностранному империализму приходится использовать армии китайских милитаристов. Вот почему интервенция в Китае будет носить всегда, главным образом, скрытый характер, ибо она будет прятаться за спинами китайских реакционных милитаристов. Интервенция страшна для крупных городов, опасна для рабочего класса.

Если невозможность покорить Китай стоит в связи с необходимостью вести партизанскую войну, какой был фактически и кантонский северный поход, если в этом ахиллесова пята интервенции, да и не только интервенции, но и реакционных армий, то, с другой стороны, это козырь в руках китайского крестьянства. Всякая армия, которая будет действовать против восставшего крестьянства, будет потоплена в этом крестьянском океане, ибо при партизанской гражданской войне все преимущества на стороне крестьянства, которое и сыграло решающую роль в победе кантонцев.

Дороги китайские спасли Китай от полного порабощения иностранным империализмом, они спасут и китайскую рабоче-крестьянскую революцию.

4 На лодках в Нанчан

В Кан-чжоу кончились утомительные переходы по китайским тропинкам, и мы сели в лодки, чтобы по реке Кан-цзян плыть до самого Нанчана.

Собственно говоря, это были не лодки, а маленькие джонки, которые выполняют в Китае функции торгового флота. Все джонки приспособлены для перевозки товаров. Наши маленькие джонки могли брать 10—15 тонн груза. Они имеют для этого очень вместительные трюмы, крытые досками, на которых мы расставили свои походные постели. В каждой джонке или, как они здесь называются по-английски, боте мы легко поставили по 5—6 походных коек и, несмотря на это, было довольно просторно. В середине лодки стояла кирпичная печь, на которой мы стряпали с помощью 12-летнего, бесплатно работавшего здесь за стол, «ученика», выполнявшего также и функции повара для команды. Вот был хорошо защищен от дождя круглой крышей из пле-

теных бамбуковых мат. Отодвигая мату сверху, мы получали окно, снизу—дверь.

Хозяин бота, бывший одновременно капитаном и рулевым, жил здесь постоянно в трюме высокой, выше крыши изогнутой кормы со своей семьей: женой и 5-летним сынишкой. Шесть человек рабочих-гребцов, по три человека на каждое, по винтовому принципу построенное, китайское огромное весло, да упомянутый поваренок составляли команду бота.

Это была маленькая джонка, но Китай имеет огромный флот больших джонок, вмещающих иногда по 400—500 тонн и выходящих в побережное морское плаванье. Во Владивостоке в порту можно увидеть целый флот таких джонок, приходящих сюда из Кореи за солью.

Из Кан-чжоу до Цзянси, расположенных друг от друга на расстоянии 150 километров, мы плыли пять суток. Ветер был все время встречный, и поэтому невозможно было развернуть паруса. Шли по течению при помощи только весел. Ночью бросали якорь и стояли где-нибудь по середине реки, ибо и днем нередко садились на мель. Вода в это время была малая. Летом она здесь настолько многоводная, что в Кан-чжоу заходят маленькие пароходики из Цзиани.

После тяжелых переходов мы чувствовали себя в этих ботах, точно в комфортабельных квартирах. Было тепло и уютно, а главное—можно было писать и читать, приводить в порядок путевые записки. В последнем отношении нам много помог ехавший с нами нанканский коммунист, работавший исключительно в деревнях.

Это был молодой парень, который был похож на любого даже левого гоминдановца, как огонь на воду. Китайские коммунисты резко выделяются из окружающей среды даже по своему внешнему виду, не говоря о манерах и обычаях, которые были плоть от плоти нашими. Это был родной человек не только по убеждениям, но по всему духу его. Узелок вещей, пачка книжек. Так странствует он из деревни в деревню, агитируя, пропагандируя, организуя крестьянские союзы, руководя их

работой. Он ехал сейчас в Цзианский уезд, куда его перебрасывала организация. Из Нанкана он двинулся пешком, и по просьбе коммунистов в Кан-чжоу мы с удовольствием взяли его к себе в бот.

Товарищ этот впервые в жизни своей видел русских коммунистов и немедленно взялся практически изучать русские слова.

Серьезный парень, он резко выделялся по манерам своим из той гоминдановской среды, к которой мы уже достаточно привыкли и с которой освоились. Никаких поклонов, никаких этих обычных улыбок,—деловитость. И такие они все—китайские коммунисты. Когда мы приходили в гоминдановские организации и комитеты, не много надо было вглядываться в общий облик и манеры присутствовавших, чтобы безошибочно определить, кто из них коммунист, кто левый гоминдановец, кто правый. В нелегальной работе, какую ведут коммунисты, и на территории, занятой национально-революционной армией, общий вид и манеры—это беда коммунистов. Их можно узнать на улице. И недаром ЦК коммунистической партии предписал членам партии воздерживаться от манер и внешнего вида московских комсомольцев, а держаться на людях общепринятых в Китае обычаев для того, чтобы предохранить себя от провалов.

Беседуя с ехавшим с нами товарищем, который являлся низовым провинциальным и к тому еще деревенским работником, мы получили представление о лице китайской коммунистической партии. Не будет преувеличением сказать, что по материалу, из которого сложена китайская компартия, Коммунистический Интернационал имеет в Китае одну из своих самых лучших секций. Это люди исключительной самоотверженности и аскетизма, исключительной кристальной чистоты и исключительной преданности делу китайского пролетариата. Коммунисты всех стран могут гордиться своим китайским отрядом.

Не помню, на второй или третий день нашего речного путешествия мы приближались к маленькому уездному городку вроде Нанкана,—Валан-сьену.

Вот вдали, на самом высоком месте гористого берега, показалась пагода — признак того, что мы под'езжаем к городу.

Вот уже показались стены Ванана. Приблизившись к ним, мы увидели большую надпись огромными черными иероглифами на только-что выкрашенной мелом части стены. Надпись гласила:

«Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории земли крупнейшими капиталистическими странами. Ленин».

В городе по поводу нашего приезда состоялся огромный пламенный митинг, который закончился пением «Интернационала» и «Молодой гвардии» на китайском языке.

Это было не в Шанхае и не в Ханькоу; это было далеко от Шанхая и Хайкоу, это было в Ванане, в глухой дыре, связанной с внешним миром только протекающей здесь небольшой речкой; это было в Ванане, который не обозначен на карте, в Ванане, который имеет лишь три тысячи жилищ.

Во всем уезде жителей 160 тысяч человек, главным образом крестьян. Земельные отношения здесь уже иные. Самостоятельных крестьян здесь 50 проц., полуарендаторов — 30 проц. и арендаторов только 20 проц. Полуарендаторы здесь богаче, чем самостоятельные крестьяне, которые владеют крошечными участками в среднем в 4—5 му (примерно, одна треть десятины). Полуарендатор здесь, помимо, такого своего участка, арендует еще добавочную площадь. В общем Вананский уезд — это уезд, где преобладает мелкое бедняцкое крестьянское хозяйство.

Крупных помещиков здесь нет, а помещиком здесь считается тот, кто владеет 50 му (примерно, 3—3½ десятины), т. е. тот, кто имеет в десять раз больше, чем самостоятельный крестьянин в этом уезде. В Китае помещик — понятие относительное; он определяется по сравнению со средней цифрой земли самостоятельного крестьянина и

его отношением к крестьянству. Если такой кулак, имеющий 50 му земли, сдает свою землю в аренду, он считается уже помещиком.

Арендная плата здесь ниже, чем в других местах, она здесь не выше 40 проц. урожая.

Земельный налог здесь установлен в размере 90 центов с му, т. е. примерно 20 проц. стоимости одного урожая (урожаяв здесь два в год) и, помимо этого налога, взимается целый ряд различных налогов, сумма которых неопределенна. 9 тунзеров (3—4 копейки) уплачиваются с каждого собранного дана риса на содержание минтуаней.

Сильно развито здесь ростовщичество, которым занимаются местные джентри и которые берут за заем 30 проц. в месяц.

В городе имеются 4 купеческие гильдии и 1 всеуездная. Гильдии в городе объединяют 400 купцов и торговцев. К гоминдану они относились в первое время безразлично, но потом, в связи с ростом крестьянского и рабочего движения, стали проявлять свою враждебность.

Ко времени нашего приезда в город было организовано 3 рабочих союза, объединявших 70 человек. Значительная часть рабочих еще находилась в старых гильдиях. Заработная плата вырождалась в среднем в 36 тунзеров в день (10—15 копеек, в зависимости от курса меди).

Имеются здесь школьные союзы учащихся, объединенные в уездный союз.

Гоминдановская организация объединяла здесь по всему уезду около 700 человек. Раньше это была небольшая подпольная организация, которая стала легальной с 20 августа 1926 года и за это время успела довести количество своих членов до 700 человек. Купцов в организации очень мало, менее одного процента, большинство организации — 60 проц. — состояло из учителей, учащихся и служащих; крестьян было 30 проц. и 10 проц. рабочих.

Власти здесь подрежнему старые. Начальник уезда и начальник полиции были в тех же должностях и при Сун Чуан-фане. Они даже и сейчас не были гоминдановцами и препятствовали го-

миндаповской работе. Начальник уезда здесь имеет кличку «рисовая корзина», как в Китае называется человек, который думает исключительно о своем брюхе и кармане. Во главе четырех из шести расположенных в уезде отрядов минтуань стояли еще старые джентри. В вананской деревне началось уже в то время сильное крестьянское движение. Крестьянские союзы были организованы в 72 деревнях, которые об'единяли 2.600 семей.

Основные требования крестьянских союзов, которые здесь об'единяют, главным образом, самостоятельных крестьян, заключались: 1) в установлении новой революционной власти, — требование, которое шло под лозунгом: долой джентри и минтуаней, проводящих незаконные налоги и поборы, и 2) в уменьшении ростовщического процента.

Рабочим, крестьянским и движением учащихся, а равно и самой организацией гоминдана всецело руководят здесь коммунисты и комсомольцы. В общественном и политическом движении они здесь господствуют целиком и полностью.

Руководит этим группа только в тридцать человек, которые составляют местную организацию коммунистической партии, и 20 человек комсомольцев.

Глазам и ушам своим не верили, когда мы покидали крошечный Ванан. Как глубоко пустила корни китайская революция!

29 ноября, после пятидневного путешествия, мы прибыли в Циань-фу—город.

На высокой старинной каменной набережной собрались делегации всех политических организаций со своими знаменами. Мы поднялись на набережную, узкую и выложенную каменными плитами. Здесь стояли маленькие пони и паланкипы для того, чтобы доставить нас в город на банкет.

Банкеты эти, чуть ли не в каждой волости, порядочно нам надоели и под любым предлогом мы избегали их. Но Циань—город, «фу»—и мы отправились на банкет. Чуть ли не целый час ходили мы по узким, тусклым улицам этого чуть ли не сплошного рын-

ка. Обыватели, как это всегда бывало, разглядывали нас с большим любопытством. На лицах пожилых китайцев, стоявших у дверей с раскрытым ртом и всунутым в него пальцем, было написано: «ну, не иначе, как беда».

Наконец, нас доставили в типично-китайский дворец, где состоялся банкет с шумными речами и аплодисментами. Выступали здесь все, выступали и девушки-школьницы.

Кормили нас, конечно, по-европейски, вернее, китайские блюда подавались в тарелках и вместо палочек были вилки и ножи. Некоторые блюда были приготовлены по-английски. Подавали почему-то три раза суп и два раза рыбу. Безобразно путали меню. Но чувствовалось, что тут были напряжены все силы для того, чтобы мы остались довольны, а это было главное.

Самым интересным на этом банкете были длинные плакаты-лозунги, развешанные в зале.

Характер их был необычным, ибо они были написаны в демонстративном стиле. Надписи были направлены по адресу правительства и вызвали некоторое замешательство.

Вот они.

Дух Ленина живет среди нас!

Дух Ляо Чжун-кая живет среди нас!

Отмените все незаконные и грабительские налоги!

Требуем уничтожения ликина!

Крестьяне и рабочие имеют право сопротивляться налоговому гнету!

Установите максимальную норму арендной платы на землю!

Проводите в жизнь рабочую и крестьянскую политику!

Улучшите положение рабочих и крестьян!

Народ имеет право на свободу слова, собраний и печати!

Организуйте хорошее провинциальное правительство!

Примите меры к снижению цен на товары и урегулируйте денежное обращение!

Увеличьте жалованье учителям низших школ!

В этих лозунгах, среди которых не было обычного лозунга, посвященного памяти Сун Ят-сена, чувствовались недовольство и притеснения, ибо никто

никогда не требует того, что он уже имеет. Более того, в них чувствовалась жалоба правительству на Нанчан, в котором сидел Чан Кай-ши.

И вместе с тем в этих лозунгах не трудно было усмотреть степень влияния местных коммунистов.

Национально-революционная армия пришла сюда 24 сентября 1926 года. До этого здесь господствовали джентри, находившиеся в союзе с нанчанскими милитаристами. Приход национально-революционной армии вызвал здесь необычайный подъем масс, которые заставили бежать из города двух наиболее лютых джентри Ма и Мын. Оба они держали власть во всем районе в своем кармане и неизменно грабили. Население вспоминает о них с содроганием. Уж самый факт, что не успели мы приехать, как немедленно узнали об этой паре, достаточно говорит о том, как натерпелось от них население.

Ма и Мын убежали из города к... командиру второй дивизии национально-революционной армии, который оказал им приют и защиту. Ма и Мын пишут сейчас письма в Цзиань, в которых они сообщают, что скоро возвратятся в город под охраной второй дивизии.

С тех пор, как население узнало об угрозе возвращения этой пары, затруднилась гоминдановская работа. Население боится, что Ма и Мын возвратятся и расправятся с той частью населения, которая проявила себя революционно.

Члены местного комитета гоминдана просили нас передать это правительству с тем, чтобы предотвратить возвращение обоих джентри. При отъезде они снова подали в письменной форме петицию правительству по этому же вопросу.

В Цзиани мы еще раз убедились в том, что, где гоминдан проявляет себя, как действительно революционная организация, там он не имеет никакой власти, которая обычно принадлежит или старым чиновникам или сомнительным элементам, назначенным обыкновенно командованием национально-революционной армии. В Цзиани, например, ни один член комитета гоминдановской организации не занимает административных должностей.

Там же, где гоминдановские комитеты держали власть в своих руках, эти комитеты и сама организация представляли собою сборище перекарсившихся старых джентри и других негодяев, ничего общего с партийными принципами гоминдана не имеющих, и, наоборот, этих первых врагов гоминдана и китайской революции.

Приход национально-революционной армии, изгнание Ма и Мын дали возможность местным коммунистам развить гоминдановскую работу. Именно это делали здесь местные коммунисты, которые фактически и создали здесь гоминдановскую организацию. К декабрю уездная организация гоминдана насчитывала уже 1.200 членов, из которых 700 составляли цзианскую городскую организацию. Основной элемент, входящий в эту городскую организацию, это — учащиеся местных школ. За последнее же время наблюдался приток в партию местных джентри. В гоминдане имеется здесь также около 100 рабочих.

Город разбит на районы, которые имеют свои гоминдановские организации. Районных собраний партии никогда не бывает, но бывают подрайонные собрания раз в неделю, которые посвящаются памяти Сун Ят-сена, но на которых никогда не обсуждаются практические вопросы революционного строительства.

Агитационно-пропагандистская работа находилась в руках коммунистов. Коммунистическая организация существует здесь уже около двух лет и в данное время насчитывает 170 членов во всем уезде, и, кроме того, комсомол имеет здесь более 200 членов. Большинство членов компартии (около 80 проц.) состоит из рабочих; комсомольская же организация, наоборот, состоит, главным образом, из учащейся молодежи и только 20 проц. ее являются рабочей молодежью. Малое количество рабочей молодежи в комсомольских организациях уездных городов объясняется неслыханной эксплуатацией кустарно-ремесленных учеников, которые находятся целиком и полностью в лапах своих хозяев.

Во всей комсомольской организации здесь имеется только одна девушка, в компартии же — ни одной.

Компартия, работая в нелегальных условиях, всегда выступала здесь не от своего имени, а от имени гоминдана. Так что население совершенно не знало, имеются ли в их городе коммунисты или нет. Первое выступление коммунистов и комсомольцев от имени своей партии было в день нашего приезда, когда, наряду с гоминданом, компартия и комсомол обратились со своим особым воззванием по поводу приезда правительства и русских советников.

Основная база коммунистической организации здесь — это рабочие. Рабочих здесь имеется около 10.000 человек. Это исключительно ремесленный пролетариат. В городе всего лишь 6 индустриальных рабочих. Эти рабочие местной электрической станции, которые получают 50 центов в день, являются здесь рабочей аристократией и знать не хотят никаких рабочих союзов.

Рабочие здесь получают в среднем от 10 до 18 центов в день, ученики старших возрастов — 5 долларов в год, младших возрастов — ничего не получают, кроме скудного стола от хозяев. Рабочий день продолжается с 6 часов утра до 10 часов вечера, с короткими перерывами для принятия пищи.

События 30 мая 1925 года в Шанхае отозвались и здесь. Начали создаваться под руководством компартии тайные рабочие союзы, которые просуществовали нелегально до прихода национально-революционной армии. Этим нелегальным рабочим союзам удалось провести в июне и июле 1926 года, т.е. еще в сунчванфановские времена, ряд забастовок. Это было первым открытым выступлением цзианских рабочих.

После занятия города национально-революционной армией начался стихийный рост рабочих союзов. К декабрю здесь было уже 24 рабочих союза, объединявших 4 300 рабочих.

Кроме того, удалось организовать союз торговых служащих и мелких торговцев, который объединил 2.000 человек.

Рабочие союзы здесь объединяют, как и всюду, также и хозяйчиков, но здесь принимают, как нам объяснили, только «хороших» хозяев.

Рабочие союзы успели уже организовать свои вооруженные пикеты, насчитывающие около 500 человек. Их официальное название было: «рабочие отряды для борьбы с бандитизмом».

Началось здесь и женское движение. Женский союз, который объединил здесь только 20 учениц местной средней школы, пока еще очень слаб. Жаловались нам на отсутствие руководителей женского движения.

Сильно развивается в деревне крестьянское движение. Как и в Ванане, 80—90 проц. всего крестьянства в районе—это самостоятельные крестьяне и полуарендаторы. Исключительно арендаторов здесь очень мало. Самостоятельный крестьянин владеет участком в среднем в 4—5 му. Есть здесь и капиталистические помещичьи хозяйства, земля которых обрабатывается с помощью батраков. Большинство крупных землевладельцев являются городскими купцами и сдают свою землю в аренду крестьянам. Арендная плата выражается здесь в размере 50 проц. урожая.

Сильно развито здесь ростовщичество. За займы платят от 20 до 30 проц. в месяц. Ростовщики проделывают с крестьянами еще следующие фокусы. Одалживая крестьянам под такие неслышанно высокие проценты деньги, ростовщики требуют уплаты займа и процентов наугурой по осенним ценам, т.е., примерно, по 4 доллара за дан. Крестьянин платит в результате рисом, когда цена на него стоит 7 долларов за дан. Получается такая картина: крестьянин одалживает у ростовщика, например, 10 долларов сроком на три месяца. Вместе с процентами крестьянин должен уплатить через три месяца 16 долларов, что составляет по осенним ценам 4 дана риса. Ростовщик же продает этот рис весной, когда цена на рис стоит 7 долларов за дан и получает, таким образом, 28 долларов, т.е. заем фактически предоставляется крестьянину из 180 проц., или 60 проц. в месяц.

Крестьянское движение здесь началось еще в феврале. Под руководством коммунистов создавались нелегальные крестьянские союзы, которые сыграли значительную роль в изгнании армии

Сун Чуан-фана. К декабрю крестьянское движение уже носило легальный характер. Было уже организовано 60 крестьянских союзов, которые объединили 5.000 семей. Крестьянские союзы создали свои отряды крестьянской самообороны, которые приступили к разоружению минтуаней, руководимых джентри. В деревне началась гражданская война.

5. Из Нанчана к Янгце

В Цзиани два пароходика взяли наши боты на буксир, и через день мы были уже в Нанчане — столице провинции Цзянси, где находился в то время штаб Чан Кай-ши.

Штаб находился во дворце бывшего дубаня провинции, дворец, который представлял собой целый ряд двориков, образуемых одноэтажными, но довольно высокими, каменными палатами. Внутри этого дворца было бесконечное количество аквариумов, садиков, цветников — одним словом, дворец характеризовал сущность дубаньского управления провинции в том смысле, что здесь мало думается об управлении провинцией, об ее нуждах, но больше — о личном комфорте дубаня.

По сравнению с Нанчаном Кантон — европейский город. Рука европейской цивилизации еще не тронула Нанчана. Лишь один «гранд-отель де Цзянси» только по внешней архитектуре единственное здание в европейском стиле. Маленький Кан-чжоу более европеизирован, чем Нанчан.

Нанчан — это огромный Нанкан. Каким он был по внешнему виду, вероятно, лет двести тому назад, таким он остался и теперь. Штаб цзянсиской бюрократии, центр цзянсиской торговли и кустарной промышленности — таков Нанчан.

Единственная достопримечательность этого города заключается в том, что он — центр торговли знаменитыми не только в Китае, но и за пределами его фарфоровыми изделиями.

Внешне Нанчан не изменился, но, как центр фарфора, он уже втянут в орбиту иностранного империализма и влияния. Иностранное влияние здесь прорвалось, прежде всего, через фарфор.

В Нанчане мы решили пойти в баню. После долгого путешествия это было более чем необходимо. Поехали. Обехали все нанчанские баннные заведения, но они оказались закрытыми. На наши вопросы нам давали короткие ответы, в которых сквозило явное недовольство: «закрыты из-за отсутствия в городе мелких денег». Пробовали купить кое-что в Нанчане, но целый ряд лавок был закрыт уже «из-за отсутствия хороших денег».

Одним словом, выяснили, что разместившийся здесь штаб Чан Кай-ши завел себе типографию и безбожно печатает бумажные деньги с печатью штаба. Деньги эти типично «военные», т.е. абсолютно ничем не гарантированные. Единственной гарантией являются военные штыки.

Таким путем выкачивалась реальная валюта, главным образом, мелкое серебро. Население ответило на это бойкотом этих военных денег. Лавки стали закрываться. Кончилась эта история тем, что нанчанские купцы объявили всеобщую забастовку, т.е. закрыли абсолютно все лавки, организовали огромную демонстрацию протеста и подняли волнение в городе.

Купцы потребовали, прежде всего, признания новыми революционными властями займов, выпущенных прежними правительствами, т.е. прежними милитаристами, на сумму в сорок миллионов долларов, т.е. оплаты всех налогов и т.п. облигациями этих займов или выпускаемыми под гарантию этих займов бумажными деньгами прежних правительств.

Примерно 5—7 декабря по приказу Чан Кай-ши было созвано экстренное совещание, которое приняло решение: 1) признать прежние займы и допустить к обращению, главным образом, бумажные деньги прежних правительств; 2) приказать купцам открыть все лавки 7 декабря и, в случае неподчинения, подавить купцов вооруженной силой; 3) предложить торговой палате и всем гильдиям густить в обращение спрятанную ими медь; 4) привести в порядок лопнувший цзянсиский банк.

Одним словом, купцы победили: займы, сделанные Сун Чуан-фаном для борьбы с национально-революционной

армией, теперь оплачивал никто иной, как Чан Кай-ши.

В Нанчане должно было состояться военно-политическое совещание прибывших членов правительства и ЦК гоминдана под председательством Чан Кай-ши. С точки зрения Чан Кай-ши и его штаба, обстановка в Нанчане была неблагоприятной для такого совещания: наличие революционных масс и надвигающийся бунт купцов заставили Чан Кай-ши перенести совещание в Кулин.

В спешном порядке все двинулись в Цзюцзян, чтобы оттуда подняться в Кулин.

Между Нанчаном и Цзюцзяном лежит железная дорога, построенная и находящаяся в руках японского капитала.

В спешном порядке все двинулись на вокзал. Нужно было по плоту перейти реку и оттуда версты три идти по пескам до вокзала.

Вот мы уже в пути. Следы только что кончившихся боев явственно видны. Железнодорожные станции разрушены артиллерийским огнем, всюду видны воронки снарядных взрывов, а местами лежат еще не убранные трупы убитых солдат.

Поезд остановился на полуразрушенной станции. Это был маленький городок («сьен») Тэй-ан. Поезд стоял здесь около 15 минут. На вокзал пришли местные рабочие, главным образом, железнодорожники, со знаменами и отпечатанными на камне листовками. Мы разговорились с рабочими, которые имели страшно голодный, оборванный и изнуренный вид.

Они жаловались. Железнодорожники в продолжение трех месяцев, под руководством своего нелегального рабочего союза, делали все, чтобы помешать передвижению припасов и войск Сун Чуан-фана. Несколько раз за это время бастовали. Три месяца Сун Чуан-фан не платил жалованья рабочим. Пришла с помощью рабочих национально-революционная армия. Снова жалованья вот уже около месяца рабочие не получали. Легализировавшийся с приходом национально-революционной армии рабочий союз железнодорожников отправил делегацию к Чан Кай-ши с просьбой уплатить рабочим также и за три

месяца, неоплаченные Сун Чуан-фаном. Чан Кай-ши ответил им, что он долги Сун Чуан-фана не оплачивает, обещал уплатить за время прихода национально-революционной армии, но еще до сих пор рабочим не уплатили.

— Жилища наши разрушены. Вот, смотрите.

И действительно, со станции был виден разрушенный артиллерией Тэй-ан.

— Четыре месяца мы сидим в голоде и холоде. Дети наши умирают. Передайте правительству, просите помочь нам.

Это был жуткий крик о помощи. Чан Кай-ши сидел в вагоне и не выходил. Рабочие продолжали свой рассказ. Чан Кай-ши, в виду настойчивых требований союза железнодорожников, объявил рабочий союз сунчуанфановским, приказал распустить его и предложил рабочему отделу гоминдана создать новый союз железнодорожников. Старый союз отказался ликвидировать себя, он продолжал существовать, но, наряду с ним, главным образом не из рабочих, а из служащих, появился созданный по приказу Чан Кай-ши другой союз железнодорожников.

Перед нами стояли рабочие, которые составляли местную организацию гоминдана. И эти гоминдановцы протестовали против создания гоминданом нового союза железнодорожников.

Они вручили членам правительства и ЦК гоминдана две декларации. Одна — приветствовавшая СССР; другая — требовавшая возвращения Ван Тин-вея, которая гласила:

«Товарищу Ван Тин-вею — через ЦК гоминдана.

В настоящее время, когда революционная волна подымается все выше и выше и силы революции укрепляются, работа становится более сложной и обязанности более тяжелыми. Поэтому ощущается огромная нужда в товарище, который руководил бы партийной и государственной работой. Все товарищи единодушно стремятся выполнить заветы Сун Ят-сена.

Вы являетесь старым ветераном нашей партии и вождем народа. И действительно, вы не менее, чем другие (относится к Чан Кай-ши. С. Д.) любите страну и партию. Мы искренно наде-

емся, что вы немедленно возвратитесь и пойдете навстречу искренним надеждам и честным стремлениям товарищей и народа всей страны. С большой искренностью и уважением Тэйанская организация гоминдана.

Требования возвращения Ван Тин-вея приняли стихийный характер. Резолюции об этом выносились абсолютно на всех митингах: в горюдах и деревнях. И политический смысл этих резолюций заключался в том, что они были направлены против Чан Кай-ши, против режима 20 марта. Мы привели одну из этих резолюций, как наиболее характерную, наиболее откровенную и наиболее низовую.

Поезд тронулся. Некоторые члены правительства держали в руках декларации тэйанских рабочих. Чан Кай-ши, который платил сунчунфановские долги контрреволюционной буржуазии, но не платил революционным рабочим, забился в угол и, как побитая собака, сидел там, поджавши хвост.

Вот и Цзюцзян. На вокзальной площади собрались цзюцзянские рабочие, главным образом, железнодорожники. Импровизованная трибуна и митинг. Выступил Бородин. Взрывы оваций. Летят вверх шапки. Мощные восторженные крики во время речи. Это был неслышанный взрыв революционного энтузиазма. Мы стояли, как очарованные. Таких разрядов революции мы еще не видели. Как опьяненный, сошел с трибуны Бородин, который растерянно разводил руками и говорил: «да это же настоящая революция».

На следующий день стали подниматься на Кулинские горы.

До иностранного нашествия Кулин был известен, как «святое» место. Здесь находится знаменитый буддийский монастырь. Иностранные миссионеры пролезли сюда, и так это место стало известно иностранцам. Какой-то англичанин Литтль ухитрился когда-то путем взяток скупить почти все горные вершины Кулина за 400 долларов. Купив, он построил здесь сторожку и вывесил английский флаг. Когда китайцы увидели на своих «святых местах» английский флаг, они, возмущен-

ные, разрушили сторожку Литтля. Дальше, как полагается: нота пекинскому правительству по поводу оскорбления английского флага, требование возмещения и правительственного оформления договора с Литтлем. Одним словом, за свою грошевую сторожку Литтль получил оформленный пекинским правительством договор и концессию в 4.000 долларов.

Литтль стал царьком здешних мест. Курорт стал расти, а Литтль стал миллионером.

Сейчас мистер Литтль является вождем фашистской «Лиги борьбы с III Интернационалом» в Китае. За спиной этой организации стоит английский Гонг-Конг-Шанхайский банк. Организация ведет большую пропаганду на китайском языке и издает в Шанхае антисемитский журнальчик на английском языке «Конституционалист», который перепечатывает из московских газет даже письма Коммунистического Интернационала Молодежи, сопровождаемые злобными до слюны ругательствами.

8 декабря 1926 года, по окончании кулинского военно-политического совещания, мы спустились снова в Цзюцзян.

Цзюцзян — открытый для иностранной торговли внутренний порт. Река Янгце здесь доступна для больших морских пароходов. Тут имеется небольшая иностранная концессия, которая представляет собой два ряда домов вдоль набережной... Иностранное консульство и представительства импортно-экспортных иностранных фирм населяют эту крошечную концессию, вокруг которой вырос довольно большой китайский Цзюцзян с богатыми компрадорами, на дочери одного из которых женился недавно министр финансов Т. В. Сунг.

Иностранная концессия была окружена проволочными заграждениями и баррикадами, сложенными из мешков с землей. В порту стояло несколько английских, американских и японских канонерок.

Из Цзюцзяна мы отправились в новую революционную столицу—Ухан.

Книжное обозрение

I. Петр ОРЕШИН, „Людишки“. Д. Горбова.—II. Сергей СЕМЕНОВ. „Наталья Гарпова“. С. Пакентрейгера.—III. Яков КОРОБОВ. „Петушиное слово“. А. Шафир.—IV. Вит. ФЕДОРОВИЧ. „Спор с господином“. Г. Якубовского.—V. Александр ЖАРОВ. „Рост“. Мих. Рудермана.—VI. Артур ГОЛИЧЕР. „Мятежный Китай“. С. Алымова.

Петр Орешин.—«Людишки». Повесть. Гиз. 1927. Стр. 214.

Проза П. Орешина довольно резко отличается от его стихов. Лирика этого поэта уныла, печальна. В самых буйных ее напевах явственно звучит непреодоленный романтизм самодовлеющего чувства, которому подчас тесно в земных берегах. Печаль русской народной песни, сложенной нашим крестьянством в феодальный период его жизни, допеваётся в стихах П. Орешина, звучит там явственным, хотя и надтреснутым звуком.

Надтреснутым потому, что Орешин живет не одним прошлым, не может жить им одним, как бы ни был велик груз прошлого над его творческим миром. Поэт шагнул в современность и стоит в ней подчас не только «одной ногой».

В этом—смысл тяготения поэта к прозе. Проза для Орешина—не случайный вид творчества. С каждой новой прозаической книжкой Орешина становится все ясней, что это—органическая форма его самовыражения, настолько органическая, что, не зная его прозы, мы не в состоянии составить себе полного представления об этом поэте.

За последние годы Орешин все охотней замыкает лирический разлив чувств в точные, отрезвляющие фор-

мы рассказа и повести. Все же и последняя книжка его—повесть «Людишки»—говорит о том, что с лирикой он не расстался окончательно. Орешин-рассказчик и сочинитель повестей—до крайности субъективен. Это капризный импрессионист, под видом образа дающий нам силуэт или арабеск, повесть превращающий в ряд рассказов, связанных между собой связью путаной и противоречивой.

Октябрьская революция, гражданская война и великая классовая передвижка в стране взбурлили поток общественной жизни.

Поэт входил в поток и бреднем вылавливал диковинки, поднимаемые со дна его волною. Все складывал он в свое ведро. Все было равно интересно, значительно, привлекательно для творческого внимания. Ибо за всей причудливой пестротой форм слышалось биение жизни. Импрессионистическое, влюбленное в теплоту жизни внимание ловца не могло нарадоваться этому многообразию ее проявлений; ему было не до разбора, не до анализа, не до критики. Оттого-то в книгу и попали одни силуэты, лишь слегка набросанные художником, в том виде, как они отпечатались в сознании во время улова. И Платон Сидорыч Пятаков, бывший приказчик, а после революции—спекулянт, и Степка Левша,

сперва, по несознательности, солдат белой армии, а впоследствии толковый председатель волисполкома и даже просвет-работник, и вереница других, с меньшей яркостью изображенных лиц—крестьян, ремесленников, интеллигентов—даны не выпукло, не в трех измерениях, а как бы в двух-мерном изображении на плоскости. Их нельзя ощупать глазом; пристально всматриваясь в них, мы теряем их контуры. И, лишь пассивно отдавшись их пестроты, глаз может насытиться теплотой и сочностью колорита.

Глаза Орешин насытит почти всегда (исключения редки: напр., неудачные «На льдине», «Журнальная комиссия»). Но сознание поднимается на спор с ним—нередко. Уже внешняя невязка не может пройти незамеченной: степенный, усиленно делающий приказчиью карьеру Платон Сидорыч («Революционер») в другой главе («На льдине»), оказывается, всю жизнь «пил непробудным запоем и семья голодала». Степка Левша, уже после того, как ушел от белых, занимается тем, что, спекулируя на голоде, торгует караваями, набитыми известью; это трудно помирить с последующими его выступлениями, как честного, сознательного и активного советского работника.

Здесь перед нами чисто внешняя невязка, вызванная почти намеренной небрежностью в построении вещи, как единого целого, и полусознательным намерением автора превратить ее в ряд разрозненных эскизов.

Существенней другое возражение, встающее в сознании читателя, возражение, которого не в силах заглушить ни теплота красок, ни отличный, в общем непретенциозный сказ Орешина, воспринимающийся как естественная речь автора и в то же время как необходимая речевая стихия его героев. Это возражение глубже и серьезнее. Оно заключается в том, что Орешин слишком легко—«лирически»—примиряет жизненные противоречия, как бы топя их в волнах гуманистического, нежного ко всему без разбора юмора. Наиболее яркое проявление этого—в «Бабьем бунте», где мордобой, применяемый мужиками к своим женам,

«изживается» как-то слишком быстро и безболезненно. То же миролюбие автора (результат его лирического, импрессионистического подхода к жизни)—в «Мужиках», где вера в легкую устранимость отрицательных явлений в крестьянской среде («тьма» и т. п.), не подкрепленная фактами, остается всецело на совести автора: современный читатель знает, что в жизни все это—серьезней, трудней, больнее. Здесь лирический подход к художественной задаче явно ничего не разрешает.

Усвоив это, Орешин делает еще один шаг в сторону опрозрачивания своего художественного мира. Иначе говоря, он будет на шаг ближе к художественному реализму, которого ищет не без успеха.

Д. Горбов.

Сергей Семенов.—«Наталья Тарпова». Прибой. Тираж 12.000. Стр. 283. Цена 1 руб. 60 коп.

Автор сосредоточил свое внимание на передаче новых отношений, которые отстаиваются между людьми разных категорий в атмосфере индустриальной и общественной стройки. Эти отношения переданы без всякого приукрашивания, без наивной восторженности, но и без сгущения и преувеличения.

С чувством такта и меры во всей житейской выразительности зарисованы: красный директор Алексей Иванович, образованный партиец, влюбленный в свою фабрику, районный организатор Рябьев, крепкий, целеустремленный, тактичный, обогащенный большим партийным и житейским опытом человек, инженер Габрух, независимый, твердый в своих убеждениях и делах—спец.

В лице Натальи Тарповой автор собрал черты активной, самостоятельной, дисциплинированной и вместе с тем свободной женщины, абсолютно пренебрегающей всякими условностями и лишенной всяких предрассудков как в жизни интимной, так и в жизни общественно-товарищеской. Однако автор умело подводит нас к началу системы, в которую Тарпова пытается ввести свою свободу. Создание этой

системы покупается далеко не легкой ценой.

Особо стоит фигура чудака рабочего Шпиусова—фанатика индустриализма. Он да и в несколько карикатурных чертах. Эта карикатуризация жизненного типа оправдывается двойной целью: она снижает непомерный пафос чудака-фанатика и бьет по тем индустриализаторам, которые создают часто нереальные, несбыточные планы.

Читается роман с интересом, хотя автор не всегда остается верным своему спокойному реалистическому письму. Он изменяет чувству действительности в некоторых диалогах, особенно к концу книги.

У нас за последнее время появилось немало романов и повестей, копающихся в мелких трагедиях, в психических болезнях, в застойной или хаотической психологии людей, обойденных и революцией и строительством.

Появился даже специальный термин о «лишних людях» в революции, иначе говоря, о людях без творчества, без активности, без системы рассеивающих свою энергию, не умеющих и не знающих, как и где применить свои силы, чтобы сделать самое маленькое и полезное дело для себя, для коллектива, для государства.

Роман Семенова, независимо от его художественных достоинств и недостатков, приобретает поэтому общественный интерес, ибо автор в меру сил открывает лицо новых людей творческого действия. Он также показывает, как все жизнеспособное, волевое, энергичное меняется под воздействием этих упорных, систематических людей.

С. Пакентрейгер.

Яков Коробов.—«Петушиное слово». Повесть. Гиз. 1927. Тир. 4.000. Стр. 242. Ц. 1 р. 15 к.

«Петушиное слово»—это одно из тех слов,—заговоров, которые родились и вскопали в старой деревне, с которыми, по поверью, ни в огне не сгоришь, ни в воде не утонешь, и всякое твоё желание исполнится.

Деревня наших дней, изображенная в повести Ив. Коробова, находится

еще отчасти под властью «петушиного слова». Тайнственное знание «петушиного слова» деревенская молва приписывает Женьке Бляхину—герою повести—сыну кулака-мироёда, 17-летнему парню полугосподского воспитания («Барыня-крестная собственноручно рубашки шила, в собственной ванне купала»). Женька Бляхин—деревенский Дон-Жуан. Перед взглядом его черных глаз и сладкими речами не устоит ни одна деревенская девушка. Он обмалывает 16-летнюю Глашу, пообещав на ней жениться, и отворачивается потом от нее и от ее ребенка. Глаша попадает в город, в «Дом матери и ребенка», поступает на вечерние курсы, становится комсомолкой. Тем временем, Женька Бляхин решает «остепениться». Над ним учреждает шефство комсомольская ячейка. Он начинает приглядываться к работе ячейки, и деревенский комсомол уже видит в нем будущего своего активиста. Арест отца, который отдан под суд за присвоение крестьянского леса и взятку, заставляет его еще серьезнее задуматься о том, что «середки нет... и надо какой-нибудь одной стороны держаться». Повесть заканчивается его покаянными словами: «все, что прошло, это по глупостям». Он «расписывается» с Глашей, которая продолжает его любить, и остается работать в деревне.

Автор, уверенный в свежих силах деревни, подводит читателя к неизбежной победе нового молодого начала. Отдельные фигуры (Женька, Симочка—поповская дочка, сплетница Стифевна и др.) и сцены из крестьянского быта изображены им достаточно живо. При обрисовке коммунистов (секретарь ячейки Фанеркин, к которому автор относится полуиронически, и комиссар Кленов—тип положительный)—автор впадает в схематизм и излишнюю отвлеченность.

Повесть написана полукрестьянским сказом. В этом—и положительная и отрицательная ее сторона; местами сказовая форма помогает автору передать характерные черты быта и психологии деревни, но, на протяже-

нии 240 стр., она утомляет читателя. Кроме того, — и это главное, — сказ не выдержан на протяжении всей повести. Иногда автор переходит на литературно-интеллигентский язык, (стр. 81, 104, 120, 234 и др.). От этих срывов страдает цельность и стилистическая выдержанность, двоится настоящее лицо рассказчика, и на всей повести лежит отпечаток некоторой искусственности.

А. Шафир.

Вит. Федорович.—«Спор с господином». Рассказы. Изд-во «Круг». М. 1927. Стр. 198. Ц. 1 р. 50.

Бытовые рассказы Вит. Федоровича общественно заострены боевыми вопросами нашей сельской современности. Основная тема книги — «переходно-активное время», как определяет сущность наших дней один из персонажей рассказов. Борьба деревенских активистов с темнотой и суевением, принимающая самые неожиданные размеры — это все спор с тем собирательным «господином», который оставил рабочим и крестьянам такое тяжелое наследство, некультурность и рабские навыки. Уничтожить старый памятник, с которым связаны суевенные легенды, произвести удачную операцию над телушкой, нестати появившейся на свет с шестью ногами («За неверие бог послал») — это значит нанести сильный удар по темноте и предрассудкам. Под пером другого наблюдателя такие бытовые факты легко приняли бы форму анекдота. У Вит. Федоровича они вырастают в художественные зарисовки, оригинальные иллюстрации советской рабоче-крестьянской общности. Деревня в них не показанная, не отвлеченная, а подлинная, ощущаемая со всей живой конкретностью красочного быта; особенно хорошо это чувствуется в рассказе о борьбе деревенских передовиков за трактор. «Омелькино злодейство» — любопытный этюд, где главный герой — трактор, судьба которого волнует: он кажется одушевленным существом; невольно соглашаешься с мотористом, спасителем ма-

шины, когда он говорит: «машины, все одно, как живой человек»...

Вит. Федорович удачно пользуется разговорной речью со всеми ее местными или индивидуальными особенностями и ведет повествование бытовым сказом. Строго выдержать строй речи в этих рамках не всегда удается автору, — естественны отступления и длинноты. После сжатых: «дождь сыпанул по крышам», «у окна громко затпрукали», «бега должны были выйти звонкие», — не раз громоздкий книжный период или тяжеловесное сравнение отягчают ткань повествования. Формально стиль Вит. Федоровича еще не вполне установился, но оригинальные особенности и своеобразные методы на лицо. Вит. Федорович умеет извлекать из глубин быта ценные жемчужные характерные факты, выходящие за пределы злободневности в разряд типических, художественно-обобщенных.

Г. Якубовский.

Александр Жаров.—«Рост». Стихи. Гиз. 1927 г. Цена 1 р. 50 к.

От первой книги Жарова «Ледоход» до рецензируемого сборника — четыре с лишним года. За это время поэт сделал значительные достижения в области инструментовки стиха и расширил свою тематику. Но в «Росте» есть вещи, являющиеся отголоском «раннего» Жарова. Это — поэмы и стихи, беспорные в идеологическом отношении, но бледные в формальном. Так, например, поэма «Мекка» — схематична, несмотря на старания автора сообщить ей местный колорит двумя — тремя наименованиями и афоризмами в восточном духе.

Показать героя в действии — в сюжетной поэме так же необходимо, как и в романе. В «Мекке» есть события (встречи с муллой и англичанами), но нет внутренней динамики и, главное, нет развитого сюжета.

Гораздо лучше отделы «Красивой девчужке», «К весне» и «Кипарисы над морем».

«Письмо любимой» развивает мотив измены любимой женщине. В стихотворении много свежих интонаций и

подлинного лирического пафоса. Отрадно то, что Жарова стала интересовать область индивидуальной лирики.

В «Гибели Пушкина» автор делает попытку обрисовать настроение великого поэта в момент дуэли и самую дуэль. Повидимому, стихотворение написано по не совсем проверенным материалам. Но, даже если Жаров вводит догадки, стихотворение не теряет своей силы.

Следует отметить еще стихотворение «О садовнике и о плодах» — бодрый гимн садовнику совхоза.

Центральное место в сборнике занимает поэма «Гармонь». Сюжетной основой ее являются злключения «комсомолиста» Тимошки, сначала пререзвешего гармонь, а затем на собственном опыте убедившегося в ее полезности. В поэме Тимошка показан, главным образом, с комической и сатирической стороны и, только с пятой главы, — как носитель идей культурной революции на селе.

«Гармонь» целиком бытовое произведение, начиная от умело схваченных типических черт Тимошки и кончая плясовым ритмом поэмы. Жаров показывает в ней, как надо строить подлинно-массовое произведение, привлекая новый словарный материал и частушечную строфику, с характерными для частушек фигурами обращения и комическими вставками.

«Рост» свидетельствует о том, что поэт изживает постепенно свои недостатки прежних лет. Но хотелось бы предостеречь его от таких «перлов», как, например, заключительная строфа в стихотворении «Смычка с солнцем».

Вот в вечер — вперекличку
Попеть и погулять...
Теперь же
С солнцем смычку
Осуществим на ять!

Не говоря уже об «осуществим», — сочетание «в вечер», «с солнцем» — недопустимы с точки зрения эвфонии (благозвучия). Излишнего и неоправданного скопления согласных всегда следует избегать.

Так же надо обратить внимание на такие неологизмы, как «ветрошум» в стихотворении «Осень».

За исключением этого, «Рост» — кни-

га радостного приятия жизни и большой перспективы. Она несет в себе прежние черты жаровского оптимизма и бодрости. Ее своеобразие — в преобладании мажорных тонов в прогнзювес минору многих наших лириков. И в этом преобладании — голос эпохи.

Мих. Рудерман.

Артур Голичер, — «Мятежный Китай».

Перевод с немецкого, М. С. Живова, с предисловием В. Д. Виленского-Сибирякова. Госиздат. М. — Л. 1927. Стр. 155. Ц. 70 коп.

Один из дореволюционных европейских описателей Китая так подытожил свои китайские впечатления:

«Китай — набальзамированная мушья, разрисованная иероглифами и завернутая в шелковые ткани; его жизненный процесс сходен с состоянием животного, находящегося в зимней спячке».

Это определение Китая типично для всех европейцев, пишущих о Китае.

Не избежал общей участи и Артур Голичер, посетивший Китай совсем недавно, уже после ставших историческим рубиконом шанхайских событий 1925 года (расстрел муниципальной английской полицией безоружной китайской демонстрации на Нанкин-род). Два с небольшим месяца, проведенные Голичером в «мятежном» Китае, конечно, недостаточны для проникновения в глубокие пучины противоречивой китайской жизни. Знакомство Голичера с Китаем не идет дальше поверхности. Все же, обладая жадным и зорким глазом, Голичер успел зарисовать общую красочную и живописную панораму Китая, пополненную новыми, — не встречавшимися ранее в европейских описаниях Китая — деталями.

Зарисовки немецкого журналиста кладут начало новой литературе о новом Китае, Китае многомиллионных рабоче-крестьянских масс, об'явивших беспощадную борьбу тому, что так еще недавно считалось незыблемым и священным.

Но — опьянение фантастически-живописным экзотическим Китаем, переполненным совершенными произведе-

ниями прикладного искусства, заставляет Голичера сорваться с правильного, реалистического тона и пропеть неумеренный дифирамб ассимиляторским способностям китайского народа, глотающего и переваривающего целые народы, входящие с ним в соприкосновение.

Голичер приписывает эту замечательную способность «какой-то особенной, загадочной, магнетической силе, заколдовывающей все менее устойчивые элементы», и ему чудится, что Китай пожрет жирных коров европейской цивилизации и останется попрежнему Китаем... «тысячелетней страной, проделавшей все пути цивилизации, политики и морали и не погибшей, не потерявшей и частицы своей врожденной силы и величия».

Голичер хватает через край. Один мистически настроенный, поддавшийся чарам Востока молодой немец (приятель автора) не представляет со-

бой всей Европы. Китай самобытен и консервативен в своем быте, но развитие Китая лежит не в сторону Конфуция, а в сторону хотя бы Сун Ятсена, тем более, что и Конфуций среди многих не плохих изречений оставил одно определенно хорошее:

«Если хочешь совершенствоваться—обновляйся ежедневно».

Впрочем, факты, приводимые Голичером в своей книге, направлены целиком против понравившейся ему эффектной теории. Описание парада в Кантоне гораздо показательнее для «быстро растущего в своем общественно-политическом сознании Китая», который вынес смертный приговор отечественным и иноземным насильникам.

Этот вывод и множество тонких и ярких бытовых зарисовок делают книгу Голичера интересной для советского читателя.

Сергей Алымов.

ОТ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ ЖУРН. „НОВЫЙ МИР“.

Изд. Т-во „НЕДРА“, по специальному соглашению с Главной Конторой журнала „Новый Мир“, высылает всем ПОСТОЯННЫМ читателям журнала „Новый Мир“ свою литературу (русская и иностранная беллетристика, приключенческая, детская, юмористическая, а также научно-популярная) по ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ. Прилагаемый при этом номере ЛЬГОТНЫЙ отрезной купон надлежит вырезать (по линии отреза), вложить в конверт и направить по адресу: Изд. Т-ву „НЕДРА“ — Москва, Свердловская площадь, д. № 27, одновременно выслав по тому же адресу задаток в размере одной пятой стоимости заказа. Заказы будут выполнены наложенным платежом аккуратно в кратчайший срок. При заказе книг на сумму СВЫШЕ 5 (пяти) рублей пересылка за счет Изд. Т-ва.